АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955

СОДЕРЖАНИЕ

Р. А. Будагов (Москва). Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса романских языков 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. И. Жинкин (Москва). Вопрос и вопросительное предложение 22
Д. А. Алексеев (Ленинград). Именные части речи в монгольских языках 35

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Гао Мин-кай (Пекин). Проблема частей речи в китайском языке 48
Вэнь Лянь и Ху Фу (Пекин). Части речи в китайском языке 58

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Е. Р. Курилович (Краков). Заметки о значении слова 73
О. С. Ахманова (Москва). О понятии «изоморфизма» лингвистических категорий (В связи с вопросом о методе лексикологического исследования) 82

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

М. М. Гухман (Москва). О курсе «История языкознания» 96
Э. И. Коротаева (Ленинград). Курс «Современный русский язык» и его программа 103

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. М. Никитина и В. П. Сухотин (Москва). Грамматика русского языка. Т. II — Синтаксис 110
П. Н. Берков (Ленинград). Две новые библиографии по русскому языку . 121
Л. С. Пейсиков (Москва). «Очерки по грамматике таджикского языка» . 129

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

П. С. Кузнецов (Москва). Ответ на рецензию Т. П. Ломтева 135

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л. Н. Булатова (Москва). Всесоюзное совещание по координации диалектологической работы 140
Б. Орузбаева (Фрунзе). Научная сессия, посвященная вопросам киргизского языкознания 142
Г. Д. Петров и К. А. Аимбетов (Нукус). Научная конференция в Каракалпакской АССР 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗА РУБЕЖОМ

В. М. Жирмунский (Ленинград). Деятельность Института немецкого языка и литературы Германской Академии наук 149

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции), *В. В. Виноградов* (главный редактор), *А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-04458 Подписано к печати 30 V 1955 г. Тираж 13500 экз. Заказ 1137
Формат бумаги 70×108 1/16. Бум. л. 4 7/8 Печ. л. 13,36 Уч.-изд. л. 15,8

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

Р. А. БУДАГОВ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

1

По сравнению с исторической фонетикой и исторической морфологией синтаксис романских языков остается областью все еще мало изученной. После большой работы Ф. Дица прошло свыше 110 лет[1], сравнительно-исторический синтаксис романских языков В. Мейер-Любке отделен от нас тоже уже немалым промежутком времени в 55 лет[2]. Между тем после Мейер-Любке не было сделано новых попыток описания общей синтаксической системы романских языков в их историческом развитии и взаимодействии. В XX в. мысль исследователей пошла, в основном, по двум другим направлениям: стали изучаться либо отдельные синтаксические проблемы романских языков, либо составляться — тоже отдельные — исторические синтаксисы национальных романских языков. Бесспорно, конечно, что работа эта оказалась очень нужной для дальнейшего углубленного знакомства с синтаксической системой каждого романского языка, для понимания взаимодействия между романскими языками в частных особенностях их грамматических построений. Исследования эти как бы подготовили условия для появления новых синтетических обобщений. И все же эти обобщения так и не были сделаны.

Опубликованные в последние годы общие обзоры романских языков либо вовсе обходят молчанием синтаксические проблемы, либо посвящают этим проблемам лишь отдельные страницы. Вышедшая же в свет в 1950 г. вторым изданием книга итальянского лингвиста Луиджи Сорренто, несмотря на многообещающее название — «Романский синтаксис», рассматривает скорее отдельные стилистические, чем синтаксические, проблемы.[3] Приходится признать, что наибольшую ценность для современной науки о романских языках имеют те работы, которые движутся по одному из отмеченных выше направлений, предоставляя читателю описания синтаксических систем отдельных романских языков или исследуя ту или иную самостоятельную проблему сравнительно-исторического синтаксиса (например, проблему инфинитива или проблему причастия, проблему вспомогательных глаголов или проблему номинативных конструкций).

Постоянные жалобы специалистов на неразработанность сравнительно-исторического синтаксиса романских языков могут быть подразделены на

---

[1] F. Diez, Grammatik der romanischen Sprachen, Theil III[—Syntax], Bonn, 1844.

[2] W. Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen, Bd. III—Syntax, Leipzig, 1899.

[3] L. Sorrento, Sintassi romanza. Ricerche e prospettive, 2-e ed., Varese—Milano, 1950. Это стилистическое направление в области синтаксиса неоднократно призывал развивать и Лео Шпицер (см., в частности, L. Spitzer, Über syntaktische Methoden auf romanischen Gebiet, «Die Neueren Sprachen», Bd. XXVI, 1919, стр. 336—337).

две категории: первые из этих жалоб обусловлены тем, что синтаксис одних романских языков изучен гораздо меньше, чем синтаксис других; жалобы второго рода вызваны трудностями более общего характера: недостаточной ясностью объекта самого анализа, разным пониманием целей и задач синтаксического исследования родственных языков.

Обращаясь к трудностям первого рода, нельзя, действительно, не отметить резкой непропорциональности в изучении синтаксиса разных романских языков. В то время как синтаксическая система французского языка тщательно изучается самыми различными учеными, мы до сих пор очень мало знаем не только о синтаксисе рето-романского, каталанского или португальского языков[1], но и о синтаксисе таких романских языков, как испанский, румынский или итальянский. По сравнению с французским языком синтаксические системы испанского, румынского и итальянского языков находятся в начальной стадии научного изучения. Такая же неравномерность изучения отдельных романских языков очень затрудняет и работу сравнительно-исторического характера, успешное продвижение которой немыслимо без тщательного предварительного анализа материалов отдельных языков и их диалектов.

Еще серьезнее, однако, трудности второго рода — методологического и методического характера. Об этих трудностях мы скажем впоследствии подробно, сейчас же приведем лишь два примера, долженствующих показать, насколько еще не установился самый метод исследования синтаксических явлений родственных языков.

В новом издании известной книги Э. Бурсье «Основы романского языкознания», вышедшем в Париже в 1946 г., глава о структуре итальянского предложения начинается такими словами: «Итальянское предложение несравненно гармоничнее испанского и не лишено известной гибкости. В нем имеются некоторые, хотя едва уловимые, разрывы между отдельными членами, которые, однако, связываются друг с другом переходами непрерывного голосового потока»[2]. Далее мы узнаем, что так называемая нисходящая часть словосочетания или предложения образуется «низким звучанием в конце последнего отрезка». Это и все, что должно подкрепить мнение исследователя о бо́льшей гармоничности итальянского предложения по сравнению с предложением испанского языка.

Бросается в глаза известная импрессионистичность выводов зарубежного лингвиста. Что значит бо́льшая гармоничность предложения одного языка по сравнению с меньшей гармоничностью предложения другого языка, так и остается неясным читателю. Почему «переходы непрерывного голосового потока» обеспечивают эту гармоничность, и могут ли существовать романские языки, интонационная структура которых действительно лишена «непрерывного голосового потока», — все это остается совершенно невыясненным. Обращает на себя внимание и известная условность самих терминов, которыми оперирует ученый («гармоничное предложение», «гибкость предложения»). Нельзя не отметить, что такие термины не употребляются исследователем, когда он пишет о фонетических и морфологических особенностях сравниваемых языков. Приходится, следовательно, признать, что в области синтаксиса вопросы метода исследования оказываются гораздо менее ясными, чем в области фонетики или морфологии. Если же прибавить, что замечания Э. Бурсье о «гармоничности итальянского предложения» вставлены им в новое издание его книги со-

[1]. См. об этом: В. Шишмарев, Очерки по истории языков Испании, М.—Л., 1941, стр. 239.

[2] Э. Бурсье, Основы романского языкознания, перевод с 4-го франц. изд., М., 1952, стр. 453.

роковых годов и что этих замечаний не было в предшествующих изданиях этого руководства двадцатых годов[1], то станет ясно, что обсуждение строгости и точности самого метода синтаксического исследования родственных языков за последние два десятилетия не очень продвинулось вперед в зарубежной романистике.

Приведем теперь другой пример иного характера. Известно, что ученики и последователи видного немецкого романиста К. Фосслера много и успешно работали в области исторического синтаксиса отдельных романских языков. Вместе с тем эти ученые стремились противопоставить свое понимание синтаксического развития языка той концепции, которая разделялась младограмматиками, в частности Мейер-Любке. По мнению Фосслера и его сторонников, основной недостаток младограмматических работ заключается в том, что в этих работах лишь констатируются и описываются те или иные синтаксические изменения в языке, но не объясняются. Между тем задача истинной науки — справедливо подчеркивают Фосслер, Лерх и другие — заключается не только в описании, но и в истолковании изучаемых явлений.

Стремясь реализовать это назначение науки на практике, Фосслер то и дело прибегал к объяснениям такого характера: в XIII в. во французском языке появляется так называемый частичный (партитивный) артикль *du*, *de la*, *des*. Чем объяснить, что этот артикль, известный и итальянской речи, но не известный другим романским языкам, появляется во Франции именно в XIII в. Ответ на этот вопрос Фосслер искал в торговых отношениях эпохи, которые, по мысли ученого, должны были породить и своеобразный «счетный артикль» в языке. Влияние «купцов и политиков» на язык определило, по убеждению Фосслера, и появление партитивного артикля в языке, затем получившего общенародное распространение[2].

Можно было бы не останавливаться на такого рода «объяснениях», если бы они не заключались в книге, в других отношениях весьма интересной. К тому же следует иметь в виду, что у последователей Фосслера истолкования подобного рода получили широкое распространение. Так, Лерх в своей большой и ценной по материалу работе о функциях будущего времени в романских языках, стремясь объяснить частое употребление будущего времени в императивном значении во французском языке, ссылается на особенности национального характера французов, у которых «отсутствует благоговение перед индивидуальностью других людей»[3].

Можно было бы сказать: стоит ли обращать внимание на эти замечания? Не проще ли воспользоваться материалом подобных исследований, отбросив все то, что является неприемлемым для советского языкознания, что может вызвать лишь улыбку у читателя, который не смешивает экономику страны и психологию народа с грамматическими формами соответствующих языков. Разумеется, можно было бы просто не обращать внимания на подобные «отступления», имеющиеся почти во всех работах так называемой неофилологической школы, если бы сами эти отступления и «объяснения» не были в какой-то степени показательными. Не случайно, что с подобного рода «объяснениями» мы редко встречаемся, когда речь идет об исторической фонетике или исторической морфологии, и только

---

[1] См. É. Bourciez, Éléments de linguistique romane, 2-e éd., Paris, 1923, стр. 501.

[2] K. Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung, Heidelberg, 1913, стр. 191. Это же утверждение повторяется во втором издании данной книги (1929 г.), а также в ее итальянском (1948 г.) и французском (1953 г.) переводах.

[3] E. Lerch, Die Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens, Leipzig, 1919, стр. 287.

в области синтаксиса, как, отчасти, и лексики, истолкования такого типа то и дело поражают читателя. Следовательно, отмеченные приемы свидетельствуют о сложности самого метода исследования и осмысления синтаксических явлений. Нужно не просто отбросить негодные истолкования, но и выдвинуть другие, более пригодные и более верные. Для того же, чтобы справиться с этой сложной задачей, нужно еще и еще раз обратиться к вопросам метода.

2

Трудности начинаются уже в связи с установлением приемов самого исследования: нужно ли исходить из синтаксических форм, существующих в анализируемых языках, а затем раскрывать их функции и значения, либо, напротив, следует строить «активный синтаксис», показывая, как та или иная общая категория выражается в языке. Почти у всех синтаксистов наблюдаются в этом отношении колебания. Так, Мейер-Любке, построивший свой сравнительно-исторический синтаксис романских языков исходя в целом из соответствующих формальных явлений в анализируемых языках (форм слова, типов словосочетания и типов предложения), в других случаях всё же обнаруживал колебания в пользу «активного синтаксиса»: см., например, его постановку вопроса о том, «как выражается приказание» в разных романских языках[1]. В области изучения синтаксиса русского языка аналогичные колебания обнаруживались у многих ученых, в частности у акад. А. А. Шахматова. Слишком широко определяя синтаксис как учение «о способах обнаружения мышления в слове»[2], Шахматов считал возможным как бы двойной путь исследования синтаксических явлений: от форм их обнаружения в языке, а затем от содержания логических категорий — к способам их выявления в языке[3].

Сама проблема соотношения «наличного синтаксиса» и «активного синтаксиса» имеет, однако, не только логический аспект, но и исторический. Так, романист должен решить не только вопрос о соотношении «наличного синтаксиса» языка и «активного синтаксиса», но и вопрос о том, из чего следует исходить при построении синтаксиса романских языков — из данных языка-основы (латыни) или из структуры самих романских языков. Старые синтаксические построения XIX в., включая в значительной степени и работу Дица, базировались лишь на данных латинского языка. Но при таком подходе не всегда можно было выявить специфику синтаксиса романских языков, то новое качество, которое стало характеризовать синтаксические особенности каждого отдельного романского языка. Глубокая преемственность между романским и латинским синтаксисом не должна заслонять того нового, что характеризует синтаксис романских языков в отличие от латинского[4].

Подобно тому как «активный синтаксис» иногда проходит мимо национальных грамматических особенностей отдельных языков, так и синтаксис романских языков, целиком ориентированный на синтаксический строй латыни, порой не замечает того, что составляет специфику разных

---

[1] W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, 3-e Aufl., Heidelberg, 1920, стр. 220.

[2] См. А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 17.

[3] См. об этом: С. И. Бернштейн, Грамматическая система А. А. Шахматова, «Р. яз. в шк.», 1940, № 5, стр. 74—75.

[4] Ср. свидетельство видного современного ученого-латиниста: «Поверхностному наблюдателю может казаться, что французский язык, возникнув из латинского, остается верным своему прошлому. Более пристальный анализ, однако, обнаруживает, насколько глубоко „langue fille“ стал отличаться от „langue mère“» (J. Marouzeau, Aspects du français, Paris, 1950, стр. 72).

родственных языков. В этом смысле теоретическая проблема соотношения «наличного синтаксиса» языка и «активного синтаксиса» тесно связана с исторической проблемой — «из чего исходить» при построении сравнительно-исторического синтаксиса романских языков.

Ответ представляется нам ясным: языкознание имеет свою специфику, так как оно изучает очень своеобразное общественное явление — язык. Вместе с тем и синтаксис как важный раздел науки о языке имеет свой определенный объект изучения, который не следует ни слишком расширять, ни слишком суживать. Синтаксис, как известно, изучает способы соединения слов в словосочетания и предложения; в синтаксисе анализируются типы словосочетаний и предложений, их функции и своеобразие употребления в том или ином языке или в тех или иных родственных языках[1]. Поэтому, исследуя синтаксис языка, мы обязаны исходить из форм слов, словосочетаний и предложений, раскрывая их функции и значения. «Активный синтаксис» может при этом иметь лишь подсобное значение. Учитывая ту же специфику языка, при построении синтаксиса романских языков следует, на наш взгляд, двигаться от романских языков к их предистории.

При установлении специфики объекта синтаксического исследования весьма существен вопрос о взаимоотношении синтаксиса и морфологии в системе изучаемых языков. Нельзя согласиться с теми современными структуралистами, которые объявляют полную «автономию синтаксиса», его отрешенность от морфологии, независимость от всего материального в языке[2]. В действительности самостоятельность и специфичность синтаксиса нисколько не препятствуют его широкому взаимодействию с морфологией. Нельзя понять своеобразия синтаксических категорий вне этого взаимодействия.

Структуралисты, основываясь на логике отношений, утверждают, что реальны лишь сами отношения, но чтó кроется за этими последними—мы не знаем. Поэтому и в языке категория отношения, по их мнению, самоценна. Она не зависит от тех реальных языковых значений, которые с ее помощью передаются. Поэтому и синтаксис языка, оперирующий категорией отношения, резко отделяется от морфологии, основывающейся на материальных фактах языка. Такие взгляды несомненно ошибочны: отношение существует не само по себе, а лишь в той мере, в которой само это отношение, имея определенную функцию, выражает определенное значение. В силу того, что проблема эта весьма существенна для понимания специфики синтаксиса, остановимся на ней немного подробнее.

Даже некоторые передовые лингвисты своего времени склонны были, на наш взгляд, неправильно трактовать проблему отношений в грамматике. «Нельзя говорить, — писал, например, Бодуэн де Куртенэ, — что известная форма данного слова служит первоисточником для всех остальных и в них „переходит". Разные формы известного слова не образуются вовсе одна от другой, а просто сосуществуют»[3]. Еще определеннее стал подчеркивать эту же мысль и А. Мейе: «...в латинском языке,—замечает он, — не было одного слова *волк*, а лишь совокупность форм: *lupus* (им.), *lupe* (зват.), *lupum* (вин.), *lupī* (род.), *lupō* (отл.), причем ни одна из этих пяти форм не была исходной для других, так же как не было ис-

---

[1] См. «Грамматика русского языка», т. II — Синтаксис, ч. 1, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 6.

[2] См. специальную главу об «автономии синтаксиса» в кн: V. Brøndal, Essais de linguistique générale, Copenhague, 1943, стр. 8—14.

[3] И. А. Бодуэн де Куртенэ, [Рец. на кн.:] «В. Чернышев, Законы и правила русского произношения..: Варшава. 1906», ИОРЯС, т. XII, кн. 2, 1907, стр. 495.

ходной формы для образования множественного числа: *lupī* (им.), *lupīs* (дат.), *lupōrum* (род.), *lupīs* (отл.).

Не было имени *человек*, но существовала совокупность: *homo* (им.), *hominem* (вин.), *hominis* (род.), *hominī* (дат.), *homine* (отл.) и т. д.[1].

Трудно согласиться с такой постановкой вопроса. Разумеется, сравнивая различные падежные формы между собой, нельзя считать, что одни из них «переходят» в другие в школьном смысле этого слова. Все формы слова, имеющиеся в данном языке, действительно сосуществуют в нем, они должны изучаться в грамматике. И все же древние мыслители были по-своему правы, называя падежи «падежами» (при всей условности самого термина): косвенные падежи имени были бы немыслимы, если бы они не воспринимались на фоне прямого падежа. Прямой падеж более независим, он ближе к «чистому названию», его номинативная функция воспринимается отчетливее, чем соответствующие функции косвенных падежей. Хотя группировка косвенных падежей в разных языках, имеющих падежи, и различна, однако вопрос о соотношении более зависимых падежей и падежей более самостоятельных очень существен для грамматики. Другими словами, для грамматики важна не только категория отношения, но и категория значения, то, что стоит за грамматическими отношениями, что выражается при помощи этих отношений. Нельзя согласиться с тем, что форма *вода* и форма *воде* «одинаково переходят друг в друга»[2]. Они неодинаковы уже потому, что форма *воде* в большей степени предполагает как бы «исходную» форму *вода*, чем обратно. Именно поэтому число косвенных падежей в языках может быть очень различным, тогда как «прямой падеж», или «общий падеж», или «исходный падеж» («основной падеж») обычно всегда наличествует в индоевропейских языках, обладающих падежной системой.

Проблема отношения и значения очень существенна для понимания специфики грамматики, для правильного истолкования взаимоотношений между грамматикой и лексикой, а в системе самой грамматики — между морфологией и синтаксисом. Если в любой грамматической парадигме важно установить «исходную» грамматическую форму, то не менее важно обнаружить таковую и в синтаксических категориях.

В романских языках, как, впрочем, и в других индоевропейских и неиндоевропейских языках, имя существительное может быть не только подлежащим, но и сказуемым, и дополнением, и обстоятельством и т. д. Однако существительное именно в функции подлежащего выступает в своей первичной синтаксической функции, по отношению к которой все остальные функции существительного (в роли сказуемого, дополнения, обстоятельства и пр.) будут восприниматься как вторичные. Не случайно при этом, что первичная синтаксическая функция существительного (подлежащее) обычно опирается на «исходную» форму имени в его морфологической парадигме. Различия между первичными и вторичными синтаксическими функциями имени, как и других частей речи, существуют в языке объективно, обнаруживая закономерные связи синтаксиса и морфологии. Точно так же можно сказать, что сказуемое — это первичная синтаксическая функция глагола, хотя последний может выступать не только

[1] А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, перевод с французского, М., 1954, стр. 79—80.

[2] Как это считал Бодуэн де Куртенэ в уже цитированной рецензии (стр. 495). Попытка пересмотреть вопрос о соотношении падежей, предпринятая Якобсоном, не может быть признана в этом плане удачной, так как, разграничив понятия «полного падежа» (Vollkasus) и «периферийного падежа» (Randkasus), Якобсон свел затем различие между ними лишь к «позиционной корреляции» (Stellungskorrelation). См. R. Jacobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 6, 1936, стр. 264.

в функции сказуемого, а следовательно, имеет и вторичные синтаксические функции. Именно поэтому и прилагательное —это прежде всего определение, как наречие — это прежде всего обстоятельство и т. д.[1].

Разграничение первичных и вторичных функций в синтаксисе столь же необходимо, сколь необходимо установление основных и производных форм в любой морфологической парадигме. Без этого разграничения грамматика превращается в пестрое собрание разных «форм», причем остается совершенно неясным, в каких отношениях эти формы находятся к мысли, которая облекается во все эти формы. Напротив, установление основных и производных форм в любой морфологической парадигме, подобно тому как и разграничение первичных и вторичных функций частей речи, не только вносит в многообразие грамматических форм определенную регулярность, но и подтверждает известное положение о том, что грамматика является не только собранием правил об изменении слов и сочетании слов в предложении, но и результатом абстрагирующей работы человеческого разума.

Разграничение первичных и вторичных синтаксических функций частей речи дает возможность глубже понять закономерности, существующие во взаимоотношениях между частями речи и членами предложения, между морфологией и синтаксисом, между парадигмами языка и способом их функционирования в речевом потоке. Поэтому выше мы подчеркнули, что в грамматике важна не только категория отношения, но и категория значения, объективно существующая и выражающаяся в языке в самом этом отношении.

3

Изучение синтаксиса романских языков в сравнительно-историческом плане ставит перед исследователем ряд важных и сложных проблем теоретического характера. Так как язык - основа романских языков — латынь хорошо известна и тщательно изучена, то и материал романских языков приобретает важное значение для сравнительно-исторических разысканий[2]. Вместе с тем наличие хорошо сохранившегося языка-основы, с одной стороны, и романских языков — с другой, требует от исследователя более глубокого понимания характера тех отношений, которые складывались как между романскими языками и латынью, так и внутри самих романских языков.

Как мы уже подчеркнули, самая непосредственная преемственность, существующая между латынью и романскими языками, не должна заслонять и тех важнейших различий, которые отделяют сейчас синтаксическую структуру романских языков от синтаксической структуры латыни. Новое качество развилось здесь на основе старых языковых отношений. Вместе с тем общероманские явления не должны скрывать от взора исследователя и тех существенных расхождений, которые определили отличие одного романского языка от другого.

Хотя это и кажется на первых порах парадоксальным, но синтаксические расхождения между романскими языками лишь подтверждают един-

[1] Ср. А. А. Холодович, Очерк грамматики корейского языка, М., 1954, стр. 234.

[2] Некоторые лингвисты (например, Соссюр, Мейе, Шухардт) склонны были даже особо подчеркивать значение романского языкового материала для целей общего языкознания. См., в частности, рецензию Шухардта на «Курс общей лингвистики» Соссюра в «Literaturblatt für germanische und romanische Philologie» [Jg. 38 (1917), стр. 9] и замечания А. Мейе в «Bulletin de la Société de linguistique de Paris» (t. XXIV, fasc. 2, 1924, стр. 80).

ство их происхождения из одного источника. Это объясняется в ряде случаев тем, что из многообразных ресурсов латинского языка некоторые романские языки выбирают одни средства, а другие языки — другие средства.

Начнем наш обзор с простых примеров, однако попытаемся их осмыслить в плане интересующих нас теоретических вопросов. Указательное местоимение *ille* послужило источником образования определенного артикля в большинстве романских языков, тогда как в сардинском романском языке таким источником стало другое латинское местоимение — *ipse*. Одни романские языки образуют сравнительную степень при помощи лат. *plus* «более» (ср. франц. *plus grand*, итал. *più grande*), а другие — при помощи лат. *magis* «больше» (исп. *mas grande*, рум. *mai mare*). В одних романских языках при формировании описательных форм будущего времени был широко использован латинский вспомогательный глагол *habere* (франц. *chanter* + *ai*, буквально: «я имею петь», «я спою», исп. *cantar* + *é*), а в других — иной латинский глагол *volere* (рум. *voiu câmta* «я хочу петь», «я спою»). В этом смысле можно утверждать, что наличие одного источника в виде языка-основы не только не сводит на нет расхождения между языками, возникшими из данного источника, но даже по-своему стимулирует эти расхождения. Мы уже не говорим о том, что многочисленные новые явления в синтаксической структуре романских языков могли впоследствии дальше развиваться уже независимо от импульсов, исходивших от языка латинского.

Проблема выбора той или иной формы латинского языка тем или иным романским языком осложняется еще и потому, что этот выбор может быть не только прямым, но и косвенным. В португальском языке, как и в языке испанском, существует четыре вспомогательных глагола (португ. *ter* «иметь», *haver* «иметь», *ser* «быть», *estar* «быть», «находиться»; исп. *tener*, *haber*, *ser*, *estar*). Однако удельный вес каждого из этих глаголов в каждом из названных двух языков совершенно различен. В то время как в португальском языке самым употребительным вспомогательным глаголом является глагол *ter*, служащий для образования сложных описательных времен, в испанском языке в этой функции выступает обычно уже не глагол *tener*, а глагол *haber*, при помощи которого образуются сложные описательные формы действительного залога. Глагол же *tener* в испанском языке сохраняет бо́льшую самостоятельность, чем соответствующий португальский глагол *ter* (ср., например, исп. *he venido* «я пришел», но португ. *tenho vindo*, исп. *se ha lavado* «он вымылся», но португ. *se tem lavado* и пр.).

Следовательно, вопрос заключается не только в том, какую из конструкций развивает тот или иной романский язык, совсем отказываясь от других аналогичных конструкций (это лишь одно из возможных соотношений внутри романских языков), но и в том, какая из конструкций получает в нем преимущественное развитие, оттесняя — в большей или меньшей степени — другие конструкции, так сказать, на периферию языка. Важен, таким образом, не только абсолютный выбор, но и выбор относительный. Объем и сфера распространения той или иной конструкции в разных родственных языках сплошь и рядом оказываются различными. Важно не только то, что есть в одном языке и чего совсем нет в системе другого, но и то, что имеется в ряде родственных языков, хотя и не совпадает между языками по своему значению и удельному весу [1].

---

[1] То, что было сказано акад. Л. В. Щербой о несовпадении лексических сфер сходных слов в разных языках [в интересном предисловии к его «Русско-французскому словарю» (3-е изд.— М., 1950)], относится, по нашему мнению, и к функциональным несовпадениям сфер аналогичных синтаксических конструкций в разных родственных языках

Стоит только одному грамматическому фактору, получившему широкую сферу распространения в одном языке, не получить такого же широкого распространения в другом родственном языке, как соответствующие «конкуренты» этого фактора как бы заполняют те места, которые оказались не занятыми в данном языке.

Значительно труднее ответить на вопрос о том, почему в том или ином романском языке развивается одна синтаксическая конструкция, а в другом — иная, или почему в разных романских языках развиваются разные варианты одиной конструкции (например, целостное по своей синтаксической природе первоначально описательное выражение будущего времени, но в одних языках с глаголом *habere*, а в других — с глаголом *volere*). Только конкретная история отдельных романских языков может в известной мере прийти нам на помощь при решении этого вопроса. Так, выбор вспомогательного глагола *volere* при образовании будущего времени в румынском и молдавском языках (вместо глагола *habere* в других романских языках) мог быть подсказан соответствующим греко-византийским оборотом типа θέλω γράφειν (лат. *volo scribere*, рум. *voiu scrie* «напишу»), на что уже указывали многие ученые[1]. Однако сам по себе этот оборот был вполне возможен и в сфере позднего латинского языка, глагольно-морифрастические сочетания которого получали все большее распространение. Греко-византийская традиция могла лишь ускорить процесс, как бы направить его в определенное русло, хотя источник этого процесса был определен глагольной структурой живого народного латинского языка. Предпосылки развития той или иной языковой категории у всех романских языков остаются в общем едиными, направление же их развития определяется целой совокупностью причин внутренне-исторического характера.

Разумеется, отклонение того или иного романского языка от общероманских синтаксических тенденций могло определяться не только местным языковым влиянием. Так, на выбор наречия *magis* или наречия *plus* для выражения сравнительной степени прилагательного в разных романских языках могла влиять семантика самих этих наречий в истории разных языков. Уже у Плавта встречается выражение типа *magis aptus* «более способный». Наречие *plus* «больше» первоначально употреблялось реже, чем *magis*, хотя уже у древних писателей встречается *plus miser* «более несчастный» (Ennius, Fab., 371), *plus infesta* «более враждебная» (Plaut, Cas., 639). Впоследствии, несмотря на то, что *plus* получает большее распространение в эпоху империи, чем *magis*, многие романские языки развивают все же *magis* и лишь некоторые — *plus*.

Для того чтобы понять, чем определяется этот выбор, обратим внимание на конкретную историю упомянутых наречий в отдельных романских языках.

Так, во французском, в котором наречие *magis* рано теряет свое старинное значение «больше», постепенно приобретая противительное значение «но», создавались благоприятные условия для расширения наречия *plus* в значении «больше». Правда, в старых текстах *mais* уже не употребляется как показатель сравнительной степени, но оно еще может иметь значение «больше» в свободных сочетаниях (например, в «Песне о Роланде», 2219: *Si grant doel out que* ***mais*** *ne pout ester* «Его боль настолько велика, что ***больше*** он не может держаться»). Постепенно, однако, путем очень слож-

[1] См.: K. Sandfeld, Linguistique balkanique, Paris, 1930, стр. 181; G. Körting, Neugriechisch und Romanisch. Ein Beitrag zur Sprachvergleichung, Berlin, 1896, стр. 117.

К проблеме субстрата, важной для романских языков вообще, мы предполагаем вернуться в особой работе.

ных смысловых движений, которые в другой связи уже служили предметом специального анализа[1], *mais* приобретает значение «впредь», а затем и «но». Такая новая специализация семантики *mais* не могла не отразиться на значении его былого конкурента — *plus*. Последнее «вторгается» в область степеней сравнения, облегчая тем самым выбор между *magis—plus*. Так на выбор синтаксического сочетания прилагательного с определенным наречием для выражения степени сравнения в одном романском языке в отличие от другого или других романских языков могла влиять в известной степени семантика соответствующего наречия в одном из этих языков[2]. Необходимо также обнаружить импульсы, которые привели к выбору *magis* и оттеснению *plus* в других романских языках (например, в испанском или румынском).

Таким образом, выбор и развитие одних конструкций за счет других в разных романских языках определяется сложной совокупностью причин, относящихся прежде всего к конкретной истории самих этих языков.

4

Синтаксические особенности разных романских языков очень существенно принимать во внимание при классификации последних. Между тем все без исключения существующие в науке классификации романских языков основаны лишь на фонетических и морфологических данных. Именно по этим данным уже для так называемой вульгарной латыни обычно выделяют три диалектные зоны: 1) Балканы, центральную и южную Италию, 2) Сардинию, 3) северную Италию, Галлию и Пиренейский полуостров[3]. Впоследствии для романского периода, также опираясь на фонетические и морфологические показатели, различают галло-романскую языковую группу (французский и провансальский языки), иберо-романскую (языки испанский, португальский, каталанский), дако-романскую (языки румынский и молдавский), к которым присоединяют итальянский язык с примыкающими к нему рето-романскими диалектами.

Еще в восьмидесятых годах XIX в. Гребер предложил различать более архаическую группу западнороманских языков по сравнению с более поздней и менее архаической группой восточнороманских языков. Гребер учитывал периоды и направление исторического процесса романизации, который осуществлялся с юга и запада на восток и юго-восток будущей романской территории. Однако разграничение более архаических романских языков по сравнению с романскими языками более поздней формации Гребер проводил почти исключительно по фонетическим и отчасти морфологическим данным[4]. То же следует сказать и о новейшей классификации романских языков, предложенной Вартбургом[5].

Между тем при привлечении не только фонетических и морфологических, но и синтаксических особенностей разных романских языков суще-

---

[1] В разделе о союзе *mais* в кн.: E. Lerch, Historische französische Syntax, Bd I, Leipzig, 1925.

[2] Нам могут возразить, что следствие здесь принимается за причину. Однако, при установлении взаимодействия между синтаксическими и семантическими явлениями языка, всегда следует помнить классическое положение диалектического материализма: «...то, что здесь или теперь является причиной, становится там или тогда следствием и наоборот» (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 22).

[3] См. М. В. Сергиевский, Проблема диалектальности вульгарной латыни в свете данных романского языкознания, «Вестник Моск. ун-та», 1946, № 1, стр. 36.

[4] См. G. Gröber, Vulgärlateinische Substrate romanischer Wörter, «Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik», Leipzig, 1884.

[5] W. Wartburg, Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume, Bern, 1950.

ственно меняется и осложняется сама проблема классификации романских языков. Приведем лишь некоторые примеры. Если двухпадежная система склонения объединяет старофранцузский и провансальский языки, так сказать, по территориальному признаку, составляя их характерную синтаксическую особенность и обусловливая более свободный порядок слов в предложении, то, с другой стороны, противопоставлять падежную систему имени существительного в этих языках беспадежной системе в других романских языках нельзя, так как падежи имени существительного сохраняются и в языках румынском и молдавском. Если с морфологической точки зрения двухпадежная система склонения имени существительного действительно объединяет старофранцузский и провансальский языки (эта система имеет много общего в самих парадигмах склонения, и их историческом происхождении), то с синтаксической позиции объединение двух языков по данному признаку оказывается не вполне точным, так как система склонения имени известна еще и восточным романским языкам. Парадигмы склонения в этих последних языках уже отличаются от парадигм склонения имени существительного в старофранцузском и провансальском языках: достаточно напомнить, что в румынском и молдавском различаются именительно-винительный падеж, с одной стороны, и родительно-дательный — с другой, тогда как старофранцузский и провансальский различают только прямой и косвенный падежи. И все же с синтаксической точки зрения уже не старофранцузский и провансальский будут противостоять в плане склонения имен существительных всем другим романским языкам. Эти два языка вместе с румынским и молдавским образуют в синтаксическом плане систему, опирающуюся на функциональное разграничение падежей имени существительного, тогда как остальные романские языки подобных падежных разграничений имен существительных и прилагательных не знают.

Следовательно, группировка морфологическая и группировка синтаксическая внутри родственных языков, соприкасаясь в одних чертах, расходятся между собой в других языковых особенностях.

Известно, что употребление предлога *a* при прямом дополнении, относящемся к категории лица, составляет одну из характерных синтаксических особенностей испанского языка. Обычно отмечается, что двоякое введение прямого объекта — при помощи предлога *a* или без его помощи — служит разграничением категории одушевленности и неодушевленности (точнее, лица и не-лица) в испанском языке (*La madre ama a la hija* «Мать любит дочь», но *La madre ama el libro* «Мать любит книгу»: во втором случае неодушевленный объект *книга* вводится без предлога *a*, тогда как в первом случае объект *дочь* «требует» предлога *a*). Если в других иберо-романских языках, в португальском и каталанском, предлог *a* перед одушевленным объектом получил лишь слабое и непоследовательное развитие под воздействием кастильской конструкции, то уж совсем независимо от испанского языка аналогичная конструкция последовательно стала развиваться в румынском языке, в его центральном дако-румынском диалекте.

В румынском языке в функции прямого объекта перед одушевленными именами был использован не предлог *a*, как в испанском, а предлог *pre*>*pe*. Самые древние памятники румынского языка еще не знали подобных построений с предлогом *pe*. Конструкции эти появляются лишь со второй половины XVI в., хотя старые построения без предлога *pe* еще удерживаются до середины XVII в.[1] В современном румынском языке *pe* употребляется как своеобразный сигнал перед винительным падежом одушевлен-

[1] S. Puşcariu, Études de linguistique roumaine, Paris, 1936, стр. 453—457.

ного объекта: *Întâlnesc pe N* «Встречаю *N*», *Am citit pe Eminescu* «Я читал Эминеску», *Am văzut pe frate-tău* «Я видел твоего брата».

Употребление предлога *pe* перед объектом в современном румынском языке подвержено, однако, многочисленным осложнениям. В ряде случаев с этим же предлогом функционирует не только одушевленный объект, но и неодушевленный. Исследователи по-разному оценивают самую необходимость употребления в современном языке предлога *pe* перед объектом[1]. И все же, несмотря на колебания и известную неустойчивость самой конструкции с предлогом *pe*, этот предлог перед одушевленным объектом обычно употребляется. Повидимому, возникновение такой конструкции уже в процессе формирования румынского языка находилось в тесной связи с порядком слов, с потребностями разнообразной дифференциации субъекта и объекта в предложении. Не случайно, повидимому, и то, что для этой цели используется предлог *pe* (из *pre*), первоначально указывавший на направление (в старых румынских текстах: *stăpân pe ceva*, буквально: «властитель над чем-нибудь», а *stăpâni pe ceva*, буквально: «властвовать над чем-нибудь»).

Знакомство с предложными объектами в испанском и румынском языках дает возможность сделать ряд наблюдений. Испанская конструкция с предлогом *a* не получает сколько-нибудь широкого развития в прочих — в других отношениях очень близких — иберо-романских языках, в частности в португальском. Между тем далеко за пределами этой иберо-романской языковой группировки, в языке румынском, возникает аналогичная по своим синтаксическим функциям конструкция с предложным показателем перед одушевленным объектом. В отличие от испанского языка, румынский предлог в данной конструкции первоначально был конкретнее, он выражал направление и лишь впоследствии предлог утратил свое вещественное значение. Испанский и румынский языки образуют, таким образом, особые синтаксические точки соприкосновения, хотя в каждом из этих языков употребление или неупотребление предлога перед объектом имеет свои особенности. Важно, однако, то, что синтаксические сближения, как и синтаксические расхождения и разрывы между родственными языками, имеют свою специфику, далеко не во всем совпадающую со спецификой фонетических и морфологических контактов и расхождений. Испанский язык в отношении отмеченной конструкции оказывается ближе к румынскому, чем к португальскому, хотя в других связях, в частности в морфологических соответствиях, испанский и португальский развиваются в близком контакте.

Чтобы объяснить эти явления, следует иметь в виду, что синтаксические тенденции родственных языков могут развиваться несколько иначе, чем тенденции морфологические и фонетические. Синтаксическая группировка родственных языков обычно оказывается ш и р е группировки фонетико-морфологической. Во всех родственных языках, в особенности в таких, которые связаны самым непосредственным родством, общие синтаксические явления в известной степени могут развиваться независимо от внутренних фонетико-морфологических подразделений, характеризующих разные подгруппы этих языков. Мы видели, что в подгруппе галло-романских и подгруппе иберо-романских языков оказываются такие общие синтаксические тенденции с подгруппой дако-романских языков, которые как бы п е р е к р ы в а ю т непосредственные фонетико-морфологические контакты внутри каждой из этих подгрупп. Эти расхождения вызваны, в

[1] См. I o r g u I o r d a n, Limba romînă actuală, Iași, [1943], стр. 284 и сл. Ср. е г о ж е, Limba romînă actuală, «Limba romînă», București, 1954, № 4, стр. 43. Для испанского языка см. Е. Д. П а н ф и л о в, Роль предлога *a* при прямом дополнении в испанском языке. Автореф. канд. дисс., Л., 1954.

частности, и тем, что при установлении самих подгрупп в семье родственных языков исследователи опирались обычно только на фонетические и морфологические факты и почти совсем не учитывали факторы синтаксические[1].

Разумеется, сходные синтаксические явления в родственных языках оказываются не только сходными, но и различными. Еще Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», полемизируя с анархистом Штирнером, подчеркивали, что сравнительно-исторический метод в языкознании интересуется не только сходством между языками, но и различиями в сфере самих сравниваемых явлений[2]. Эти различия очень существенны даже в области тех синтаксических особенностей родственных языков, которые вместе с тем в другом отношении очень похожи друг на друга.

Обращаясь к приведенным примерам, следует подчеркнуть, что в разных сходных синтаксических тенденциях есть немало частных особенностей и национальных языковых расхождений. Как мы видели, румынский язык, различая падежи имени существительного, подобно тому как различали их провансальский и старофранцузский языки, однако, различает их иначе, чем отмеченные родственные языки. Явление оказывается у ряда языков общим, но способ его реализации в разных языках различным. То же следует сказать и о предложном объекте: аналогичная конструкция формируется в разных родственных языках, однако состав и условия ее функционирования в каждом из этих языков различны: различны сами предлоги, входящие в данную конструкцию, различна степень обязательности ее применения в каждом языке, различны исключения, нарушающие регулярность употребления самой конструкции. И так бывает во всех случаях: сходства вместе с тем создают предпосылки для различий, которые определяются спецификой каждого национального языка.

Сравнительно-историческая грамматика помогает установить направление процесса развития тех или иных грамматических явлений в родственных языках. На факторах морфологического порядка проблема эта ставилась в романистике. Так, сравнивая три окончания причастия настоящего времени латинского языка (на *ans*, *antis*, на *ens*, *entis* и на *iens*, *ientis*) с одним окончанием этого же причастия во французском языке (на *ant*: *en chantant* «распевая»), мы, привлекая данные других романских языков, начинаем как бы точнее представлять себе процесс вытеснения прочих окончаний причастия настоящего времени: современный португальский язык сохраняет все три латинские окончания (*cantando* «распевая», *escrevendo* «в состоянии писания», *partindo* «уезжая»), итальянский — только два (*cantando* «распевая», *partendo* «уезжая»), испанский — другие два окончания (*cantando* «распевая», *partiendo* «уезжая») и т. д. Во французском же языке уже с древнейших времен выступает единое «унифицированное» окончание на *ant*. Привлечение данных других романских языков помогает осмыслить процесс образования единого окончания.

В свете этих данных становится по меньшей мере очевидным: 1) что процесс поглощения первым окончанием двух остальных не протекал одновременно по всей территории романских языков, 2) что тенденция к

---

[1] Сказанное отнюдь не означает, что существующая в науке классификация романских языков (галло-романские языки, иберо-романские языки и др.) является неправильной. Классификация эта исторически и лингвистически вполне обоснована. Мы хотим лишь подчеркнуть, что более пристальное рассмотрение синтаксических особенностей романских языков дает возможность обнаружить новые линии взаимодействия внутри самих романских языков.

[2] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 429.

уменьшению типов окончания причастия настоящего времени обнаруживается во многих романских языках, но не столь последовательно, как во французском; следовательно, тенденция эта является общероманской.

Однако, если в области морфологии подобные сравнительно-исторические данные постоянно привлекаются для установления направления изучаемого явления, то в области синтаксиса далеко не все так просто и не все так очевидно. Между тем привлечение синтаксических данных весьма существенно для понимания направления синтаксического развития родственных языков, подобно тому как привлечение морфологических факторов необходимо для понимания тенденций исторического движения морфологической системы этих языков.

Известно, что так называемый ирреальный оборот мог выражаться в латинском языке различными способами. В народно-разговорном латинском языке он имел обычно три типа оформления. Основной тип: *si habuissem dedissem* «если бы я имел, я дал бы» (оба латинских глагола находятся в форме давнопрошедшего времени конъюнктива). Второй тип: *si habuissem dederam* в том же значении, хотя второй глагол уже получает форму не конъюнктива, а индикатива давнопрошедшего времени. Наконец, третий тип, получивший широкое развитие: *si habuissem daturus eram* в том же значении, однако второй глагол этой конструкции приобретает сложноописательный характер (*daturus eram*).

Если морфологические явления родственных языков имеют, как правило, один источник в языке-основе, то синтаксические явления, однотипные в разных романских языках, могут вырастать сразу из нескольких конструкций, одновременно или в разные эпохи бытовавших в языке-основе. Так оказалось и в данном случае. Обороты для выражения гипотетической модальности в романских языках исторически связаны со всеми тремя перечисленными латинскими построениями.

Обращаясь к романским языкам, нельзя не заметить, что все они поразному развивают эти латинские конструкции. Лишь немногие романские языки сохраняют наиболее древний латинский тип — *si habuissem dedissem*. К таким романским языкам относятся провансальский и ретороманский. К ним же примыкают и южные итальянские диалекты. Что же касается староиспанского и, в особенности, старофранцузского, то в этих языках с самого начала старинный латинский тип гипотетического предложения сосуществовал с более поздним типом, основанным на своеобразном взаимодействии конъюнктива и индикатива флективного типа с описательно-перифрастическим выражением грамматического условия[1].

В старофранцузской «Песне о Роланде» (3764) читаем: *S'il **fust** leials, bien **resemblast** baron* «Будь честен он, так походил бы на рыцаря». Оба глагола находятся здесь в прошедшем времени конъюнктива, так что вся конструкция соответствует первому латинскому построению (*si habuissem dedissem*). Однако, наряду с этой конструкцией, во французском языке последовательно развиваются другие, оттесняя и постепенно сводя на нет тип первого построения. Возникают как бы смешанные построения. Уже в том же тексте находим: *Pechiet **fereit** qui donc li **fesist** plus* (Roland, 240) «Совершит грех тот, кто еще раз это сделает». В этом случае конъюнктив имперфекта (*fesist*) сочетается с новой модальностью романского происхождения — кондиционалом, истоки которого связаны с разновидностью третьего, описательного типа латинского гипотетического оборота (*facere habebat*>*fereit*). В последующей истории французского языка кондиционал укрепляется в главном предложении, оттесняя имперфект

[1] См. K. Foth, Die Verschiebung lateinischer Tempora in den romanischen Sprachen, «Romanische Studien», Bd. II, Strassburg, 1877.

конъюнктива в область придаточных конструкций. Такое распределение времен и наклонений способствует формированию более устойчивой гипотетической конструкции и создает своеобразное движение времен внутри самого предложения[1].

Иначе складывается соотношение в этой области между новым и старым в истории испанского языка. В старом языке здесь долго сохраняется второй латинский тип ирреалиса (*si habuissem dederam*) наряду с описательным оборотом (*si habuissem dare habebam*). Первая конструкция относилась к прошедшему, вторая — к настоящему времени. Впоследствии в связи с формированием сложных форм (*si hubiese tenido habria dado* «если бы имел, дал бы») первый оборот (*si habuissem dederam*) стал ассоциироваться с настоящим временем, а второй (*si habuissem dare habebam*) был временно вытеснен конструкцией, целиком основанной на временах индикатива: *si habueram dederam* или *si habueram dare habebam* (см., например, Rojas, Celestina: *Que si por mí no fuera, estarías tú ya ahorcado* «Если бы не я, ты был бы уже повешен»). В последующей истории испанского языка был сделан, однако, своеобразный шаг назад по направлению ко второй латинской конструкции (современное: *Si* ***tuviese*** *dinero se lo* ***daría*** «Если бы я имел деньги, дал бы их»). Тенденция к вытеснению конъюнктива из сферы гипотетического оборота не получила развития. Язык вновь вернулся к сочетанию конъюнктива и индикатива. Движение развития сперва как бы отклонилось в сторону, а затем вновь вернулось в русло ранее намеченного пути[2].

Иначе сложилась история этого оборота во французском языке. Гипотетическая конструкция в этом языке ранее тоже имела, как мы видели, смешанный индикативно-конъюнктивный характер (предшествующий этап — чисто конъюнктивное построение). Но в дальнейшем описательный оборот, приведший к образованию особой модальности — кондиционала, хотя и получил общероманское распространение, однако только в истории французского языка он постепенно стал вступать в связи уже не с конъюнктивом, а с индикативом (современное: *S'il* ***avait eu*** *vent de cette affaire, il* ***aurait agi*** *autrement* «Если бы он знал об этом деле, он поступил бы иначе»).

Было бы ошибочно считать, что данное своеобразие французской гипотетической конструкции определяется «особым характером французского мышления» и «автономией временных форм французского языка», как это утверждает современный исследователь этих конструкций Вагнер[3]. Гораздо правильнее объяснять своеобразие гипотетических конструкций одного романского языка по сравнению с аналогичными конструкциями в других романских языках особенностями развития исходных построений латинского языка в разных языковых условиях различных романских языков. Это тем более правильно, что основные линии развития таких конструкций в большинстве романских языков оказались все же общими. Различие определилось в результате прежде всего того, что отношение новой модальности — кондиционала к старой модальности — конъюнктиву в разных романских языках сложилось

---

[1] Об этом см. мои статьи: «Разыскания в области исторического синтаксиса французского языка» («Вестник Ленингр. ун-та», 1946, №4—5) и «Проблема гипотетической модальности в романских языках» (ИАН ОЛЯ, 1947, вып. 2). Ср. также автореферат докт. дисс. М. С. Гурычевой «Условные и уступительные предложения в провансальском и во французском языках» (М., 1953. Ин-т языкознания АН СССР).

[2] См.: E. Gessner, Die hypothetische Periode im Spanischen in ihrer Entwickelung, «Zeitschrift für rom. Philologie», Bd. XIV (1891), стр. 21; H. Schulz, Das modale Satzgefüge im Altspanischen. Inaug. diss., Jena, 1937.

[3] R. — L. Wagner, Les phrases hypothétiques commençant par «si» dans la langue française, des origines à la fin du XVI siècle, Paris, 1939, стр. 526.

по-разному. У нас тем меньше оснований предполагать влияние особого «национального мышления» на данную конструкцию, что тенденция к разграничению конъюнктива и индикатива и стремление избежать «смешанных модальных форм» (конъюнктивно-индикативных) были известны разным романским языкам (в частности, как мы видели, не только французскому, но и испанскому), хотя в разных условиях сама эта тенденция получила разную степень реализации. В одних романских языках путь от старых к новым формам гипотетической модальности был более извилист, чем в других: он отклонялся подчас в сторону с тем, чтобы вновь вернуться на большую дорогу развития.

Чтобы ответить на сложный вопрос о непосредственных причинах отклонения того или иного романского языка от общероманских и общелатинских типов построения гипотетической модальности, нужно самым тщательным образом изучить все эти построения в сравнительно-историческом плане. Очень существенно для понимания различий между языками в построении и характере функционирования гипотетической конструкции, в частности, то, как в условиях разных романских языков развивалась частица *si*. В классической латыни эта частица имела скорее усилительное значение, чем условное[1]. Во французском языке часто встречаясь в условном периоде, сама эта частица стала приобретать условное значение. «Перетянув» же на себя условное значение, частица *si* стала «освобождать» конъюнктив, делать его в этих построениях не необходимым. Этот факт мог ускорить вытеснение конъюнктива из гипотетической конструкции именно во французском языке[2]. Во всяком случае, тщательное изучение «местных условий» помогает понять пути своеобразных отклонений от общего типа в том или ином отдельном языке. Аналогичные соображения были выдвинуты нами и при истолковании различий внутри конструкции для выражения сравнительной степени между *plus* и *magis* в разных романских языках.

5

Проблема неравномерности развития родственных языков в области синтаксиса существенно отличается от проблемы неравномерности их развития в области морфологии. В области морфологии речь идет обычно об одной исходной форме, часто получающей различную степень развития в разных языках (ср. то, что было ранее сказано о причастии настоящего времени). В области синтаксиса проблема оказывается значительно более сложной: исследователю часто приходится иметь дело с различными синонимическими конструкциями, имевшими распространение уже в языке-основе. Разные романские конструкции не только могут отличаться друг от друга, но и по-разному относиться к той или иной исходной конструкции в языке-основе. Отношения оказываются не одноплановыми, каковыми они обычно бывают в морфологии, а многоплановыми. Эта многоплановость отношений — характерная особенность синтаксических категорий, рассматриваемых сравнительно-исторически.

Наличие тех или иных синтаксических построений в языке-основе не всегда свидетельствует о том, что соответствующие аналогичные построения в романских языках являются непосредственным развитием первых. В ряде случаев взаимоотношения складываются здесь очень сложные. Известно, например, что так называемый повествовательный инфинитив (он же иначе именуется инфинитивом историческим) уже встречался в латинском языке. Вместе с тем повествовательный инфинитив бытует в той

[1] См. A. Meillet et J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris, 1924, стр. 582.

[2] Ср. R.— L. Wagner, указ. соч., стр. 537.

или иной мере во всех романских языках, за исключением румынского и молдавского. Сейчас же возникает простое предположение, что романский повествовательный инфинитив непосредственно продолжает аналогичный инфинитив в латинском языке. При более же пристальном рассмотрении вопроса оказывается, что это не так.

Предположение о том, что романский повествовательный инфинитив (т. е. такой инфинитив, который употребляется как бы «вместо» личных форм глагола для придания рассказу большей живости, большего движения: франц. *et l'homme* ***de crier*** «и человек начинает кричать») непосредственно продолжает аналогичный инфинитив латинского языка, действительно долго существовало в науке[1]. Однако последующие исследования показали, что против такого предположения выступают многочисленные факты. Хотя в латинском языке повествовательный инфинитив иногда встречался у разных авторов, как ранних, так и поздних[2], но все же между случаями употребления повествовательного инфинитива в латинском языке и распространением аналогичного инфинитива в романских языках образуется перерыв около тысячи лет.

Во французском языке, например, повествовательный инфинитив получает распространение лишь после 1400 г. Примеры с подобным инфинитивом до 1400 г. исключительно редки, и почти все они встречаются уже не в том виде, в каком бытовали в языке латинском, а в грамматически преображенном виде с предлогом *de* (см. выше: *et l'homme* ***de crier***). Получив распространение, повествовательный инфинитив расширяет сферу своего функционирования в XV—XVI вв. (отчасти и в XVII в., особенно у Лафонтена: *grenouilles* ***de se plaindre*** «лягушки стали жаловаться»). Но после XVI в. начинается постепенное суживание области функционирования повествовательного инфинитива, так что в современном французском языке интересующий нас инфинитив часто приобретает стилистическое значение и употребляется сравнительно редко[3]. Повествовательный инфинитив иногда придает предложению своеобразную «артистичность» *Ma cousine Bette* ***épouser*** *ce jeune homme, elle qui serait sa mère* (Balzac, X, 81) «Как, чтобы моя кузина Бетта могла выйти замуж за этого молодого человека, она, которая могла бы быть его матерью!»[4].

Функции повествовательного инфинитива, как и время его появления в разных романских языках, очень различны. Еще позднее, чем во французском и испанском, повествовательный инфинитив возникает в языках итальянском и португальском. Вместе с тем, возникнув позднее, повествовательный инфинитив в итальянском языке в большей степени стилистически «нейтрален», чем во французском. Он получает и более широкое распространение в разговорной речи. Известны итальянские конструкции типа *Vedo che l'uomo* ***venire*** «Я вижу, что человек приходит», «Я вижу приходящего человека»[5]. Наконец, существенно и то, что

---

[1] См. A. Darmesteter, Cours de grammaire historique de la langue française, part IV—Syntaxe, Paris, 1897, стр. 145—147.

[2] Ср. повествовательный инфинитив в классической латыни: «*Interim cotidie Caesar Aeduos frumentum...* ***flagitare***... *Diem ex die* ***ducere*** *Aedui...*» (Caesar, De Bello Gallico, I, 16) «Цезарь ежедневно требовал от эдуев хлеба (буквально: «Цезарь ежедневно... *требовать* хлеба»). Эдуи тянули со дня на день (буквально: «Эдуи *тянуть* со дня на день»)».

[3] См. Alf. Lombard, L'infinitif de narration dans les langues romanes. Étude de syntaxe historique. Uppsala—Leipzig, 1936, стр. 241. Ср. также T. Nurmela, Le débat sur l'infinitif de narration dans les langues romanes, «Neuphilologische Mitteilungen», Helsinki, 1944, № 7—8.

[4] Другие французские примеры см.: J. Damourette et É. Pichon, Essai de grammaire de la langue française, t. III, Paris, [б. г.], стр. 703 и сл.

[5] См. A. Lombard, указ. соч., стр. 243. Ср. также L. Spitzer, Italienische Umgangssprache, Bonn — Leipzig, 1922.

повествовательный инфинитив встречается не только в языках романских, но и в некоторых языках германских (например, в английском), в языках славянских и других. Так, к аналогичному инфинитиву следует отнести, повидимому, и русские народные обороты, уже привлекавшие внимание исследователей: " (Лиса говорит дрозду:) „если не накормишь (меня), — я детей твоих поем". Дрозд *горевать*, дрозд *тосковать*, как лисицу ему накормить...»[1]. У Пушкина в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»: «И царица *хохотать*, И плечами *пожимать*, И *подмигивать* глазами, И *прищелкивать* перстами».

Нас не интересует сейчас специально вопрос о происхождении повествовательного инфинитива. В целях данной статьи существенно обратить внимание на другое: латино-романская преемственность в области синтаксических явлений сложнее и многообразнее преемственности в области фонетики и морфологии. Даже в тех случаях, когда для соответствующих романских конструкций находятся аналогии в языке латинском, преемственность между этими языками может быть не такой непосредственной, как в области морфологии.

Латинский повествовательный инфинитив не получил непосредственного развития в языках романских — об этом свидетельствует перерыв во времени. Функции данного инфинитива в разных романских языках различны; аналогичные конструкции с инфинитивом известны и языкам нероманским. И все же импульсы, исходившие из латинского языка, повидимому, сыграли известную роль в формировании романского повествовательного инфинитива. В пользу этого предположения свидетельствует, во-первых, то, что отдельные примеры повествовательного инфинитива встречаются все же и в древних романских языках[2], во-вторых, то, что в латинском языке, как и во многих романских языках, повествовательный инфинитив имеет определенное, стилистически ограниченное распространение (отсюда и его название), в-третьих, наконец, то, что всякое синтаксическое воздействие, даже исходящее из языка-основы, обычно воздействует на родственные языки не совсем так, как воздействуют друг на друга явления морфологические. В последних случаях преемственность обычно прямая и одноплановая, в первом — опосредствованная и многоплановая.

Не были правы те, кто романский повествовательный инфинитив стремился вывести непосредственно из латинского языка, но неправы, как мы думаем, и те, кто склонен резко противопоставлять романскую и латинскую традиции в этой области, не учитывая специфики синтаксической преемственности, в отличие от преемственности фонетической и морфологической. Сущность этой специфики заключается в том, что: 1) хронологически указанная преемственность может быть не только сплошной и непрерывной, но и прерывистой, 2) что, получая импульсы от языка-основы, родственные языки могут развить сходные синтаксические явления как бы на новой основе, определяемой всем своеобразием строя новых

---

[1] Д. Н. Овсянико-Куликовский, Синтаксис русского языка, СПб., 1912, стр. 92 и Т. П. Ломтев, Учение Потебни о субъектном и объектном употреблении инфинитива..., «Доклады и сообщения Филол. фак-та [МГУ]», вып. 8, 1949, стр. 11—12.

[2] См. A. Lombard, указ. соч., стр. 82. Напрасно Ломбард считает, что перерыв между латинским и романским употреблением повествовательного инфинитива снимает вопрос о всякой преемственности в этой области между латинским и романскими языками. Ведь мы же говорим о латинском источнике «ученых слов» в романских языках, хотя эти слова непосредственно не продолжают развития живой латинской традиции. Как и в области лексики, в области синтаксиса следует различать, на наш взгляд, преемственность непосредственную и преемственность опосредствованную, или косвенную.

языков в отличие от старых (известная преемственность между ними при этом сохраняется); наконец, 3) что сходные синтаксические явления в разных родственных языках получают разное функциональное развитие.

При сравнительно-историческом изучении синтаксических явлений возникает множество теоретических проблем. Сравнительный материал дает возможность по-новому осветить проблему формы слова, проблему словосочетаний и проблему предложения. Предполагая вернуться к этим вопросам в особой работе, сейчас лишь обратим внимание на такого рода факты. В западнороманских языках возникновение, закрепление и расширение сферы функционирования определенного артикля было тесно связано с процессом распада склонения имен существительных. В восточнороманских языках, напротив, вовлечение определенного артикля в сферу форм одного слова (румынское *omul* «человек»: *om*+соединительный гласный *u*+определенный постпозитивный артикль *l*) существенно изменило дело: в этих языках определенный артикль стал способствовать развитию падежной системы имени. Известно, что в румынском языке, как и в молдавском, именно артикулированные формы имени существительного в большей степени сохраняют падежные различия, чем формы неартикулированные (существительное без артикля типа *lup* «волк» падежных различий не знает, тогда как артикулированная форма этого же имени *lupul* различается: именительно-винительный *lupul*, родительно-дательный *lupului*).

Так не только осложняется понятие формы слова, если подойти к ней с позиций родственных языков, но и подтверждается наша мысль о полифункциональности (многоплановости) синтаксических явлений родственных языков. Имея общие источники в языке-основе, синтаксические явления в разных родственных языках развиваются настолько самобытно, что в своей системе видоизменяют не только исходные синтаксические конструкции, но и осложняют критерии самих теоретических понятий, которыми оперирует грамматика. Объем понятий формы слова или формы словосочетания — то же следует сказать и о предложении — в разных родственных языках оказывается уже несколько иным, чем объем этих понятий в применении к одному из данных языков. Языковеды занимались до сих пор изучением этих понятий только по отношению к тому или иному отдельному языку (что само по себе очень нужно). Настало, однако, время поставить эти проблемы и в сравнительно-историческом плане общей синтаксической структуры родственных языков.

Некоторые положения теперь могут быть кратко резюмированы: 1) вопросы сравнительно-исторического синтаксиса романских языков изучены гораздо меньше, чем вопросы фонетического и морфологического характера, поэтому до сих пор классификация романских языков опирается, в основном, лишь на данные фонетики и морфологии; между тем привлечение синтаксического материала не только существенно осложняет самый принцип классификации родственных языков, но и обнаруживает внутренние, как бы перекрестные, контакты и расхождения между подгруппами языков, входящими в данную языковую семью; 2) в отличие от морфологических явлений, которые обычно имеют лишь один источник в языке-основе, сходные синтаксические конструкции родственных языков могут одновременно вытекать из нескольких параллельных источников в языке-основе, определяя — наряду с другими причинами — сложные отношения между родственными языками в области синтаксиса.

В данной статье мы затронули лишь некоторые вопросы большой и сложной проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса родственных языков. Не подлежит сомнению, что эти вопросы требуют всестороннего обсуждения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. И. ЖИНКИН

ВОПРОС И ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Первая задача изучения языковых явлений заключается в группировке и классификации фактов. Поэтому подходя к такому явлению, как вопросительные предложения, мы нуждаемся в том, чтобы установить, какое место занимают они среди других предложений и как распадаются сами на виды, подвиды и типы. Приступая к описанию, мы, конечно, должны обладать какими-то предположениями и допущениями в отношении того, что назвать предложением и его признаками, вопросом и его признаками, суждением, мыслью, желанием и т. п. Такие допущения могут присутствовать в скрытом виде. Это значит, что они лежат в самой системе описания или классификации, а не обсуждаются отдельно и специально. Если в описательной системе мы замечаем противоречия, несогласованность частей и неопределенность, то все же за неимением лучшего мы временно оставляем в силе нашу описательную систему, рассматривая ее как приблизительную. Вместе с тем мы обязаны специально пересматривать, обсуждать и перерабатывать исходные допущения. При этом может оказаться, что в результате такой перестройки мы еще не получим сразу ни новых описаний,ни новых классификаций; и все-таки мы вынуждены делать эту работу. Так именно и обстоит дело с проблемой вопросительных предложений.

В описательных грамматиках деление предложений на повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные занимает очень скромное место. Это — небольшой островок в обширной системе описываемых языковых фактов. Вместе с тем, присматриваясь к тем принципам, которые лежат в основе указанного деления предложений, и в особенности к пониманию того, что такое вопросительное предложение, мы видим, что здесь затрагиваются самые кардинальные проблемы грамматики вообще. В этом фокусе скрещивается множество общих проблем и возникают поразительные парадоксы, давно уже привлекавшие внимание всех, так или иначе занимавшихся изучением языка и речи. Пусть первоначально мы не придем еще к практическим результатам, не внесем каких-либо поправок и добавлений в главу о видах предложений, не узнаем и того, в чем сходны и чем отличны вопросительные предложения в разных языках, но мы можем получить материал для более широких выводов, имеющих значение для понимания структуры всякого предложения. Ведь именно это обстоятельство всегда и вызывало повышенный интерес к проблеме вопроса и вопросительных предложений.

Для марксистов общепризнанным является исходное положение — единство мышления и языка. Нет речи, в которой не фиксировалась бы мысль. Нет мысли, которая не закреплялась бы в речи. Вместе с тем единство языка и мысли предполагает их различие. Одни и те же языковые

средства, в зависимости от условий, могут фиксировать разные мыслимые значения. Одна и та же мысль может быть высказана на разных языках. Это общее положение заставляет искать те конкретные языковые условия, при которых возникает полная определенность мыслимых значений, что и обеспечивает взаимное понимание людей в процессе общения. Применим это общее положение к проблеме вопросительных предложений. Иначе говоря, узнаем, при каких условиях в предложении фиксируется именно вопросительное значение.

Существующая в настоящее время концепция состоит в том, что всякий раз, как перед нами находится вопросительное предложение, в нем высказывается именно вопрос. Поэтому такое предложение и называется вопросительным. Для того чтобы проверить эту концепцию, следует спросить, что же мы называем вопросительным предложением и что — вопросом. К признакам вопросительного предложения обычно относят наличие в нем: специальных слов (частиц, союзов), определенного словорасположения и особенно специфической интонации. Под вопросом разумеют один из видов цели общения, а именно: побуждение собеседника ответить на обращенную к нему речь. Если принять эти определения, тогда окажется, что значительная группа вопросительных предложений не содержит в себе значения вопроса. К этой группе относятся, во всяком случае, так называемые риторические вопросительные предложения. Они обладают всеми признаками вопросительных предложений, но совершенно не содержат побуждения собеседника к ответу. Подобные случаи просто записываются как факт в соответствующих местах описательных грамматик. Но констатация факта еще не решает проблемы. Остается неясным, при каких условиях вопросительное предложение в одних случаях обозначает вопрос, а в других — утверждающее или отрицающее сообщение. Больше того, эти факты должны вызвать величайшее беспокойство за судьбу описания видов предложений. Ведь с самого начала было предположено, что вопросительное предложение только побуждает к ответу, а повествовательное уже сообщает суждение. Между этими видами предложений была положена резкая грань. Факты противоречат допущениям. В теоретическом допущении, лежащем в основе описания, не была предусмотрена задача — вскрыть механизм перехода в предложении при известных условиях вопросительного значения в утвердительное. Да еще неизвестно, как само это вопросительное значение (в каком бы предложении оно ни было заключено) соотносится с утвердительным значением сообщения. Описание было начато при очень неопределенных допущениях, а встретившийся в действительности факт, противоречащий им, был просто констатирован, но не объяснен.

Риторические вопросительные предложения не требуют ответа, потому что они сами в себе содержат этот ответ в виде утверждающего или отрицающего сообщения. Оставив пока в стороне проблему о механизме этих превращений, обратим внимание на то, что, кроме риторических, есть еще и другие вопросительные предложения, которые также не требуют ответа, но вместе с тем не содержат в себе и открытого сообщения. Возьмем такой диалог: [Первый] *Вот здесь-то он и попался.* [Второй] *Ишь ты! Попался?* В последней реплике налицо однословное вопросительное предложение с ярко выраженной вопросительной интонацией. Однако здесь выражена лишь чрезвычайная заинтересованность сообщением, и только. Говорящий не спрашивает, не переспрашивает и тем более ничего не сообщает. Ведь он только что принял это сообщение. Аналогично в таком высказывании: *Ах ты так? Вон как? Значит ты драться?* — все три вопросительных предложения пусты как вопросы; говорящий не ожидает ответа; вместе с тем трудно принять их за утверждения, хотя бы и ритори-

ческого характера. Ср. также у Чехова («Разговор человека с собакой»): *А-а-а-а!... ты кусаться?*, или: *Так! Мерси, Жучка... или как тебя?* Последнее: *как тебя?* при наличии вопросительной интонации, конечно, не является вопросом не только потому, что разговор ведется с собакой. Смысл реплики в том, что говорящему безразлично, как зовут того, к кому он обращается — Жучка или иначе. Поэтому ответ не нужен. В контексте «Левого марша» Маяковского предложение *Кто там шагает правой?*, хотя и является вопросительным, но было бы нелепо признать в нем выражение вопроса и соответственно ожидать ответ: *Я шагаю*, или: *Он шагает*. Здесь нет и никакого открытого сообщения. Это требование переменить ногу. В строках Лермонтова: *Что ж? веселитесь... он мучений Последних вынести не мог* («Смерть поэта») вопросительное *что ж?* содержит вызов, а не вопрос и не сообщение.

Таким образом, оказывается, что в вопросительных предложениях могут содержаться и пересекаться как значения вопроса, так и утверждающего сообщения, а также значения чрезвычайно разнообразных видов побуждения к действию и значения состояний. Согласно же традиционной концепции, трем определенным видам предложения точно и неизменно соответствуют три аналогичных значения как цели общения.

Так как в традиционном описании вопросительные предложения включаются в классификацию, то следует обратить внимание и на два другие вида предложений — повествовательные и побудительные. Любое нечто может быть выделено из всего остального и названо. Может быть выделен лексически и сам вопрос как вопрос. При этих условиях предложение типично повествовательной конструкции будет содержать в себе значение вопроса. Так, например, предложения: *Я прошу вас рассказать о возможности существования жизни на Марсе*, или: *Таким образом, возникает вопрос о существовании жизни на Марсе*, лишенные признаков, присущих вопросительным предложениям, совершенно эквивалентны по значению вопросу: *Существует ли на Марсе жизнь?* То же самое и в таких типах повествовательных предложений, как: *Я хотел бы узнать ваш адрес*. Несмотря на повествовательную конструкцию предложения, здесь явно выражено побуждение собеседника к ответу. С другой стороны, в предложениях повествовательных может быть не высказано в открытой форме утвердительное или отрицательное сообщение с претензией на истинность. Сюда относятся, например, назывные предложения. Когда родители нарекают своего сына Васей, а дочь Катей, они не выносят ни истинного, ни ложного суждения. Истинность или ложность возникает после наречения, когда кто-либо Васю или Катю назовет иначе. Предложение *Назовем эту величину А* по значению является пригласительным, или призывным. Мы призываем согласиться с нашим наименованием и лишь после этого на основе номинации в дальнейшем употреблении может возникнуть предикация.

Аналогичная картина наблюдается, если мы обратимся и к побудительным предложениям. Предложение *Принеси стол* является побудительным. Предложение же *Иван Иванович приказал принести стол* по конструкции должно быть признано повествовательным. Однако, если его взять обособленно от контекста или ситуации, то по значению оно будет неопределенным и ни в какую рубрику не попадает. Если же его рассматривать в ситуации, в которой кто-либо передает приказ от третьего лица,— *Иван Иванович приказал то-то*, тогда слушающий примет такое высказывание только как приказ, а не как сообщение о том, что сделал или сказал Иван Иванович. В другой ситуации, когда говорящий рассказывает кому-либо о том, что сделал Иван Иванович, то же предложение, конечно, будет обладать значением раскрытого сообщения. Предложение *Когда же, наконец,*

ты принесешь стол? по всем признакам должно быть отнесено к вопросительным, хотя в определенной ситуации оно не рассчитано на ответ, а является побуждением к действию.

Обращает на себя внимание и еще одно явление. Принято считать, что если в предложении, каким бы сложным оно ни было, есть хотя бы одно слово, находящееся под вопросительной интонацией, то и все предложение в целом является вопросительным. Однако, если в одной части сложного предложения читается утвердительная интонация, а в другой части — вопросительная, то вполне логично было бы признать, что здесь имеет место какая-то компликация, слияние двух видов значений. В предложении *Если вы сегодня уедете, то когда же возвратитесь?* в первой части отчетливо слышна условно-утвердительная интонация, во второй части — вопросительная. В предложении *Не лучше ли нам перейти в другую комнату, а?* только одно *а* находится под вопросительной интонацией, вся же остальная часть говорится с совершенно особой интонацией, побуждающей принять предлагаемый переход. Однако, действительно, первое приведенное предложение в целом требует ответа. Второе может вызвать или ответ, или молчаливое согласие, или протест. Но возможен и третий случай: *Вы говорите, что-то придумали, да? а на самом деле вы ничего не придумали.* Здесь первая часть полувопросительная, полуутвердительная; на *да* развертывается вся сила вопросительной интонации, последняя часть предложения является отрицанием, в целом же на все высказывание ответ не ожидается. Ответа нет и у самого говорящего, так как он отрицает не то, о чем спрашивалось, а то, что полуутверждалось в первой части предложения.

Следовательно, те внешние признаки предложения, которые были приняты за исходные в традиционном описании, оказываются недостаточными для того, чтобы по ним определить передаваемое в процессе общения значение. В результате такое описание неполно, предвзято; оно не только намеренно обходит и не объясняет ряд трудных случаев, но даже и не замечает многих из них. Вместе с тем в процессе общения мы понимаем все эти оттенки значений, язык обеспечивает их взаимную передачу. Больше того, все разнообразие конструкций предложений, как и других языковых средств, предназначено именно для того, чтобы добиться передачи этих мыслимых значений. В традиционной концепции были выделены основные нити, но не было показано, как все они вместе составляют живую ткань речи.

Надо заметить, что кратко и далеко не полно изложенная выше критика традиционных делений предложений не нова. Едва ли найдется такой грамматист, который был бы вполне удовлетворен существующими классификациями. Спрашивается, почему же при решении этой проблемы сложилось такое своеобразное сочетание неудовлетворенности и вместе с тем опасения за исход освобождения из плена обычных представлений? Дело в том, что частная проблема о вопросе тянет за собой более общую и сложную проблему предложения вообще. Сама же проблема вопросительных предложений подпала под влияние аристотелевской концепции. Эта концепция пленяет своей обаятельной ясностью, убедительностью и классической простотой. Всякая речь, по Аристотелю, что-либо обозначает, но не всякая утверждает. Вопрос или мольба — это речь, но в них ничего не утверждается и не отрицается, поэтому в них нет ни истины, ни лжи. Кажется, что в этом разъяснении раз и навсегда, отчетливо и просто решена не только проблема вопроса, но и соотношение мышления и языка, суждения и предложения. После этого и стали логики и грамматисты на протяжении столетий переписывать из учебника в учебник, что в предложениях повествовательных содержится суждение, а в других предложениях — по-

будительных или вопросительных — уже нет никаких суждений. Там содержится желание получить сообщение. При этом, очевидно, предполагается, что в предложении каким-то образом заключено само желание, а не суждение о моем желании.

Аристотелевская традиция сохранила силу до настоящего времени. Ей почти никто не противоречил. Единичные попытки Больцано и Эрдмана[1] исправить Аристотеля не были приняты и не изменили положения дела. Это и понятно, так как сами логики меньше всего страдали практически от последствий признания этой традиции. Пусть даже будет доказано, что в вопросе есть какие-то элементы суждения, есть какая-то доля сообщения, все равно изучать законы строения суждения лучше всего на таких случаях, в которых суждение дано во всей его полноте, со всеми его характерными признаками, в его полном виде. С этой именно целью логики обычно намеренно игнорируют конкретную систему языковых средств или отвлекаются от нее. Они исключают, как лишнее для их анализа, все второстепенные члены предложения, словопорядок, модальные и экспрессивные компоненты предложения и оставляют вполне достаточную для логического анализа схему — *S* есть *P*. Языковед ки может встать на этот путь. Для него каждое слово в предложении, всяней компонент конструкции — это факты языка. Любая перефразировка, логически эквивалентная первой, для языковеда новый факт. При этом должны быть учтены как эквивалентность, так и возникающее различие. В живом контексте речи уже нет синонимов. Эквиваленты значений слов учитываются лишь в словарных списках, да и то со ссылками на возможные контексты. Таким образом, то, что безвредно для логики, пагубно для языковедения. Возникает задача — дать полный отчет о сложившемся положении.

Аристотелевское положение — всякая речь обозначает, но не всякая утверждает — ложный парадокс. Там, где только одни обозначения, только наименования,— нет еще речи. Речь — это не куча и не ряд имен, названий, обозначений, а закономерно оформленное сочетание обозначений. Закономерность грамматического оформления и придает, как известно, языку стройный, осмысленный характер. Речь только там, где мысль. Следовательно, и в вопросе передается мысль. Вопрошающий должен что-то полагать, допускать, выделять, связывать, разъединять, предполагать о действительности, для того чтобы на его мысль получился ответ. В противном случае нет никакого смысла заводить речь. В вопросе должно быть такое полное содержание, которое имело бы смысл передавать другому. Иначе, что бы делал этот другой при ответе? Он говорил бы невпопад. Вопрос — это двусторонняя передача мысли. Традиция отбрасывает одну из сторон, тогда вопрос перестает быть фактом речи. И все-таки кажется, что вопрос — это одно, а мысль и суждение — другое. Вопрос, может быть, и есть мысль, но не является видом суждения. А главное, ведь вопрос все-таки не утверждает, иначе зачем же было бы спрашивать, а суждение утверждает. Но, может быть, существуют разные градации утверждений? Допуская или предполагая что-то, я утверждаю не так, как в том случае, когда определяю или делаю вывод. Все эти проблемы остаются неясными до сегодняшнего дня. Нерешенность их вызывает ту мучительную двойственность в отношении к традиции, о которой упоминалось выше.

Советская логика сделала большой шаг вперед, расшатав аристотелевскую традицию. Но это дело еще не доведено до конца. В работах П. С. Попова и П. В. Таванца уже нет резкого противопоставления вопроса

[1] См.: B. Bolzanos, Wissenschaftslehre. Versuch einer ausführlichen und größtentheils neuen Darstellung der Logik, Bd. 2, Sulzbach, 1837, § 145, стр. 71; B. Erdmann, Logik, Bd. I, 2-e Aufl., Halle, 1907, стр. 265, 389.

(и вообще побуждающих высказываний) суждению и сообщению. П. С. Попов признает, что «вопросительное предложение в каком-то смысле примыкает к суждению — их объединяет то обстоятельство, что и та и другая форма выявляют сообщения; объединяет и то, что и то и другое (и вопрос и суждение) отливается в форму предложения. И все же вопрос есть вопрос, а суждение есть суждение»[1]. Признание того, что вопрос и суждение выявляют сообщение, конечно, расшатывает аристотелевскую традицию. Однако дальше[2] П. С. Попов берет обратно свой тезис или, во всяком случае, чрезвычайно ослабляет его силу. Он приходит к выводу, что только в суждении есть непосредственное отражение кусочка действительности, если же мы «запрашиваем этот кусочек о подлинном его составе», то это будет вопрос, в котором уже нет непосредственного отражения действительности.

Так, ускользнув от традиции в одном пункте, мы снова попали в ее плен в другом — наиболее существенном. В суждении *Чай налит* есть отражение действительности. Каким же образом включившаяся интонация вопроса *Чай налит?* сразу уничтожила всякое отражение? Разве спрашивающий ничего не выделяет в действительности, не имеет никаких понятий о ней, не сообщает в своем вопросе с достаточной определенностью? Ведь он спрашивает *Налит ли чай?*, следовательно, допускает возможность, что чай не налит, а это уже допускающее утверждение. Кроме того, он спрашивает *налит ли*, а не—*растет ли чай*; *налит*, а не *заварен* и т. п. Но самое главное состоит в том, что вопрошающий сообщает совершенно определенное суждение о своем желании: *Я хочу узнать у вас о том-то*. Может быть, пить этого чаю он не желает, но узнать о том, налит ли чай, хочет. Указанное суждение содержит вопрос, так как говорящий, обращаясь к собеседнику, ждет ответа, хотя сказанное предложение не является вопросительным. Суждение *Чай налит* отражает часть действительности; суждение *Я желаю у вас узнать, налит чай или нет* тоже отражает действительность, но уже другую ее часть. Оба эти суждения как суждения ровно ничем не отличаются друг от друга. Желание — тоже часть действительности. О нем также может быть высказано суждение. Мнение же о том, что в вопросительном предложении не высказывается суждение о желании, а содержится само желание, было бы совершенно абсурдно.

Таким образом, различие выражений *Чай налит*, *Чай налит?*, *Я желаю узнать у вас то-то* — не в том, что в первом и последнем случаях есть суждение, а во втором случае его нет. Во всех этих случаях есть суждение. Различие этих высказываний заключается в особенностях предложений. При эквивалентности мысли предложения могут быть различны. Возникает задача узнать, какую же функцию выполняют разные конструкции предложений. Зачем они нужны, если ничего не меняют в составе высказываемой мысли. Они несомненно меняют мысль. Но конструкция предложения сама по себе бессодержательна. Казалось бы, она ровно ничего не может прибавить от себя к содержанию мысли. Однако она может перестроить взаимосвязь и систему тех суждений, которые высказываются в предложении, и тем самым изменить содержание мысли. Вся проблема, таким образом, сводится к изучению способов и средств таких перестроек. Но эта проблема лежит за порогом логики, так как логика с самого начала из разных предложений, отвлекаясь от их конструкций, поставила перед собой задачу — выбирать только эквиваленты суждений.

Однако прежде чем обсуждать вопрос о функциях конструкции предложений, следует подчеркнуть некоторые детали. Идею о том, что в во-

[1] П. С. Попов, Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», под ред. В. В. Виноградова, М., 1950, стр. 18.

[2] См. там же, стр. 20, 21.

просах и повелениях содержится утверждение, высказал Х. Зигварт. Эта парадоксальная мысль резко противоречит аристотелевской традиции. Зигварт бросает ее мимоходом и не дает ей никакого применения, но она любопытна. «Желательное наклонение,— говорит Зигварт,— заключает в себе утверждение, что он (говорящий. — *Н. Ж.*) желает высказанного. Но утверждение это заключается в факте процесса речи, а не в содержании высказанного»[1]. Зигварт хочет сказать, что в самом факте речи заключено следующее утверждение: *Я говорю о чем-то*. В этом отношении Зигварт прав: нельзя, говоря, ни о чем не сказать. Тогда это была бы не речь[2]. Но дело не только и не столько в факте речи, сколько именно в ее содержании. В одном случае я говорю о чае, в другом — о своем желании узнать о том, что чай налит; это, конечно, разное содержание речи. Дальше Зигварт говорит о том, что утверждения, присущие факту речи, присутствуют в любом виде речи, поэтому они не могут обосновать отличия тех или иных предложений (подчеркнуто нами.— *Н. Ж.*). Этот вывод уже неверен. Высказывания *Чай налит* и *Чай налит?* следует рассматривать как различные факты речи. В обоих случаях я, конечно, говорю, но говорю по-разному и высказываю разное содержание. Само же по себе утверждение *Я говорю* уж очень пусто. Таких утверждений в момент применения речи много — *я живу, я шевелю языком, я смотрю, думаю и т. п.*, но из этих утверждений нельзя сделать никакого применения. Реальный же факт заключается именно в различии предложений. Когда П. С. Попов в цитированной выше статье утверждает, что суждение и вопрос объединяются тем, что оба они отливаются в форму предложения, то для хода рассуждения П. С. Попова в данном случае не существенно различие предложений. Тогда вся проблема вообще теряет смысл, так как только из различия предложений можно узнать различие высказанных в них мыслей. Бросающийся в глаза факт состоит в том, что при переходе от мысли, высказанной в данном предложении, к эквивалентной ей приходится перестраивать предложение. При сохранении части мысли — другие ее компоненты перестраиваются в меру перестройки предложения. Следовательно, весь вопрос именно в различии предложений.

Значительный сдвиг традиционных представлений производится и в работе П. В. Таванца «Суждение и его виды». По мнению П. В. Таванца, суждение и побуждение относятся к категории мысли и сходны в трех отношениях: 1) то и другое выражается в предложении; 2) то и другое имеет предметный характер; 3) то и другое может быть правильным или ложным. Признание последних двух пунктов сильно расшатывает установившуюся традицию. Однако тотчас же П. В. Таванец восстанавливает ее снова. Побуждение, говорит он, в отличие от суждения непосредственно не утверждает (и не отрицает) что-либо. П. В. Таванец думает, что в предложении *Иванову велено закрыть дверь* уже не выражается побуждение. Это наблюдение неверно. Если повеление передается от третьего лица Иванову, то это предложение он может понять только как побуждение закрыть дверь, а не как рассказ о том, что какому-то Иванову велели закрыть дверь. Это значит, что и в повествовательном предложении может быть передано побуждение. Предложение из известной басни Крылова *Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек* нелепо было бы понимать как констатацию фактов восприятия. В контексте басни — это побудительное предложение. Демьян угощает Фоку, а не показывает, где лещик, где потроха и где стер-

[1] Х. Зигварт, Логика, перевод с 3-го посмерт. нем. изд. И. А. Давыдова, т. I, СПб., 1908, примеч. 2, стр. 425.

[2] Вместе с тем Зигварт становится здесь на опасный путь. Если в процессе речи содержится суждение *Я говорю*, то ведь и это суждение — тоже речь. Следовательно, в ней еще раз содержится новое: *Я говорю*, и так до бесконечности.

лядь. Как указывалось выше, возможен другой случай: *Иванов! Закроешь ты, наконец, дверь или нет?* Это предложение вопросительное, хотя в нем и не содержится вопроса, так как говорящий не ожидает ответа, а требует немедленного выполнения повелеваемого действия. Следовательно, повеление может быть высказано и в повествовательном, и в вопросительном предложениях. Наконец, в собственно побудительных предложениях высказывается утверждение. П. В. Таванец сам признает, что в предложении *Закройте дверь* заключено утверждение о том, что дверь не закрыта. Иначе бессмысленно было бы требование ее закрыть. Вполне возможна такая ситуация разговора, когда слушающий на обращение *Закройте дверь* скажет: *А я не знал, что она открыта.* Следовательно, он понял переданное ему утверждение.

Несомненно, суждение *Дверь не закрыта*, содержащееся в предложении *Закройте дверь*, передается в этом последнем несколько иначе, чем в предложении *Дверь не закрыта*. Тогда снова встает та же проблема о механизме предложения, способного перестраивать соотношение фиксированных в нем суждений. Что же касается самих, как говорят, скрытых, или имплицитных, суждений, то они именно как суждения ровно ничем не отличаются от всяких других раскрытых суждений. Поэтому П. В. Таванец не вполне прав, когда старается найти в части истинности и ложности различие между скрытыми суждениями в повелительных предложениях и открытыми в повествовательных. Для того, чтобы выяснить истинность суждения *Высота N не взята нашими войсками*, говорит П. В. Таванец, надо узнать, взята или не взята эта высота. Для решения же вопроса о правильности суждений в побудительном предложении *Взять высоту N*, кроме этого, необходимо еще узнать, целесообразно ли брать высоту *N* и способна ли данная воинская часть взять ее[1]. Однако это наблюдение П. В. Таванца неточно. То же предложение в контексте *Высота N не взята, так как не подошли еще подкрепления и не занято поле К.*, оставаясь предложением повествовательным, а не побудительным, содержит в себе суждения о способности войск взять высоту и целесообразности брать ее. Следовательно, для проверки и этого высказывания необходимо установить истинность входящих в него суждений. Различие повествовательных и побудительных предложений состоит не в том, что входящие в них суждения проверяются по-разному. Всякое суждение проверяется одним способом — через установление соответствия его действительности. Различие в том, что состав и система суждений в разных типах предложений не одинаковы. При переходе от одного типа предложения к другому часть суждений сохраняется как эквивалентные, а часть появляется или пропадает, вследствие чего и меняется их взаимоотношение и система. Вот почему трудно согласиться с конечным выводом, к которому приходит П. В. Таванец: «...побуждение нельзя рассматривать в качестве разновидности суждения. Побуждение есть особая разновидность мысли»[2]. Конечно, побуждение — не вид суждения, но и не разновидность мысли. Логика до сих пор ничего не могла сказать об этой разновидности мысли, хотя по своей задаче и занимается изучением видов мысли, законов ее строения и сочетания. Больше того, логика с порога отстранила от себя изучение побудительных и вопросительных высказываний.

Из вышеизложенного следует, что побудительные, вопросительные и другие типы высказывания — это разновидности процесса речевого общения. В каждой речи сообщается мысль. Эта мысль сложная (даже в самом простом предложении). В ней целая система взаимозависимых суждений.

---

[1] См. П. В. Таванец, Суждение и его виды, М., 1953, стр. 27.
[2] Там же.

Для того чтобы выразить эту именно систему мысли, она фиксируется в разных конструкциях предложений и связи этих предложений. В результате речь приобретает разные виды воздействия на людей, возникают разновидности процесса общения, появляется действие, которое совершает человек, когда говорит, — речевое действие.

Итак, необходимо различать следующие явления: 1) мысль или систему мыслей, высказанных в предложении или системе предложений; 2) конструкцию предложений, т. е.: а) словопорядок (имея в виду разнообразные виды морфолого-синтаксических сочетаний слов в предложении), б) наличие особых слов или форм, специфических для данной конструкции (например, вопросительных местоимений, частиц, наклонений глагола и т. п.) и в) интонацию предложения; 3) речевое действие, т. е. то, что человек делает, когда говорит, — излагает, спрашивает (чтобы получить ответ), требует (чтобы было выполнено какое-либо действие) и т. п. Каждое из этих явлений, указанное под номерами 1, 2, 3, своеобразно и не сходно с другими. Весь ряд не является классификацией и не может быть подведен под какое-либо родовое понятие. Действительно, мысль является отражением действительности, конструкция же предложения никакой действительности не отражает — это лишь средство фиксации мысли. Речевое действие — это конкретный, неповторимый акт общения, тогда как мысль повторима и воспроизводима, а конструкция предложения не конкретна, а обща и стандартна. Несмотря на все различие этих явлений, они, взятые вместе, составляют систему, соотношение звеньев которой образует разнообразие средств речевого общения. В этой статье нет возможности сколько-нибудь полно вскрыть разные случаи взаимоотношения звеньев интересующей нас системы. Можно наметить лишь самые общие контуры.

Прежде всего, обратим внимание на классическую проблему атрибутивных и предикативных образований. В чем особенности таких трех словесных образований: а) *хороший человек пришел*; б) *человек хорош*; в) *хороший человек*. В первых двух образованиях наличествует сообщение и утверждение о действительности, в третьем этого нет. Почему это происходит? Заметим, что в первом случае (а) утверждается не только то, что человек пришел, но и то, что он хороший. Правда, в этом изолированно взятом словесном образовании еще не ясно, что именно является главным в утверждении и что дополнительно подразумеваемым и допускаемым, но не являющимся целью сообщения — то ли, что этот человек хороший, или то, что он пришел. Однако, если мы учтем интонацию и заметим, что логическое ударение падает, например, на слово *пришел*, тогда станет ясным, что целью сообщения является именно этот предикат, а *хороший* останется атрибутом. Этот атрибут не является целью сообщения, так как он заранее предполагается как известный обоим говорящим. Смысл высказывания таков: *Тот хороший человек, о котором мы знаем или раньше говорили, вот этот человек и пришел*. Вместе с тем атрибут *хороший*, конечно, является признаком этого человека. Этот признак утверждается и признается обоими говорящими как принадлежащий данному человеку. Таким образом, этот атрибут *хороший* в конечном счете тоже предикат, только не являющийся целью данного сообщения. Следовательно, можно считать, что здесь два вида предикатов — один главный, первого порядка, другой — второстепенный, второго порядка.

Теперь обратим внимание на третье словесное образование: *хороший человек*. Здесь присутствует только предикат второго порядка. Если нет предиката первого порядка, то нет и цели сообщения. Такое словесное образование хотя и обозначает, т. е. содержит слова, но ни о чем не говорит; это еще не речь. Однако об отсутствии предиката первого порядка в дан-

ном случае мы не можем судить ни по форме слов, ни по словопорядку. Необходимо выяснить характер речевого действия, что может быть обнаружено из контекста и интонации предложения. Анализируемое словообразование (в) может приобрести предикат первого порядка, если появится цель сообщения и соответственно речевое действие, например: *Какой по-вашему это человек?* Ответ: *Хороший человек*. Здесь в ответе уже нет различия между атрибутом и предикатом.

Но есть еще один случай, когда то же самое словесное образование (в) — *хороший человек* может превратиться в речь. Случай этот удивителен потому, что в возникающей речи не только не появляется предиката первого порядка, но, наоборот, он нацело уничтожается. И все-таки речь преследует определенную цель и совершается определенное речевое действие. Это случай вопроса: *хороший человек?*; *человек хорош?* Здесь налицо цель общения, это побуждение к ответу, это речь, речевое действие. Но здесь нет предиката первого порядка. Спрашивающий не утверждает и не отрицает признака *хороший* по отношению к *человеку*. Следовательно, наряду с операцией усиления и ослабления предиката, т. е. перехода его в тот или иной по иерархии порядок, возможна еще операция снятия главного предиката, отказа от него при сохранении предикатов низших порядков. Это такая же необходимая операция, как и признание предиката. Она необходима для взаимного понимания в процессе обмена мыслями. Говорящий старается по возможности точно определить сферу того, что одинаково, по его мнению, признает и он, и собеседник. Для этого в речь вводятся предикаты низших порядков. Говорящий, кроме того, сообщает в предикате первого порядка то, о чем, по его мнению, слушателю не было известно. Но есть кое-что такое, что неизвестно и самому говорящему. Тогда он старается добиться ясности и в этом пункте. Он снимает главный предикат и тем самым побуждает слушателя или найти его, или утвердить предлагаемый ему претендент на предикат (в первом случае: *какой человек?*; во втором: *человек хорош?*). Вопросительная речь достаточно определенна, т. е. содержит понятные для слушателя как подразумеваемые суждения, так и область снятого предиката. Побуждение возникает в той части речи, в которой снят предикат первого порядка. Так, в высказывании *А этот человек, о котором не сегодня, а* ***вчера*** *мы с вами говорили, хороший?* слово *вчера* является предикатом второго порядка, слова *о котором мы с вами говорили* — предикат третьего порядка, слово *хороший* — снятый предикат. Так как предиката первого порядка нет, то все предложение в целом является побуждающим к ответу, т. е. вопросительным. Средством, при помощи которого достигнуто снятие предиката, является интонация слова *хороший*. Интонация первой части предложения до этого слова является утвердительной и повествовательной. Она останется той же, если ввести в конец предложения предикат первого порядка — *совсем не хороший*. Больше того, слово *хороший* в вопросительном предложении обладает таким же логическим ударением, как и всякий предикат первого порядка в повествовательном предложении. Снятие предиката достигается не динамикой ударения, а повышением основного тона на этом слове.

Таким образом, наблюдаемые изменения происходят в структуре предложения. В результате этого перестраивается система высказанных суждений и речевое действие приобретает конкретную определенность. Разнообразие этих изменений образует разнообразие способов речевого общения в зависимости от цели общения и соответственно разнообразие речевых действий. В этих изменениях особенно примечательна роль интонации. Во всем предложении в целом всегда что-либо утверждается или отрицается по мере градации предикатов и их снятия.

Предложение в целом — это сплав разных степеней утверждения. Надо признать, что утверждение имеет степень. Вопросительное предложение в целом — это сплав утверждений одного ряда и отказов от утверждений другого ряда. Таково предложение в целом, а вот интонация может быть только утвердительной, только вопросительной, приказательной, просительной и т. п. Нельзя одновременно сказать *да* вопросительно и утвердительно.

В этом свойстве интонации — корень многих недоразумений. Найдя в целом предложении элемент вопросительной интонации, полагают, что в предложении уже нет никаких утверждений, что неверно. Интонация подвижна. В одной части предложения она одна, а в другой — другая. Она заведует только усилением, ослаблением и снятием предикатов, само же содержание заключается в словах, а не в интонации. Поэтому, например, отрицание не может быть выражено интонацией. Отрицательной интонации не существует. Предложение *Я не приду* произносится с утвердительной интонацией. Поэтому же ответ *Спасибо* на какое-либо приглашение или предложение требует лексической расшифровки: *спасибо* — «*да*» или *спасибо* — «*нет*». Однако при усилении степени снятия предиката может появиться отрицание. *Хорош ли он?* — это первая степень снятия предиката; *И после этого вы думаете, что он хорош?* — усиленная степень снятия предиката. В первом случае просто снят предикат; при этом сохраняется возможность и его утверждения, и отрицания. Во втором случае снят ранее утверждавшийся предикат, поэтому остается только одна возможность его отрицания. Сама же интонация является вопросительной, а не отрицательной. Логический эквивалент высказанного суждения может быть выражен в предложении с отрицанием и утвердительной интонацией — *Он не хорош.*

Итак, механизм взаимоотношения трех звеньев, организующих виды речевого общения, держится на предикативном каркасе. Путем усиления, ослабления и снятия предикатов этот каркас обрастает живой плотью и кровью убеждения, признания, отклонения, надежды, сомнения, опасения, т. е. всяческой модальностью. Вся эта система высказанного в ее полной конкретности, т. е. контексте, составляет речевое действие. Понять речь — это значит уловить систему и сплав утверждений и полуутверждений, вопросов и полувопросов и т. п. *Поведай: набожной рукою Кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ты след горючих слез?* (Лермонтов, Ветка Палестины). Здесь в первом вопросительном предложении одновременно и утверждается, что кто-то занес (ветку) в этот край набожной рукой, и вопрошается — *Поведай: кто это?* Два другие предложения являются полуутверждениями, полувопросами, так как спрашивается только ч а с т о л и грустил и х р а н и ш ь л и след, а о том, что грустил и слезы были, об этом утверждается.

Как расстановка предикатов по содержанию, так и вид речевого действия являются предметом понимания. Это можно иллюстрировать на анекдоте о глуховатых любителях рыбной ловли. *Вы что, рыбку ловить? Да нет. Я рыбку ловить. А а а! А я думал — вы рыбку ловить.* Вопросительная интонация первой реплики была услышана собеседником. Последний понял речевое действие как вопрос. Побуждение к ответу достигло цели, второй говорящий отвечает. Однако предметно-предикативное содержание первой реплики не было понято по недослышке. Ответ дается невпопад на другой по содержанию вопрос. Из этого ответа первый говорящий понял только часть содержания, а именно—первое отрицательное суждение (*Да нет*). Поэтому, в целях оправдания заданного им ранее вопроса, он перефразировал вопросительное предложение, переведя содер-

жащееся в нем допущение в категорическое утверждение (третья реплика). Возникшее речевое действие может быть названо самооправданием.

Заканчивая, можно наметить две группы выводов.

К первой относятся некоторые требования для соблюдения большей точности при описании разбираемых явлений. Если вопросом мы называем такое высказывание, которое побуждает собеседника к ответу, то это значит, что мы определяем вопрос по признаку речевого действия. Тогда риторический вопрос не может быть отнесен к этой категории, так как говорящий не задает вопроса и не ожидает ответа. Необходимо заново определить, какое именно речевое действие возникает в данном конкретном риторическом высказывании. Средством для решения этой задачи является разбор контекста, по которому достаточно хорошо определяется интонация. При этом следует иметь в виду, что вопросительная интонация в риторическом или ироническом высказывании будет ослаблять утверждение или переводить утверждение в отрицание и наоборот. Если речевое действие лексически обозначено, т. е. названо (*Я спрашиваю вас о том-то*), то предложение теряет вопросительную интонацию, а речевое действие, по обстоятельствам, или сохраняет вид вопроса, или модифицируется в упрек, требование и т. п. Если предложение включает достаточно большую группу слов, то вопросительная интонация охватывает одно или ограниченное число слов. Остальная часть предложения облекается в другие интонационные формы. При этих условиях возможны разные виды речевых действий. Так, если предикат первого порядка снят вопросительной интонацией, то возникает речевое действие вопроса. Если же предикат первого порядка остается, то речевое действие модифицируется в зависимости от контекста (*Я-то приду, а вот вы? — не знаю*). Если утверждение или отрицание падает на сказуемое, а вопросительная интонация на другие члены предложения, то возникает полувопрос, полутверждение (*Грустил он часто?*; *Он приехал с сестрой?*). В таком случае спрашивающий побуждает к ответу только в вопросительной части предложения, а отвечающий может отрицать и утверждение (*Он совсем не грустил*; *Он еще не приехал*). Эти выводы первой группы, конечно, далеко не полны и намечают лишь возможный путь для необходимых исправлений обычных описаний соответствующих речевых фактов.

Вторая группа выводов может быть сформулирована еще менее полно, так как возникающие здесь проблемы очень сложны. Вопрос — это не разновидность мысли, а разновидность речевого действия, разновидность общения посредством речи. Между прочим, в этом пункте Аристотель был совершенно прав. Он не относил вопрос и мольбу к категории мысли, а причислял их к виду речи. Ошибка же состояла в том, что он не понимал единства языка и мысли, поэтому полагал, что в некоторых видах речи вообще пропадают всяческие суждения и утверждения. В действительности же средствами языка и именно в структуре предложения в разных видах речи перестраивается система высказанных суждений. В вопросительном предложении, как и во всяком другом, сообщается целая группа суждений. Но так как вопросительная интонация может снять предикат первого порядка, то меняется соотношение высказываемых суждений. Именно потому, что предикат первого порядка снят, вопросительная речь вынуждает искать этот предикат, т. е. требует ответа.

Сравнительный анализ вопросительной речи и других ее видов позволяет вскрыть механизм перехода одного вида речи в другой. Он состоит в усилении одних предикатов и ослаблении других. Подобно тому как можно говорить о слабых и сильных слоговых позициях в слове, можно заметить слабые и сильные предикативные позиции в предложении. Побудительные предложения, в том числе и вопросительные, являются частным случаем

ослабления предиката первого порядка. Расстановка предикатов по градациям достигается разными синтаксическими средствами — отбором слов, словопорядком и особенно интонацией. Иногда эта задача решается только интонацией (*Он ушел; Он ушел?*). Отсюда вытекает, что если в записанном тексте интонация не дана, то и не понята расстановка предикатов. Однако ход мысли, т. е. система взаимоподчиненных и сочиненных предикатов, не кончается в одном предложении, а переходит в другие. Поэтому понять интонацию данного текста можно лишь разобрав предикативную систему в группе предложений. В результате этого выяснится модальная роль сцепления предложений и будет определено речевое действие в отрезке речи и в его составных частях. Наблюдения в области группировки предикатов по ходу мысли могут служить материалом для решения проблемы членения речи на предложения. В системе предложений текста происходит такая же градуировка предикатов, как и в предложениях простых, распространенных и сложных. Во всех этих случаях принцип тот же, различна лишь техника. Ее изучение дает возможность перекинуть мост через пропасть между грамматикой и стилистикой.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

Д. А. АЛЕКСЕЕВ

ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

В настоящей статье мы остановимся на некоторых дискуссионных вопросах классификации именных частей речи в монгольских языках[1]. В истории русского монголоведения, начиная еще с казанского периода, по вопросу о классификации частей речи не было достигнуто полного единства. Так, проф. О. Ковалевский находил в монгольском языке столько же частей речи, сколько и в русском, а его современник Алексей Бобровников установил совершенно иную классификацию; он различал только три части речи: имя, глагол и частицы, выделив внутри имени имя предметное, имя качественное и имя относительное. Классификация А. Бобровникова не подвергалась пересмотру и удерживается до сих пор в работах отдельных монголистов. Правда, в начале XX в. А. Руднев, вместо имени предметного и качественного, говорил о существительном и прилагательном[2]. Точно так же В. Котвич в работе «Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка» писал о существительном и прилагательном[3]. Но так как высказывания этих авторов не были подтверждены фактами языка и сводились к простой замене терминов, они по существу не вносили ничего нового в классификацию А. Бобровникова. Сам А. Бобровников давал следующую мотивировку своего отказа от названий «существительное» и «прилагательное»: «Мы не приняли терминов: *имена существительные* и *прилагательные* потому, что этими терминами, с одной стороны, уже более чем нужно было бы разделены имена предметные от качественных; с другой стороны, имена качественные смешались бы с именами относительными, так как и сии последние также переводятся на русском языке именами прилагательными и вместе существительными...»[4]

Из этого видно, что А. Бобровников не говорит о существительном и прилагательном только потому, что из общей категории имен он выделил так называемое «относительное имя», которое совпадает в функции определения с прилагательным. Заметим, что относительное имя, т. е. имя производное от именных же основ, вовсе не указывает на специфику монгольского языка, ибо оно характерно для многих других языков, а потому выделение его А. Бобровниковым было излишним[5].

---

[1] См.: Г. Д. Санжеев, Некоторые вопросы бурят-монгольского языкознания в свете трудов И. В. Сталина, «Записки Бур.-монг. науч.-исслед. ин-та культуры», XI, Улан-Удэ, 1951; его же, К проблеме частей речи в алтайских языках, ВЯ, 1952, № 6.

[2] См. А. Д. Руднев, Лекции по грамматике монгольского письменного языка, чит. в 1903—1904 акад. году, вып. 1, СПб., 1905.

[3] См. В. Л. Котвич, Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка, Пг., 1915.

[4] А. Бобровников, Грамматика монгольско-калмыцкого языка, Казань, 1849, стр. 54—55.

[5] Проф. Г. Д. Санжеев в своих работах (см. выше) использует для некоторых категорий слов термин А. Бобровникова — «имена предметные» и «имена качествен-

При разрешении вопроса о классификации основных именных частей речи в монгольских языках мы должны исходить из учения о словарном составе и о грамматическом строе языка, так как вопрос о частях речи неразрывно связан с ними.

Части речи представляют собой не простые лексические группы слов, имеющие то или иное конкретное значение, а обобщенные лексико-грамматические разряды слов, обладающие определенными, присущими им грамматическими категориями.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов обладают формальными показателями лексического и грамматического значения, т. е. слова не только имеют значение предметности, количества, качества, действия, но и несут определенные функции в составе предложения — подлежащего, определения, дополнения, сказуемого. Формально-грамматическое разграничение слов по частям речи не исключает их функционального совпадения в различных синтаксических конструкциях[1].

Части речи во многих языках не бывают одинаковыми, как и их грамматические категории, что объясняется спецификой грамматического строя того или иного языка в целом, различной степенью абстрагированности грамматических категорий и т. п. Классификация именных частей речи в монгольских, а также и в тюркских языках встречала и встречает известные трудности, в процессе преодоления которых возникают противоречивые мнения, объясняемые отчасти относительно слабой дифференциацией некоторых частей речи, а отчасти — различным подходом ученых к этому вопросу.

Работа Г. Д. Санжеева «К проблеме частей речи в алтайских языках», как нам кажется, несмотря на ряд тонких и правильных наблюдений, все же не решает вопроса, а в некоторых случаях даже углубляет спорные стороны. Она представляет собою развитие основных положений другой, ранее опубликованной им статьи, в которой он писал: «Возможно, что с методической точки зрения удобнее пользоваться терминами имена „существительные“ и „прилагательные“, поскольку в наших школах одновременно ведется преподавание и русского языка. Однако, с теоретической точки зрения, мы должны различать четыре части речи, но не две, а именно: 1. Имена существительные — это слова типа *нэрэ* „имя“[2], *хүрзэ* „лопата“... *дэгэл* „шуба“ и т. п., которые в предложении не могут быть определениями в форме своей основы; 2. Имена предметные — это слова типа *модон* „дерево“, *түмэр* „железо“, *шулуун* „камень“ и т. п., которые в предложении могут быть определениями и в форме своей основы, а в переводе на русский язык передаваться и прилагательными; в школьной грамматике эти имена могут быть включаемы в разряд существительных, но учителя различие между этими частями речи должны представлять ясно; 3. Имена прилагательные — это слова типа *уулархаг* „гористый“, *модото* „лесистый“, *национальна* „национальный“, *педагогическа* „педагогический“ и т. п., которые в предложении могут быть только определениями имен, но не глаголов; 4. Имена качественные — это слова типа *hайн* „хороший“, *муу* „плохой“, *хурдан* „быстрый“, *үндэр* „высокий“,

---

ные», но рассматривает, однако, эти имена как части речи, имеющиеся в языке наряду с именами существительными и прилагательными.

[1] «... каждое слово... рассматривается в системе двух координат — семантики (слово в словарном составе) и функции данного слова в предложении (слово в грамматическом строе)» (Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II — Фонетика и морфология, ч. I, М., 1952, стр. 155).

[2] У Г. Д. Санжеева бурятские слова во всех примерах даны без перевода на русский язык.

удаан „медленный“ и т. п., которые в предложении могут быть не только определениями имен (*хурдан морин* „быстрая лошадь“), но и глаголов (*хурдан ябана* „быстро идет“); в школьной грамматике эти имена могут быть включены в разряд имен прилагательных»[1].

В этой работе, а также в последней своей статье «К проблеме частей речи в алтайских языках», нам кажется, Г. Д. Санжеев подходит к проблеме классификации частей речи односторонне, положив в основу только синтаксический принцип — определительную функцию слова, т. е. исходит лишь из того, в какой форме выступает то или иное слово в качестве определения — в форме ли основы, или в форме родительного, совместного падежей, и в зависимости от этого он относит слова к той или иной именной части речи.

С нашей точки зрения, при классификации частей речи следует учитывать совокупность всех признаков и прежде всего придерживаться того из них, который является ведущим, наиболее характерным для данной части речи. Следовательно, при определении частей речи мы должны опираться на наиболее типизированные разряды слов и в меньшей степени обращать внимание на различия отдельных категорий слов, благодаря которым эти слова можно иногда относить к этой, а иногда к другой части речи.

Л. В. Щерба в своей известной работе «О частях речи в русском языке» писал: «...он (ученый.— *Д. А.*) должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой ...какие общие категории различаются в данной языковой системе»[2]. Акад. А. А. Шахматов в «Синтаксисе русского языка», кроме морфологических признаков различения частей речи, выдвигал и семасиологические. Акад. В. В. Виноградов, не возражая против выдвинутых А. А. Шахматовым оснований, замечает: «Пусть эти семасиологические основания для различения частей речи самим А. А. Шахматовым истолковываются в неприемлемом для советского языкознания психологическом плане, но такие основания существуют»[3]. Проф. Е. М. Галкина-Федорук пишет: «В языке нет аморфных структурных единиц, почему нельзя смешать наречие ни с именем прилагательным, ни с категорией состояния или безлично-предикативными членами, так как у каждой категории свои морфологические приметы, своя синтаксическая функция, хотя внешне, взятые в отдельности, эти слова и сходны»[4]. Как видно, русские лингвисты в классификации частей речи придерживаются трех основных признаков: морфологического, синтаксического, лексико-семантического.

Заметим, что в последнее время выдвигаются четыре признака при классификации частей речи: «При выделении и классификации частей речи следует опираться на сумму определенных признаков: 1) на обобщенное семантико-грамматическое значение слова; 2) на систему его форм с соответствующим кругом категорий; 3) на систему словообразовательных средств данного разряда слов; 4) на синтаксические функции слов»[5]. Исходя из этих принципов, можно попытаться решить вопросы классификации именных частей речи в монгольских языках.

---

[1] Г. Д. Санжеев, Некоторые вопросы.., стр., 104—105.

[2] См. сб. «Русская речь», Новая серия, II, Л., 1928, стр. 6.

[3] В. В. Виноградов, Учение академика А. А. Шахматова о грамматических формах слов и о частях речи в современном русском языке, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», I, М., 1952, стр. 47.

[4] Е. М. Галкина-Федорук, Безличные предложения с безлично-предикативными словами на «о», «Ученые записки [МГУ]», вып. 128, 1948, стр. 72.

[5] «Вопросы составления описательных грамматик [коллективная статья]», ВЯ, 1953, № 4, стр. 13.

ВОПРОС О ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕНАХ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Предметные имена

В интерпретации Г. Д. Санжеева так называемые предметные имена представляют собою имена, отличающиеся следующими особенностями:

1. Предметные имена вступают в определительные сочетания в форме своей основы в порядке примыкания, например: *алтан ороймдоhон* «золотое кольцо» (буквально: «золото кольцо»), *модон хурзэ* «деревянная лопата» (буквально: «дерево лопата»).

2. Предметные имена отличаются от имен существительных и прилагательных возможностью двоякого употребления. «Если имена существительные выступают только субстантивно, а прилагательные — только атрибутивно, то предметные имена в алтайских языках, попадая в словосочетания и предложения, могут выступать как субстантивно, так и атрибутивно без какого бы то ни было оформления...»[1].

3. К предметным именам относятся слова преимущественно вещественного характера типа *модон* «дерево», *алтан* «золото», *тумэр* «железо» и т. п., которые обозначают материал предметов: *модон хурзэ* «деревянная лопата», *тумэр тармуур* «железные грабли», *алтан аяга* «золотая чашка» и т. п.

4. Предметные имена обладают свойством выступать в качестве определения не только в форме основы, но и в форме родительного падежа. Если эти имена обозначают «...предмет, частью которого является или к которому имеет какое-либо отношение предмет-определяемое, то они соответственно оформляются при помощи родительного падежа или второго типа изафета, например: бур. *модоной орой* „верхушка дерева“... монг. *алтны дархан* „золотых дел мастер“... *төмрийн завод* „железоделательный завод“...»[2].

На основании указанных четырех признаков Г. Д. Санжеев считает необходимым выделить «предметные имена» как особую часть речи, отличную от имен существительных. Нам кажется, что предложенный принцип выделения предметных имен страдает существенными недостатками, а именно:

1. Одной из особенностей «предметных имен» Г. Д. Санжеев считает то, что они вступают в определительные сочетания в форме своей основы в порядке примыкания, например: *алтан ороймдоhон* «золотое кольцо» (буквально: «золото кольцо»), *модон хурзэ* «деревянная лопата» (буквально: «дерево лопата») и т. п.

Из этого положения вытекает, во-первых, что имена существительные не могут в форме своей основы выступать в качестве определения в определительных словосочетаниях; во-вторых, что от «предметных имен» невозможно посредством специальных суффиксов образовать прилагательные; в-третьих, что если одно «предметное имя» выступает в функции определения другого «предметного имени» в порядке примыкания, то от этого оно якобы не претерпевает никаких изменений в своем значении. Так ли это в действительности?

Если «предметные имена», не изменяя своей основы, могут быть определениями других имен, то в равной мере и имена существительные в форме основы могут вступать в определительные словосочетания, например: *hальхин* «ветер» — *hальхин тээрмэ* «ветряная мельница»; *мульhэн* «лед» — *мульhэн далай* «ледовитое море»; *хорон* «яд» — *хорон үгэ* «ядовитое слово»

---

[1] Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алтайских языках, стр. 89.
[2] Там же, стр. 90.

и т. д. Как видно, так называемые предметные имена в определительном словосочетании ничем не отличаются от имен существительных.

От предметных имен так же, как и от имен существительных, образуются посредством специальных суффиксов многочисленные прилагательные, например, от таких «предметных имен», как *сахан* «снег», *алтан* «золото», *ноохон* «шерсть» и т. п., образуются прилагательные: *сахархуу* үбэл «снежная зима», *сахатай газар* «место, обильное снегом»; *алтархуу* «золотистый», *алтарма* «золотистый» (о солнце), *алталмал* «позолоченный»; *ноохолиг* «шерстистый» и т. п. Так же образуются прилагательные и от существительных, например: *тууха* «история» — *туухэтэ* «исторический», *туяа* «лучи» — *туяатама наран* «лучезарное солнце»; *үгэ* «слово» — *уран үгэтэ* «красноречивый» и т. д. Таким образом, между «предметными именами» и существительными нет различия и в отношении словообразования.

Неправ Г. Д. Санжеев и в том, что «предметные имена», выступая в качестве определения, якобы не претерпевают никаких изменений в значении. Однако в монгольских и тюркских языках порядок слов имеет грамматическое значение. Слово, употребленное в качестве определения, изменяет свои функции, оно теряет склонение, образует с определяемым словосочетание, не допускающее между определяющим и определяемым «вклинивания» других слов. При этом изменяется и само лексическое значение слова; ср., например: *модон гэр* и *гэр модон*; *модон гэр* воспринимается любым носителем монгольских языков как «деревянный дом», *гэр модон* — «дом построен из дерева» или «дом из дерева», в то время как в русском языке можно сказать *дом деревянный* или *деревянный дом*; в том и другом случае слово *деревянный* остается прилагательным. При использовании «предметных имен» в качестве определения меняется и характер вопроса. Если слова *модон* «дерево», *шулуун* «камень», *тумэр* «железо», обозначая предметы, отвечают на вопрос *юун* «что?», то, будучи определениями, они требуют вопроса *ямар* «какой?».

2. Утверждение Г. Д. Санжеева, что предметные имена отличаются от имен существительных и прилагательных возможностью двоякого (и субстантивного, и атрибутивного) употребления, не может быть признано правильным потому, что имена существительные употребляются так же, как и «предметные имена», не только субстантивно, но и атрибутивно без какого бы то ни было оформления, например: *шог* «шутка, шалость» — *шог үгг* «шутливое слово», *шог үльгэр* «анекдот, юмористический рассказ»; *шоно* «волк» — *шоно даха* «волчья шуба» (буквально: «доха»); *нэрэ* «имя» — *нэрэ тэмдэг* «обозначение, термин» и т. д. Что же касается прилагательных, то они, как известно, выступают не только атрибутивно, но и предикативно[1], например: *тэрэ газар модорхуу* «та местность богата лесом (лесиста)»; *миний нухэр ууртай* «мой друг сердит (сердитый)»; *манай колхоз орденто* «наш колхоз орденоносный» и т. д. В этих предложениях прилагательные *модорхуу*, *ууртай*, *орденто* являются сказуемыми.

В связи с этим вопросом Г. Д. Санжеев делает следующую, на наш взгляд, неубедительную оговорку. Он пишет: «При переводе на монгольский язык русских относительных прилагательных необходимо либо поставить соответствующие монгольские существительные в форме родительного или совместного падежа, либо образовать от них прилагательные при помощи особых формантов...»[2]

Но в данном случае нет необходимости начинать с перевода русских относительных прилагательных на монгольский язык. Можно просто ука-

[1] Мы не касаемся здесь вопросов субстантивации и обстоятельственных функций прилагательных.

[2] Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алтайских языках, стр. 86.

зать, что монгольские существительные, как, например, *хувьсгал* «революция», *эвлэл* «союз», *ухаан* «разум» и т. п., превращаются в относительные прилагательные посредством специальных суффиксов. Аналогично и имена прилагательные могут субстантивироваться при помощи частиц личного притяжания, например: *тэрээнэй һайрхуунь гайхалтай* «хвастовство его удивительно». Таким образом, второй признак «предметного имени» оказывается также нехарактерным и свойствен как именам существительным, так и именам прилагательным.

3. Г. Д. Санжеев утверждает, что в разряд «предметных имен» входят слова преимущественно вещественного содержания, обозначающие предметы, служащие «материальной основой в создании других предметов»; например: *модон хурэ* «деревянная лопата», *тумэр тармуур* «железные грабли», *алтан аяга* «золотая чашка» и т. п.

В этом определении уже слово «преимущественно» говорит о том, что здесь нет ясного критерия в определении «предметного» имени. Остается неизвестным, какие же слова входят в предметные имена, кроме слов, обозначающих предметы, являющиеся материальной основой в создании других предметов, или слов вещественного содержания. Почему не учитываются, например, такие слова, как *һальхин* «ветер», *сахилгаан* «электричество», *агаар* «воздух» и т. п., которые также служат основой для аналогичных образований: *һальхин тээрмэ* «ветряная мельница», *сахилгаан хүсэн* «электрическая энергия», *сахилгаан гэрэл* «электрический свет», *хашигдсан агаар* «сжатый воздух», *агаарын даралта* «воздушное давление» и т. п.

4. Наконец, Г. Д. Санжеев утверждает, что «предметным именам» свойственно выступать в качестве определения не только в форме основы, но и в форме родительного падежа. Однако употребление в определительной функции в форме родительного падежа вовсе не является характерным признаком предметных имен, так как все имена существительные могут также функционировать в качестве определения в форме родительного же падежа, например: *колхозой морид* «лошади колхоза» или «колхозные лошади»; *нутагай хун* «местный житель» или «житель данного места»; *хурзын эшэ* «рукоятка лопаты». Чем же эти существительные отличаются от предметных имен, которые приводит в своей статье Г. Д. Санжеев, например: *модоной орой* «верхушка дерева», *тумэрэй баһан* «шлак», *төмрийн завод* «металлургический завод»? Ничем. В данном случае (а примеры можно умножить) не обнаруживаются ни формально-морфологические, ни функционально-синтаксические признаки. Здесь Г. Д. Санжеев не учитывает одно важное обстоятельство. Дело в том, что имена в монгольских языках, будь они существительные или предметные (по терминологии Г. Д. Санжеева), выступают в форме родительного падежа в двух значениях, выражая в одном случае идею принадлежности, в другом — идею качества, что можно показать на некоторых примерах: бур. *мориной һүүл тайрааб* «я отрезал хвост коня», *мориной мяха эдеэб* «съел конское мясо», *тумэрэй элтэрхэй олооб* «нашел осколок железа», *тумэрэй завод бариба* «построили металлургический завод». В первом предложении родительный падеж выражает принадлежность, в то время как во втором предложении словом *мориной* (род. падеж) выражается уже не принадлежность, а признак предмета. Так же и во второй паре предложений: в первом случае слово *тумэрэй* означает какую-то частицу железа, а в другом — показывает качество, признак завода. Следовательно, в таких случаях необходимо учитывать не только формально-грамматические показатели, но и лексическое значение слова.

Е. М. Галкина-Федорук совершенно правильно утверждает, что «соединение определяемого с определением зависит от лексического значе-

ния определяемого. *Степь* может быть только *широкая, далекая, вольная,* но *хлеб* только *белый, черный, вкусный.* Лексическое значение в слове — важный фактор в грамматике, но сущность грамматических значений иная, как совершенно иная и их функция»[1].

Имена существительные

Определение имени существительного как части речи, данное Г. Д. Санжеевым, нуждается в некотором пояснении. Под именами существительными Г. Д. Санжеев подразумевает имена, не подводимые под первый тип изафета, т. е. исключающие определительные сочетания, в которых определение и определяемое связаны только посредством примыкания. «Имена существительные — это слова, которые в словосочетаниях и предложениях могут выступать в функции определения других имен, если они соответствующим образом оформлены по второму или третьему типу изафета, в лексико-семантическом отношении — это слова главным образом не вещественного характера, т. е. отвлеченного и, как говорят монголисты, процессного значения („союз", „соединение", „партия", „мысль" и т. д.)»[2]. Соответствующее оформление получают имена существительные, по утверждению Г. Д. Санжеева, в родительном и совместном падежах. Однако обнаруживается непоследовательность и в этом отношении. Утверждая, что «именами существительными... надо безоговорочно признать только такие слова, которые исключают возможность применения первого типа изафета...»[3], Г. Д. Санжеев тут же констатирует факты употребления имен существительных в качестве определения других имен и без морфологического изменения. Так, он пишет: «Обычные имена существительные в позиции определения других имен выступают и в форме своей основы, т. е. подобно предметным именам без всякого морфологического оформления, например: бур. *монгол хэлэн* „монгольский язык", *ород хубсаһан* „русская одежда"...»[4].

Подобные «отклонения» от нормы возникают у Г. Д. Санжеева, разумеется, не потому, что такова специфика имен существительных в монгольских и алтайских языках, а только потому, что Г. Д. Санжеев, считая необходимым выделение четырех именных частей речи вместо двух, незаметно для себя суживает лексико-грамматическое значение как имен существительных, так и прилагательных. В этом он некритически следует В. А. Аврорину, который писал: «Если одно и то же слово становится в различных синтаксических функциях чем-то напоминающим то прилагательное, то наречие, то существительное, это свидетельствует о том, что в действительности оно не является ни тем, ни другим, ни третьим, а чем-то совершенно особым, представителем самостоятельной лексико-грамматической категории...»[5].

Из приведенной цитаты вполне явствует, что В. А. Аврорин идет от синтаксиса к частям речи и что у него критерием определения частей речи является синтаксическая функция слова, которое в различных позициях в предложении, по его мнению, «напоминает» то одну, то другую часть речи. Это, конечно, неверно. Ведь известно, что некоторые части речи

---

[1] Е. М. Галкина-Федорук, Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма, в кн.: «Доклады и сообщения, прочит. на науч. конфер. по языкознанию [МГУ], июнь 1951 года», [М.], 1952, стр. 187.

[2] Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алтайских языках, стр. 87.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 89.

[5] В. А. Аврорин, Очерки по синтаксису нанайского языка, 1 — Прямое дополнение, Л., 1948, стр. 37.

например существительные, могут выступать в функции любого члена предложения, отчего они, однако, не перестают быть существительными или не становятся разными частями речи. Не следует забывать, что именно путем грамматической абстракции различные слова, обозначающие предметы, явления, признаки и свойства, могут реализоваться в различных частях речи, выработав себе особые грамматические признаки. «Проявление свойства, цвета язык путем грамматической абстракции может отлить в разные категории: например, *белый* — качество в форме прилагательного; *беляна* — то же качество, но уже в форме существительного; *белить* — проявление качества во времени в форме глагола; *бело* — то же качество, но как признак процесса; в ы б е л е н н ы й — качество цвета, проявившееся во времени и ставшее признаком предмета — в форме причастия; *белея* — проявление того же качества цвета, но как сопровождающий другой процесс или состояние — в форме деепричастия»[1].

В определении имен существительных следует исходить не из одного только синтаксического признака, что приводит, как уже видно, к одностороннему и, следовательно, ошибочному выводу, а из совокупности ряда признаков. В категорию имен существительных должны входить слова, обозначающие как реально ощутимые предметы, так и опредмеченные, отвлеченные понятия. Выражая предметность в широком смысле слова с обобщенным значением предмета и отвлеченного понятия, имена существительные в монгольских языках обладают целым рядом признаков, а именно:

1. Изменяемостью по падежам (развитая система склонения).

2. Наличием особых формантов множественного числа, присоединяемых к основе: *-ууд*, *-д*, *-нууд*, *-д*, *-нар*, *-над* и др., например: *булаг* «источник» — *булагууд* «источники», *хада* «гора (скала)» — *хадануд* «горы (скалы)», *хонин* «овца» — *хонид* «овцы» и т. п.

3. Именам существительным присуще, кроме обычного склонения, двойное склонение: *аха* «старший брат», *ахын* «старшего брата» (родительный падеж), *ахында* «у старшего брата» (родительный + дательный падеж) и т. п.

4. Имена существительные бывают коренными и производными. Последние образуются от глагольных и именных основ специальными, им присущими суффиксами: *-уур* — *уһалуур* «водопой» от глагола *уһалха* «поить»; *-бэри* — *неэбэри* «ключ» от глагола *неэхэ* «открывать»; *-дал*—*һуудал* «сидение» от глагола *һуухa* «сидеть» и т. д.[2].

5. Имена существительные в предложении могут быть любым членом: подлежащим, сказуемым, определением, дополнением, обстоятельством; например: *үдэр ута болоо* «день стал длинным» (*үдэр* — подлежащее); *энэ үдэр һайн үдэр* «этот день — хороший день» (*үдэр* — сказуемое); *үдэрэй ажал* «дневная работа» (*үдэр* — определение); *энэ үдэрые һайшаанаб* «этот день считаю хорошим» (*үдэр* — дополнение); *би Улан-Удэ үдэрөөр ошоод ерээб* «я в Улан-Уде съездил за день» (*үдэр* — обстоятельство).

Таким образом, при классификации имен существительных мы исходим из ряда основных, ведущих признаков, совокупность которых позволяет выделить имена существительные в особую часть речи. А между тем Г. Д. Санжеев, по не понятным нам причинам, классифицирует именные части речи только по синтаксическому признаку, что, разумеется, не дает правильного и удовлетворительного решения вопроса.

---

[1] Е. М. Г а л к и н а - Ф е д о р у к, Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма, стр. 187.

[2] Суффиксов словообразования имен существительных в монгольских языках много

ВОПРОС О КАЧЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Качественные имена

Суждения о качественных именах у Г. Д. Санжеева страдают той же непоследовательностью. «Качественные имена в алтайских языках, — пишет он, — это особая категория таких имен, которые обозначают признак как предмета, так и действия (разрядка моя.— *Д. А.*)[1]». Такое необоснованное расширенное понимание этой «части речи», как и следует ожидать, привело к тому, что Г. Д. Санжеев вынужден признать за качественными именами якобы «специфические особенности», выражающиеся в том, что так называемые «качественные имена» зависят всецело от их функции в предложении. Так, если они не выступают в качестве определения имени или глагола, то «соответствуют» отвлеченным именам существительным «качества», чаще всего производным от качественных прилагательных. Будучи же определением других имен или сказуемым, «соответствуют» качественным прилагательным, например: монг. *хурдан морь* «быстрый конь», *энэ морь хурдан болов* «этот конь стал быстрым»[2]. Но, выступая в функции определения перед глаголом, эти имена соответствуют якобы качественным наречиям; например, монг. *хурдан явна* «быстро идет».

Ту же мысль Г. Д. Санжеев высказал в докладе на тему «Грамматический строй бурят-монгольского языка», где он в числе основных именных частей речи отмечал «качественные (имена.— *Д. А.*) ...обозначающие признак как предмета, так и действия, а равно признак же, взятый в абстракции от субстанции: *хурдан морин* „быстрый конь"; *хурдан ябана* „быстро идет". Наличие этих качественных имен,— писал он, — не означает того, что в бурят-монгольском языке отсутствуют имена существительные абстрагированного качества или наречия образа действия; эти имена в школьных грамматиках можно выделить в особую группу, оставляя в рамках имен прилагательных вообще»[3]. Спрашивается, какая же причина заставляет Г. Д. Санжеева утверждать, что качественное имя выражает и качество предмета, и качество действия? Причина одна. Это то, что так называемое качественное имя может определять глагол в той же неизменной форме, в какой оно определяет имя. Но это вовсе не значит, что «качественные имена» («прилагательные», по нашей терминологии) выступают с семантикой наречия. Можно было бы согласиться с Г. Д. Санжеевым, если бы «качественные имена» совсем не отличались от наречий и формально, и функционально. Известно, что и «качественные имена», и наречия исторически восходят к одной части речи — к имени вообще. Но в современном состоянии развития частей речи прилагательные и наречия являются самостоятельными частями речи. Спор может идти только в отношении наречий образа действия, которые слабо дифференцированы с прилагательными. Заметим, что это относится только к наречиям образа действия именного, а не глагольного происхождения.

Указания на дифференцированность этих частей речи находим в литературе и по другим языкам. Например, тюркологи говорят о необходи-

---

[1] Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алтайских языках, стр. 94.

[2] В этих двух примерах слово *хурдан*, являясь качественным именем, соответствует качественным прилагательным, т. е. становится прилагательным в обоих случаях. Какой же в таком случае критерий разграничения качественных имен от прилагательных, если слово *хурдан* «быстрый» может быть и качественным именем, и прилагательным, не претерпевая никаких морфологических изменений.

[3] Г. Д. Санжеев, Грамматический строй бурят-монгольского языка, в кн. «Конференция по основным вопросам бурят-монгольского языка (26—31 января 1953 года). Тезисы докладов», Улан-Удэ, 1953, стр. 5.

мости «...рассматривать имена прилагательные и наречия не только как грамматические категории имен вообще, но как совершенно самостоятельные части речи, обладающие характерными для каждой из них формальными признаками»[1]. О дифференциации этих частей речи пишет и тюрколог Э. В. Севортян: «Все больше отделяются от прилагательных и наречия, приобретая свои формальные признаки... совпадение в одном слове значений существительного, прилагательного и наречия составляет более старое состояние тюркских языков»[2].

То же самое наблюдаем в отношении прилагательных и наречий в монгольских языках. Г. Д. Санжеев видит, нам кажется, только одну сторону, а именно — формальное, внешнее совпадение так называемых качественных имен с наречиями и не обращает внимания на то, что внутри «качественных имен» произошло и происходит значительное качественное изменение в сторону большей дифференциации прилагательного и наречия.

Следует обратить особое внимание на то, что все «качественные имена» (*хурдан* «быстрый», *һайн* «хороший», *муу* «плохой» и т. п.), определяющие в форме основы как имя, так и глагол, приобретают уже свои формальные показатели наречия в виде суффиксов орудного падежа *-гаар*, *-оор*, *-ээр*. Происходит процесс постепенной дифференциации «качественных имен» и наречий, в результате которого употребление «качественных имен» в форме основы в функции обстоятельства постепенно вытесняется формой орудного падежа и отходит на задний план. Доказательством этого служит тот факт, что ныне употребляемые в одном значении слова *хурдан* и *хурдаар*, *түргэн* и *түргээр* и т. п. начинают закреплять за собою дифференцированные значения. Так, за формой *хурдаар*, *түргээр* закрепилось значение наречия, и она употребляется только в качестве обстоятельства, в то время как за словами *хурдан* и *түргэн* закрепляется значение качества или признака предмета, т. е. значение прилагательного. Заметим, что ныне безличное употребление целого ряда «качественных имен» перед глаголами приводит уже к двоякому пониманию, например *хурдан ерэбэ*, *муу һууна* и т. п. могут восприниматься двояко: «быстро идет» или «быстрый идет», «плохо живет» (буквально: «сидит») или «плохой сидит (о человеке)». Они начинают различаться вполне только при наличии подлежащего: *тэрэ хурдан ерэбэ* «тот быстрый идет».

Убедительные примеры происшедшей дифференциации имен прилагательных и наречий дают следующие факты. Огромная масса «качественных имен» в монгольских языках уже перестала выражать признак действия в форме основы. Например, такие «качественные имена», как *һайхан* «красивый», *тэнэг* «глупый», *сэсэн* «умный,» *уулгар* «вспыльчивый», *салан-дай* «небрежный, неаккуратный» и т. п., не могут употребляться перед глаголами, не изменяя своей формы. Нельзя сказать *һайхан дуулана*, *тэнэг хэлэбэ*, *сэсэн хэлэбэ*, *уулгар аягалба*, *салан-дай хэбэ* в значении «хорошо поет», «глупо говорит», «умно говорит», «вел себя вспыльчиво», «небрежно сделал» и т. д.

Все приведенные слова в указанном значении должны употребляться только в форме орудного падежа: *һайхаар* «красиво», *тэнэгээр* «глупо», *сэсээр* «умно», *уулгараар* «вспыльчиво», *салан-дайгаар* «небрежно». Более того, если «качественные имена» выступают перед глаголами в форме основы, то они могут восприниматься как субстантивированные имена

---

[1] Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 204.

[2] Э. В. Севортян, [Рец. на сб.:] «Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана в свете учения И. В. Сталина о языке». ВЯ, 1953, № 6, стр. 142.

прилагательные, например: *hайхан дуулана* «красивый (красивая) поет», *тэнэг хэлэбэ* «глупый (глупец) сказал» и т. п.

Вместе с тем совершенно исключается употребление формы орудного падежа при именах, например нельзя сказать: *хурдаар морин*, *түргээр гүйдэл*, *hайнаар хүн* в значении «быстрая лошадь», «быстрый ход», «хороший человек». Впрочем также не следует пренебрегать и таким, казалось бы, незаметным признаком, как постановка вопросов. Когда слова *хурдан*, *hайн* выступают определениями имен, то требуют вопроса *ямар* «какой?», а когда они же определяют глагол, то требуют вопроса — *ямараар* «как, каким образом?».

Г. Д. Санжеев отмечает в качестве еще одной отличительной особенности явление субстантивации, как бы наиболее присущее качественным именам. Но это явление свойственно и некоторым другим частям речи, в частности и прилагательным. Г. Д. Санжеев утверждает, что «качественные имена, подвергшись субстантивации и переходя тем самым в разряд существительных, обозначают уже не какие-либо качества, а предметы, обладающие данными качествами. Например, бур. *манай hайхан нааданда гараа* „наша красавица ушла на игрище“ (конечно, не „наша красота ушла на игрище!“)»[1]. При субстантивации, как правильно замечает Г. Д. Санжеев, слово, став существительным, может обозначать предметы, обладающие данными качествами. При этом, однако, всегда следует подчеркивать, что субстантивация в таких случаях достигается путем отрыва определения от определяемого. Данный пример Г. Д. Санжеева непонятен потому, что слово *hайхан* без его определяемого, которое должно быть упомянуто в предыдущем предложении, не даст представления о субстантивации, наоборот, этот пример можно перевести, как: «(кто-то) отправился на наше красивое игрище». Другое дело, если бы Г. Д. Санжеев писал: *Манай hайхан басаган. Тэрэ манай hайхан нааданда гараа* «Наша красивая девица. Та наша красавица пошла на игрище». Только в этом случае субстантивация становится ясной.

Думается, что нет никакой надобности выделять так называемые качественные имена в отдельную часть речи, поскольку они совпадают по многим свойствам и признакам с прилагательными и поскольку они, как мы уже видели, не только не совпадают с наречиями, но и отчетливо обособились от них.

Имена прилагательные

Как известно, Г. Д. Санжеев, наряду с качественными именами, признает имена прилагательные как отдельную часть речи со своими отличительными особенностями, к числу которых он относит следующие: 1) имена прилагательные в функции определения не могут иметь своих собственных определений; 2) имена прилагательные образуются посредством суффиксов от других именных основ, а потому являются только производными именами; 3) имена прилагательные в монгольских языках имеют весьма суженное значение по сравнению с прилагательными в русском языке и т. п.

Однако Г. Д. Санжеев и в отношении этой части речи также допускает оговорки, утверждая, что некоторые прилагательные в известных сочетаниях совпадают то с предметными, то с качественными именами. Так, качественные прилагательные, употребляясь субстантивно, совпадают с предметными именами. Изменяясь по степеням сравнения, они уподобляются качественным именам. Точка зрения Г. Д. Санжеева объясняется тем, что он придает прилагательным суженное значение. Неосновательно,

[1] Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алтайских языках, стр. 95.

конечно, и утверждение о том, что прилагательные в алтайских языках не могут иметь при себе собственных определений. Едва ли можно согласиться с мнением Г. Д. Санжеева о том, что невозможно образование прилагательных посредством суффикса совместного падежа *-тай*.

Нам кажется, что нельзя отрицать факт образования имен прилагательных посредством суффикса *-тай*. Г. Д. Санжеев неправильно считает, что *унэтэй* «ценный», *уйтгартай* «скучный» и т. п. — существительные, перешедшие в разряд прилагательных. Суффикс *-тай* придает именам значение признака, качества и тем самым образует прилагательные; при этом необходимо учитывать и лексическое значение слова. Когда мы говорим *сахатай убэл болоо* «стала снежная зима», мы представляем именно «снежную зиму». Сочетание *улэтэй ногоон* имеет значение «питательная трава» в том смысле, что эта трава более питательна по сравнению, скажем, с другим сортом. Необходимо отметить, что посредством суффикса *-тай* образуются также прилагательные от непроизводных прилагательных; например, от прилагательных *муу* «плохой», *хара* «черный» и др. образуются *муутай хүн* «плохой человек», *харатай хүн* «зловредный человек».

Итак, мы должны без оговорок и примечаний определить имя прилагательное как часть речи, обозначающую качество, признак или свойство предмета, а не действия. В разряд прилагательных мы включаем так называемые качественные имена. Синтаксически прилагательные выступают главным образом определениями, не согласуясь с определяемыми в числе и падеже, за редким исключением, как, например: *утаануд модод* «высокие деревья». По значению прилагательные разделяются на качественные, относительные, притяжательные.

Качественные прилагательные выражают: а) качество, органически присущее данному предмету: *хара нюдэн* «черные глаза», *боро шоно* «серый волк»; б) качество приобретенное: *муу* (*-тай*) *хүн* «плохой человек», *шадамар хүн* «умелый человек»; в) качество, выражаемое не непосредственно, а переносно: *хатуу хүн* «скряга» (буквально: «твердый человек»), *хара һанаан* «злополучная мысль» (буквально: «черная мысль»), *тумэр зүрхэн* «железное сердце».

Относительные прилагательные образуются посредством различных суффиксов, присоединяемых к именной или глагольной основе: *модорхуу газар* «лесистое место», *галуута нуур* «гусиное озеро» и т. п. К ним относятся также и те имена предметно-вещественные, которые переходят в разряд прилагательных в позиции определения, не изменяясь в своей основе: *арахан бээлэй* «кожаные рукавицы», *һальхин тээрмэ* «ветряная мельница».

Притяжательные прилагательные образуются при помощи суффикса родительного падежа имени, когда родительным падежом выражается качество, а не принадлежность: *ороohоной талхан* «ржаная мука», *загаhанай тоhон* «рыбий жир», *булагай уhан* «ключевая вода» и т. п.

Морфологическая структура прилагательных характеризуется серией специальных суффиксов. Ограничусь лишь указанием некоторых суффиксов прилагательных: *-тагай — аюмтагай* «боязливый»; *-лаг*//*-лиг—алтлаг* «золотистый», *даваслиг* «солоноватый»; *-тар—айхтар* «чудовищный, опасный»; *-дугаар — аравдугаар* «десятый»; *-д — дундад* «средний»; *-маг—дутмаг* «необеспеченный»; *-лхэг—дээрэлхэг* «гордый, высокомерный» и т. п.[1].

---

[1] См. Д. А. Алексеев, Части речи в бурят-монгольском языке. (Имя прилагательное), «Записки бур.-монг. гос. науч.-исслед. ин-та языка, лит-ры и истории», V—VI, Бургиз, 1941. В этой статье даются более подробно суффиксы образования прилагательных в бурят-монгольском языке

Прилагательным присущи степени сравнения, выражающиеся: а) посредством суффиксов: *-шаг* (*-шог*, *-шэг*); б) аналитическими формами: *угаа*, *тон*; в) путем редупликации: *хаб хара* «совершенно черный», «пречерный».

В заключение необходимо хотя бы вкратце остановиться на том, что и в алтайских языках многие имена выступают в качестве определения в морфологически неизменном виде, т. е. в форме основы. В связи с этим возникает вопрос — может ли такое «неоформленное» имя называться прилагательным. Выше мы ответили на это положительно, считая, что сама постановка вопроса и порядок слов имеют грамматическое значение. Мы также отметили, что эти имена функционируют в качестве определения других имен и в суффиксально оформленном виде; ср.: *модон гэр* «деревянный дом» — *модорхуу газар* «лесистое место». Этот факт указывает на то, что имена прилагательные исторически возникли позже категории имен существительных. Ведь понятие признака или качества представляет собою продукт несомненно большей абстракции, нежели понятие о предмете. Генетическая связь имен прилагательных с именами существительными установлена на материалах истории целого ряда языков. Еще А. Потебня писал: «И теперь многие суффиксы безразлично образуют как существительные, так и прилагательные, а чем далее в старину, тем более здесь сходства между этими частями речи»[1]. Правильно указано в статье Л. П. Якубинского, что «между существительным и прилагательным первоначально нет никакого грамматического различия: обе грамматические категории выделяются из общей категории имени, которое используется то как название предмета, то как название признака»[2].

На категории наречия мы не останавливаемся, считая, что наречия образа действия ни в коем случае не должны рассматриваться в разряде так называемых качественных имен, поскольку они отличаются от последних, как мы видели выше, и своими формальными признаками.

Итак, мы считаем, что в монгольских языках, как и в алтайских, существуют не четыре основные именные части речи (имя предметное, имя существительное, имя качественное, имя прилагательное), как считает Г. Д. Санжеев, а две: имя существительное и имя прилагательное. Следует признать нежелательным расхождение между научной грамматикой, где Г. Д. Санжеевым предлагается различать четыре части речи, и школьной, где речь идет только о двух именных частях речи. Понятно, что научная грамматика должна быть более глубокой по сравнению со школьной, но она не должна расходиться с последней в принципиальных вопросах, ибо мы не можем ученикам в школе говорить одно, а в научной грамматике писать другое — теория должна идти в ногу с практикой[3].

---

[1] А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 85.

[2] Л. П. Якубинский, Из истории имени прилагательного, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», I, 1952, стр. 53.

[3] На состоявшейся в конце января 1953 года в г. Улан-Удэ конференции по основным вопросам бурят-монгольского языка теория Г. Д. Санжеева о четырех именных частях речи также не получила одобрения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

От редакции. На страницах китайского лингвистического журнала «Чжунго юйвэнь» («Китайский язык»), являющегося совместным органом Института языкознания Китайской Академии наук и Комитета по реформе китайской письменности, с 1952 г. широко обсуждается вопрос о частях речи в китайском языке. Этот вопрос всегда был предметом споров китайских языковедов, но в последние годы дискуссия на эту тему приняла особо оживленный характер. Это вызвано тем, что языкознание в Китае под влиянием работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» стремится опираться на положения марксистской науки о языке, при вступлении же на путь такой перестройки стало особенно ясно, что от того или иного решения вопроса о частях речи зависит все построение грамматики китайского языка.

Советские языковеды не могут не интересоваться работой своих китайских коллег, и это само по себе обязывает журнал «Вопросы языкознания» давать о ней сообщения. Ввиду этого редакция и решила опубликовать в переводе некоторые статьи китайских лингвистов, представляющих различные течения в вопросе о частях речи. К тому же редакция полагает, что поскольку вопрос о частях речи в языке такого строя, как китайский, далеко выходит за пределы собственно китайского языкознания, постольку такие статьи представят несомненный интерес для всех лингвистов, занимающихся вопросами строя языка вообще.

ГАО МИН-КАЙ

ПРОБЛЕМА ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Существует ли в китайском языке деление слов по частям речи — это вопрос старый, до сих пор не получивший разрешения. Несомненно, вопрос этот довольно сложен.

Дело заключается в выяснении того, что такое части речи и каким образом их следует выделять.

Сталин говорит: «Грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления»[2]. Разъясняя это сталинское положение, Галкина-Федорук в одной из статей, посвященных критике учения Марра, пишет: человеческое мышление абстрагирует, обобщает и классифицирует познаваемые явления. Одно и то же явление действительности, рассматриваемое под углом зрения вещественности, представляет собой предмет; под углом зрения присущего ему действия — является действием; под углом зрения присущих ему качеств — является свойством. В результате обобщения различных предметов получается «предметное» понятие, появляется существительное, в результате обобщения различных действий получается понятие «действия», появляется глагол, в результате обобщения различных свойств появляется понятие «качества», появляется прилагательное. Существи-

[1] Журн. «Чжунго юйвэнь» («Китайский язык»), 1953, октябрь (№ 16). Перевод статьи проф. Гао Мин-кая дается с незначительными сокращениями.— *Ред.*

[2] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 24.

тельные, глаголы и прилагательные являются результатом абстрагирующей работы мышления. Однако части речи имеются не в любом языке, они не обязательно присущи данному языку во все эпохи существования языка. В языках, имеющих части речи, классификация частей речи может не совпадать[1].

После того как Ма Цзянь-чжун познакомил китайцев с грамматикой[2], многие исследователи стремились классифицировать китайские слова по частям речи, полагая, что без классификации слов по частям речи не может быть грамматики, поскольку изложение западной грамматики начинается с вопроса о частях речи. К тому же с проблемой частей речи связаны многие грамматические вопросы, как, например, вопрос о различных грамматических категориях. Теоретическая подоплека такого подхода состоит в признании, что грамматики разных языков должны быть одинаковыми. Ма Цзянь-чжун изучал грамматику во Франции. Он в известной мере испытал влияние рационалистической грамматики Port-Royal, и многие исследователи в свою очередь незаметно для себя под влиянием Ма Цзянь-чжуна стали втискивать китайский язык в каноны западных грамматик.

Имеет ли китайский язык в действительности части речи — этот вопрос надо решать, исходя из внутренних законов развития самого китайского языка. Хотя проф. Ли Цзинь-си излагает китайскую грамматику по образцу «Grammaire Larousse», он имеет свою точку зрения на вопрос о частях речи: он считает, что у китайских слов нет постоянной отнесенности к определенной части речи[3]. Однако многие не согласны с такой точкой зрения, поскольку она не соответствует установкам западных грамматических работ. Проф. Ван Ли воспринял теорию О. Есперсена и отграничил от проблемы частей речи проблему «разрядов» (ranks) слов, полагая, что части речи существуют в словаре и определяются по значениям слов, «разряды» же представляют собой функции слов в предложении и определяются по позиции слов в предложении[4]. Эта точка зрения неверна. Однако проф. Ли Цзинь-си и проф. Ван Ли поставили перед нами вопрос: возможно ли разграничивать части речи в китайском языке таким же образом, как в индоевропейских языках. После выхода работ Ли Цзинь-си и Ван Ли многие исследователи высказывали мнение, что в китайском языке нет частей речи. После того как в прошлом году в «Чжунго юйвэнь» была опубликована статья советского ученого Конрада «О китайском языке»[5],

---

[1] См. Е. М. Галкина-Федорук, Критика учения Н. Я. Марра о членах предложения и частях речи, сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. II, М., 1952, стр. 380—381. (Автор дает не цитату, а пересказ соответствующего места статьи Е. М. Галкиной-Федорук.—*В. С.*)

[2] Грамматика Ма Цзянь-чжуна (Ма ши вэньтун) появилась в 1898 г. и занимает особое место в истории китайской грамматической науки: это — первая в Китае попытка построения грамматики китайского языка на основе принципов грамматик западноевропейских языков; следовательно, это — первая попытка классифицировать слова китайского языка по частям речи. Следует, однако, отметить, что попытка Ма Цзянь-чжуна относится не к современному языку, а к письменно-литературному, старому книжному языку, грамматический строй которого, отражающий особенности строя китайского языка на древнем этапе его истории, во многих чертах отличен от современного национального литературного языка Китая.—*В. С.*

[3] Проф. Ли Цзинь-си уже изменил свои взгляды, см. «Чжунго юйвэнь», 1953, сентябрь, стр. 10—11 (*прим. ред. журн.* «Чжунго юйвэнь»).

[4] Изложение учения Ван Ли см. в его работе «Чжунго вэньфа лилунь» («Теория китайской грамматики»). Изложение теории Есперсена см. в его «Философии грамматики» (O. Jespersen, The philosophy of grammar). [См. также другую работу проф. Ван Ли (Ван Ляо-и)— «Чжунго юйфа ганьяо» («Основы китайской грамматики»), изданную в русском переводе (М., 1954).— *В. С.*]

[5] См. «Чжунго юйвэнь», 1952, сентябрь, октябрь и ноябрь [перевод статьи Н. И. Конрада «О китайском языке» (ВЯ, 1952, № 3).— *В. С.*].

взгляды исследователей вновь изменились: они стали считать, что в китайском языке существуют части речи.

Сталин говорит: «Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой „природной материи“ — не существует... Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с „природной материей“ языка, о мышлении без языка»[1].

Если в свете этих слов критически оценить теорию Есперсена и Ван Ли, то станет понятной ошибочность точки зрения, согласно которой части речи могут быть установлены по значениям слов. Конечно, форма и значение связаны между собой. Неверно учитывать только форму и не учитывать значения. Но было бы ошибкой полагать, что оголенное значение может существовать без какой бы то ни было формы. Многие считают, что китайские слова *шань* «гора»[2], *шуй* «вода», *юй* «рыба», *жэнь* «человек» и т. д. являются существительными, поскольку эти слова своим значением указывают на «предметы»; слова же *фачжань* «развиваться», *ходун* «действовать, двигаться» и т. д. являются глаголами, поскольку эти слова своим значением указывают на «действия».

Мы уже говорили, что Галкина-Федорук определяет части речи как результат обобщения нашим мышлением многих явлений в одну категорию. Кроме того, Галкина-Федорук указывает: «О частях речи можно говорить тогда, когда у них появляется оформление»[3]. В словах *шань* «гора», *шуй* «вода», *юй* «рыба», *жэнь* «человек» и т. д. мы не можем обнаружить никакой части их звуковой формы, которая говорила бы нам, что эти слова относятся к категории существительных. У них совершенно отсутствуют какие-либо специальные формы, указывающие на их значения как существительных. Слова *шань* «гора», *шуй* «вода», *юй* «рыба», *жэнь* «человек», конечно, имеют значения, но эти значения указывают лишь на то, что данные слова обозначают именно «гору», именно «воду», именно «рыбу», именно «человека», но они отнюдь не указывают на то, что эти слова суть существительные. Необходимо помнить, что для признания таких слов существительными к значениям «гора», «вода» и т. д. должно быть присоединено еще значение «существительного», а чтобы ясно было, что эти слова суть существительные, нужна форма, которая специально указывала бы на их значение как существительных. Однако такая форма отсутствует в китайском языке. Если слово является существительным, одно должно иметь специальную форму существительного подобно тому, как английские существительные имеют на конце *-ment*, *-ship*, *-tion* и т. д. Конечно, в таком языке, как английский, вследствие утраты части форм некоторые слова, например *fire*, *book*, *love* и т. д., могут употребляться и как существительные, и как глаголы. Языковеды считают, что такие слова не могут считаться принадлежащими к какой-либо части речи. Однако поскольку в английском языке данное явление не всеобще, мы отнюдь не отрицаем на этом основании наличия частей речи в английском языке; точно так же мы не считаем английский язык односложным на основании наличия в нем некоторого количества односложных слов.

Значит ли это, что люди, говорящие на китайском языке, не имеют понятия существительного? Нет, не значит. В китайском языке имеются слова *мин* «имя, название», *у* «вещь», *минцы* «существительное» и т. д.

---

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 39.

[2] Русские значения китайских слов, приводимых автором, даны нами.— *В. С.*

[3] См. Е. М. Галкина-Федорук, указ. соч., стр. 373. (Приведенное проф. Гао высказывание — не собственная мысль Е. М. Галкиной-Федорук, а мысль Н. Я. Марра, изложенная Е. М. Галкиной-Федорук.— *В. С.*)

Это показывает, что у людей, говорящих на китайском языке, имеются такие понятия.

Дело заключается в том, что эти понятия выражены не за счет форм грамматики, а лишь средствами лексики. Неприемлемость учения Есперсена и Ван Ли очевидна. И вот сейчас многие исследователи, следуя за Конрадом, обратились к форме, чтобы решить вопрос о частях речи в китайском языке, исходя из формы. Они считают, что хотя в китайском языке нет именных суффиксов (подобных английским *-ment*, *-ship*, *-tion* и т. д.), однако слова китайского языка обладают изменением формы: китайский язык различает части речи за счет музыкальных тонов.

Изменение формы в узком смысле есть выражение разными словами за счет их различных форм разных грамматических категорий. Эти грамматические категории (в узком смысле) принадлежат разным частям речи (например: род, число, падеж существительных, лицо, наклонение, вид глаголов и т. д.). Если налицо специфические изменения формы, которыми может обладать определенная часть речи, то данная часть речи существует, поскольку такое изменение есть форма. Английские существительные и глаголы в ряде случаев не имеют специальных именных или глагольных суффиксов, однако они изменяются по числам и другим грамматическим категориям. Поэтому английский язык обладает частями речи.

Если мы можем обнаружить изменения формы у китайских слов, то в таком случае следует признать, что в китайском языке имеются части речи. Весь вопрос в том, существует ли у китайских слов изменение формы, выражают ли китайские музыкальные тоны различия между частями речи? Объем морфологии, вообще говоря, довольно широк. Образование слов также иногда производится за счет формы. Например, английское слово *construct* является глаголом. Если к нему прибавить *re-* (*reconstruct*), то значение слова изменится. Приставка *re-* образует форму. Однако оба слова попрежнему являются глаголами. Прибавление *re-* не оказывает влияния на разграничение частей речи.

В китайском языке, конечно, тоже имеется форма. Прибавление к слову *баймянь* «белая мука» → «белый порошок» суффикса *эр* образует слово *баймяр*[1] «героин». *Эр* образует форму. Но прибавление этого суффикса не относит слово к другой части речи. Для того чтобы изменения формы могли влиять на разграничение частей речи, требуются такие формы, которые вызывали бы изменения грамматических категорий (в узком смысле). И вот некоторые исследователи стали считать, что наличие после слова *во* «я» — *мынь* (суффикс коллективной множественности слов, обозначающих лиц. — *В. С.*), перед словом *тунчжи* «товарищ» — *нюй* «женщина», после слова *цзоу* «идти» — *чжо* (суффикс так называемого продолженного вида. — *В. С.*), после слова *фуцинь* «отец» — *ды* (так называемый атрибутивно-именной суффикс. — *В. С.*) свидетельствует об изменении формы. Однако в действительности такой подход является слишком упрощенным.

«Морфология» — это, собственно говоря, общий термин. Мы имеем «морфологию природы», «морфологию общества», «морфологию психики», «морфологию мышления» и т. д. Морфология имеет дело с внешним обликом соответствующих явлений. Форма и сама вещь неотделимы друг от друга, поскольку форма представляет собой внешний облик этой вещи. Слова индоевропейских языков морфологически оформлены, поскольку в этих языках грамматические элементы неотделимы от корня и образуют его

[1] Суффикс *эр* фонетически сливается с последним слогом *мянь* в один слог *мяр*. — *В. С.*

форму. Даже в сравнительно ранних индоевропейских языках, таких, как санскрит, латинский, греческий, невозможно обнаружить самостоятельно существующие корни. Форма имеет свой специфический облик, но она неотделима от корня, а корень в свою очередь неотделим от формы.

В латинских словах *lego* «я читаю», *legis* «ты читаешь», *legit* «он читает» корень и форма слиты воедино. Мы не найдем самостоятельно существующий корень *leg-*. Современные индоевропейские языки претерпели изменения, некоторые формы в них отпали. Например, в латинском языке существительные имеют падежные формы, а во французском языке, развившемся из латинского, не имеют. В латинском языке именительный падеж — *liber* «книга», родительный — *libri* «книги». Французский же язык для выражения отношений принадлежности пользуется предлогом *de* (*du livre* = *de le livre*).

В «Большой советской энциклопедии» в статье «Грамматика» говорится, что *de* во французском языке не является формой падежа. Во французском языке у существительных нет падежей. Почему? Потому что *de* не есть нечто неотделимое от слова *livre*; *de* всего лишь грамматическое средство, выражающее грамматическую функцию, или служебное слово. В китайском языке *чжо*, *мынь*, *ды* и т. д. являются аналогичными элементами языка.

«Корень» в китайском языке может существовать самостоятельно. Эти же элементы *чжо*, *мынь*, *ды* и т. д., которые служат для выражения грамматической функции, отнюдь не обязательно слиты воедино с корнем. Можно обходиться и без них, можно их заменять, можно различными способами передавать мысль (например, *жэньмынь* «люди» можно заменить на *сюй-до жэнь* «много людей»). Поэтому-то Чикобава в своей последней работе «Введение в языкознание» относит китайский язык к корневым языкам (многие называют такие языки изолирующими) и пишет: «К типу корневого языка близок китайский. Слова в нем не склоняются и не спрягаются. Однако имеются частицы с функцией вспомогательных слов и аффиксов словообразования. Решающую роль в построении фразы (предложения) играет порядок слов»[1].

Но могут ли изменения музыкального ударения (тона) свидетельствовать о наличии частей речи в китайском языке? Сторонником точки зрения, что изменение тона есть показатель изменения принадлежности слова к части речи, является шведский синолог Б. Карлгрен.

Еще в моей работе «Ханьюй юйфа лунь» («Грамматика китайского языка») я подверг резкой критике теорию Карлгрена[2]. Однако сейчас еще многие разделяют точку зрения Карлгрена и считают, что в китайском языке различия между частями речи выражаются за счет тоновых различий. Выражение различных грамматических функций за счет тоновых различий — это, по сути дела, явление морфологическое. Поэтому сторонники данной теории и признают наличие в китайском языке морфологии и частей речи. Мы отнюдь не отрицаем, что тоновые различия, например, превращение *хāо* (первый тон) в *хàо* (четвертый тон), играют словоразличительную роль, однако роль тоновых изменений состоит не в разграничении частей речи, а в разграничении значений слов. *Хāо* (первый тон) имеет значение «хороший», *хàо* (четвертый тон) имеет значение «любить»: различны именно значения слов.

Если бы в китайском языке после изменения тонировки слова значение слова осталось бы тем же, но изменилась бы отнесенность к части речи, то мы могли бы сказать, что роль тоновых изменений заключается

---

[1] А. С. Чикобава, *Введение в языкознание*, ч. I, М., 1952, стр. 183.
[2] Гао Мин-кай, Ханьюй юйфа лунь, стр. 45—48.

в разграничении частей речи. Однако в китайском языке изменение тона вызывает изменение именно значения слова.

Тон, который изменяется с изменением значения слова, может не меняться при употреблении слова в роли так называемых разных «частей речи». Например, в выражении *та хào шу* «он любит книги» *хào* имеет так называемое «глагольное» употребление и произносится в четвертом тоне. В выражении *до жэнь жчи хào* «лишать людей добра» *хào* имеет так называемое «именное» употребление, но произносится также в четвертом тоне.

В некоторых случаях разные значения, выявляемые разными тонами, могут оказаться в одной категории. Например, у слов *чжӯн* «кузнечик, саранча» и *чӯн* «насекомое, червяк» (берется древнее произношение)[1] и тон, и значение различны, но оба эти слова являются так называемыми «существительными». Деривация (отпочкование) значений — распространенное явление. От *хао* со значением «хороший» отпочковалось значение «любить» так же, как от *жи* со значением «солнце» отпочковалось значение «день»; от *хай* со значением «море» отпочковалось значение, с которым *хай* входит в выражение *хайвань* «большая чаша».

Однако никто не считает, что два разные *жи* и два разные *хай* являются разными частями речи. Почему же тогда считают, что два слова *хао*, обладающие разными тонами, являются разными частями речи? Дело в том, что те, кто рассматривают тоновые изменения как изменения грамматической формы, исходят из значений. *Хао* со значением «хороший» большей частью употребляется для характеристики определенных явлений, почему и считают, что это слово — прилагательное; *хао* со значением «любить» большей частью употребляется для сообщения о каком-либо деле, почему и считают это слово глаголом. В результате же признают, что тоновые различия служат для разграничения частей речи. Но Галкина-Федорук уже указывала нам, что одно и то же явление можно оценивать под разными углами зрения и обобщать его, образовывать понятие и часть речи в зависимости от подхода.

К одному и тому же явлению, обозначенному словом *цзоу* «идти», мы можем подойти с точки зрения сообщения о том, что человек «идет», и признать в этом случае слово *цзоу* глаголом, можем также рассматривать *цзоу* как некий факт и в этом случае признать слово *цзоу* существительным.

В английском языке слово *speak* по своему словарному значению соответствует слову *шо* «говорить». Когда мы сообщаем, что какой-либо человек говорит, мы рассматриваем это слово как глагол. Мы говорим *he speaks*. Когда мы разъясняем, что же такое «говорить», мы рассматриваем это слово как существительное, оно обязательно принимает форму существительного. Мы говорим *his speech is over* «его речь окончена», *to speak is not to lie* «говорить не значит лгать», *speaking is easier than hearing* «говорить легче, чем слушать». Здесь словарное значение совершенно не меняется, но форма слова как части речи изменилась.

В китайском языке *хāо* (первый тон) и *хào* (четвертый тон) — это два слова с разными значениями. Эти разные значения связаны только потому, что одно из них является производным от другого. Многие исследователи, упустив из виду, что у этих слов имеются разные значения, подходят к делу только с точки зрения возможности отнести эти разные значения к той или иной части речи. Они незаметно для себя оказались под влиянием учения Есперсена и Ван Ли и, исходя из значений, стали считать, что смыс-

[1] В русском тексте дано современное звучание. Б. Карлгрен дает для древнего языка соответственно *ĵiông* (чжӯн) и *d'iông* (чун) (См. B. Karlgren, Grammata Serica, Stockholm, 1940). Возможно, проф. Гао пользовался иным источником. *В. С.*

ловые различия и составляют различия между частями речи. Сначала они предположили, что в области семантики существуют разные части речи, а затем наделили тоновые различия функцией носителей признака принадлежности к той или иной части речи. Однако эти различия являются только смысловыми. Смысловые различия могут иметь место и при отсутствии тоновых изменений. Это наблюдается при отпочковании новых значений. *Шу* имеет значение «лес, роща» и значение «поставить, водрузить, установить». Но мы не утверждаем на этом основании, что первое *шу* — существительное, а второе *шу* — глагол, поскольку *шу* со значением «лес, роща» может употребляться и как прилагательное, и как глагол.

Иногда значение само по себе допускает отнесение его только к одной части речи. Например, от значения слова *маи* «муравей» не может быть произведено значение действия, но это отнюдь не говорит за то, что слово *маи* существительное, поскольку «отличительная черта грамматики состоит в том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности; она дает правила для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное подлежащее, конкретное сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того или иного предложения»[1].

Поскольку части речи называются категориями, они должны иметь категориальный характер и обладать общей формой. Но такая общая форма не существует в китайском языке. Конечно, такая общая форма совершенно не обязательно должна быть всегда одной и той же. В английском языке *-ment* является суффиксом существительных, но и *-ship* также — суффикс существительных.

Иногда у слов может иметься только нулевая форма. Например, у английского слова *book* нет специального выражения какой-либо формы. Однако поскольку этой форме противостоит в качестве множественного числа форма *books*, постольку *book* выступает как форма единственного числа.

Могут сказать, что к *лай* «приходить» могут быть присоединены только *ла*, *чжо*[2], к *фань* «пища» может быть присоединено только *идунь*[3]. Однако в действительности к словам типа *лай* могут быть также присоединены служебные слова и помимо так называемых связанных с глаголами: *лай-и-лай* «приходить»; *пай игэ лайжэнь* «послать посыльного» (дословно: «послать одного приходящего человека»). Когда то или иное служебное слово не может быть присоединено, это явление следует рассматривать в аспекте семасиологии. Например, невозможно соединить слова *ню* «корова» и *лэй* «гром» в сочетании *ню лэй*; слово *хэ* «пить» нельзя сочетать со словом *фань* «пища» в выражение *хэ фань*. Но это не вопрос принадлежности к части речи, а вопрос смысловой сочетаемости слов. Сочетание *лай* с *ла* отнюдь не свидетельствует о том, что *лай* является глаголом, поскольку в предложении *лайлады бу яо цзоу* «пусть не уходят пришедшие» *лайла* уже не является глаголом. К *лай* потому можно присоединить *ла*, что *лай* и *ла* в смысловом отношении могут сочетаться.

А. С. Чикобава в своей упомянутой выше работе пишет: «Как понимается один и тот же звуковой комплекс в различных сочетаниях, об этом можно судить на примере китайского слова *хао*: *хао жэнь* „хороший человек“; *сию хао* „делать добро, давать милостыню“; *цзю хао* „старая дружба“; *хао гуй* „очень дорогой“...

---

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 24.
[2] Глагольные суффиксы.— *В. С.*
[3] Числительное плюс так называемый аффикс единичности.— *В. С.*

Таким образом, *хао* в различном положении и с различной интонацией может значить: „хороший", „очень", „добро (милостыня)", „дружба", „любить", т. е. оно выступает в функции то имени прилагательного, то наречия, то имени существительного, то глагола, не являясь, конечно, морфологически ни одной из этих частей речи (в обычном понимании)»[1].

В этих словах заключены следующие важные мысли: 1) у китайских слов нет форм, присущих частям речи (значит, в языке нет и частей речи); 2) соответствующий тон может изменить значение слова (т. е. роль тонов состоит в различении значений); 3) слова с разным значением в разных синтаксических конструкциях выполняют функции разных частей речи, но не имеют форм частей речи.

Иначе говоря, если брать отдельные слова, то они не различаются по частям речи, и роль тонов состоит в разграничении значений; если учитывать место слова в предложении, то приходится констатировать, что китайские слова только выполняют функции разных частей речи, но не имеют форм частей речи, т. е. китайский язык ни в коей мере не имеет подлинных частей речи.

Когда говорят о так называемых частях речи, то, естественно, имеют в виду только «вещественные слова».

Но существует различие между вещественными и служебными словами (или частицами, или вспомогательными словами), и отрицать это различие невозможно.

Сталин говорит, что грамматика «...определяет правила изменения слов, правила соединения слов в предложения...»[2]. Классификация по частям речи есть классификация строительного материала языка — слов. В языке же, помимо этих вещественных слов, имеются еще частицы, или служебные слова, или вспомогательные слова, которые употребляются как грамматические средства.

Эти частицы, или служебные, или вспомогательные слова, коренным образом отличаются от обычных вещественных слов. Вещественные слова — это строительный материал языка, являющийся объектом изучения семасиологии. Частицы, или служебные, или вспомогательные слова — это грамматические средства, составляющие объект изучения грамматики. Эти грамматические элементы именно потому и называются частицами, или служебными, или вспомогательными словами, что они не являются формой слова и не соединяются тесно с корнем. Однако они не являются и вещественными словами. Они лишь служат для выражения грамматических отношений.

Эти частицы, или служебные слова, или вспомогательные слова, конечно, существуют и в предложении, располагаясь либо перед, либо после вещественных слов. Некоторые исследователи на этом основании ошибочно принимают их за форму. Необходимо помнить, что если все грамматические элементы, стоящие до или после слов вещественных, рассматривать как форму, то в таком случае формой являются все грамматические элементы и незачем делить языки на изолирующие, агглютинативные и флективные.

Поэтому, утверждая, что китайские слова не различаются по частям речи, мы отнюдь не считаем, что в китайском языке нет различий между словами вещественными и служебными. Мы лишь утверждаем, что в китайском языке вещественные слова не разграничиваются на существительные, глаголы, прилагательные, наречия.

---

[1] А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 183.
[2] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 23.

Резюмируя сказанное, можно отметить, что имеются следующие четыре причины признаний многими исследователями частей речи в китайском языке.

Во-первых, они полагают, что если не признавать частей речи, то это создает впечатление, что китайский язык находится на низкой ступени развития. Мотив весьма похвален, но утверждение не соответствует фактам. Более того, подобная аргументация, по сути дела, является признанием отдающей расизмом теории деления языков на передовые и отсталые. Чтобы установить, является ли язык передовым или отсталым, совершенно недостаточно наличия или отсутствия частей речи.

Пусть китайский язык и не имеет частей речи, но говорящие на китайском языке имеют понятия о предметах, действиях, качествах. Эти понятия передаются средствами словаря, но не формами грамматики. Если обратиться к развитию языков, то мы увидим, что первоначальные флексии индоевропейских языков к настоящему времени значительно упростились. В латинском языке у существительных имелись падежи. Французский же язык для выражения падежа пользуется только вспомогательным словом *de*. Но это не говорит о том, что французский язык регрессировал по сравнению с латинским. Чикобава пишет: «... древнекитайский язык не был лишен аффиксов (он был языком агглютинативным); если в современном китайском языке не имеется аффиксов (словоизменения), то это результат долгого развития, но отнюдь не начало развития»[1]

Морфологическая классификация языков (изолирующие, агглютинативные и флективные) была заложена немецким лингвистом начала XIX в. Ф. Шлегелем. Ошибка Шлегеля состояла не в том, что он разбил языки на такие типы, а в том, что он этой классификацией иллюстрировал стадии в развитии языков.

Усвоив учение Шлегеля, Марр перекрасил его и выдвинул теорию языковых стадий. Многие исследователи китайского языка также испытали влияние учения Шлегеля. Они опасаются, что отрицание морфологии и частей речи в китайском языке унизит китайский язык. Однако общее языкознание уже доказало, что различная типология языков свидетельствует только о специфических чертах языка и не является критерием его развитости или отсталости. Отсутствие частей речи в китайском языке — это его специфическая черта. Эта особенность позволяет китайскому языку гибко использовать свои слова, создает специфический художественный стиль китайского литературного языка. У нас нет ни оснований, ни необходимости утверждать, что в китайском языке обязательно должны быть части речи.

Во-вторых, эти исследователи признают наличие частей речи, так как исходят из семантики. Они не учитывают, что оголенных значений, лишенных языковой «природной материальной» формы, не существует. Раз в китайском языке нет специфической формы для разграничения частей речи, то, следовательно, китайские слова не различаются по частям речи.

В-третьих, они признают наличие частей речи, так как считают, что в китайском языке имеется форма. Они не понимают ясно, что такое форма. Они считают, что все грамматические элементы, следующие за корнем или предшествующие ему, являются формой. В действительности же *чжо*, *ды*, *ла* и т. д. — это лишь грамматические средства, служебные слова, но не форма. Они по своей природе отличны от формы.

---

[1] А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 189.

В-четвертых, они признают наличие частей речи, так как в китайском языке имеются изменения тонов. Они не учитывают того, что тоновые изменения свидетельствуют о различиях в значении и поэтому считают, что тоновые изменения влекут за собой различия между частями речи. Тем самым они попрежнему исходят из семантики и попрежнему попадают в болото идеализма.

На основании вышеизложенного мы можем определенно заявить, что китайские слова не различаются по частям речи. Поэтому при изучении китайской грамматики не следует подражать западным грамматикам и брать части речи за исходный момент. При изучении грамматического строя китайского языка необходимо опираться на принципы сталинского языкознания, следовать особенностям китайского языка и идти самостоятельным творческим путем.

Перевел *В. Солнцев.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

ВЭНЬ ЛЯНЬ и ХУ ФУ

ЧАСТИ РЕЧИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ[1]

Проблема разграничения речи — одна из проблем, наиболее длительно дискутируемых в отечественных лингвистических кругах. Почти в любой книге или статье дается какой-либо способ классификации слов: одни из них сходны по терминологии и различны по содержанию, другие сходны по содержанию и различны по терминологии. Что касается количества частей речи, то минимально насчитывают 8—9 частей речи, максимально же вплоть до 23 частей речи.[2] Это представляет немалые трудности для начинающих.

Чем вызван такой разнобой? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к рассмотрению основных взглядов лингвистов на проблему разграничения частей речи.

Вообще говоря, у лингвистов имеются два различных подхода к классификации слов по частям речи. Одни считают, что классификация слов является весьма важным звеном для исследования грамматики китайского языка. Так, Чэнь Ван-дао говорит: «В обычных грамматиках разграничивают две области исследования: одну можно назвать учением о слове, другую можно назвать учением о предложении. Учение о слове некоторые называют также учением об отдельном слове (с точки зрения содержания и объема — это учение о членении слова). Учение о предложении некоторые называют учением о расположении слов или учением о соединении слов (с точки зрения содержания и объема — это учение о членении предложения).

Содержание учения о предложении в приложении к различным языкам не имеет резких различий в зависимости от этих языков и, пожалуй, может быть перенесено с одного языка на другой. Что же касается содержания учения о слове, то в этой области в разных языках имеются очень большие особенности. Для каждого языка необходимо изыскивать

---

[1] Журн. «Чжунго юйвэнь» («Китайский язык»), 1954, февраль (№ 20), март (№ 21). Перевод дается с незначительными сокращениями, касающимися главным образом примеров.— *Н.С.*, *В.С.*

[2] В «Грамматике» Ма Цзянь-чжуна (Ма ши вэньтун) выделяется 9 частей речи; в работе Чжао Юань-жэня «Грамматика пекинского разговорного языка»— 11 частей речи; в работе Ли Цзинь-си «Новая грамматика современного литературного языка»— 9 частей речи; в «Лекциях по грамматике и стилистике» Люй Шу-сяна и Чжу Дэ-си — 8 частей речи; в статье Ван Ляо-и (Ван Ли) «Части речи в китайском языке» [журн. «Юйвэнь сюэси» («Языковая учеба»), 1952, апрель] намечается 9 частей речи; Группа грамматики Ин-та языкознания Китайской Академии наук намечает 11 частей речи (см «Лекции по грамматике», «Чжунго юйвэнь», 1952, август); Гао Мин-кай в статье «Слова китайского языка» («Юйвэнь сюэси», 1952, март) намечает 23 части речи. В последнее время Гао Мин-кай пришел к заключению, что в китайском языке вещественные слова не разграничиваются на существительные, глаголы, прилагательные, наречия и другие части речи (см. «Проблема частей речи в китайском языке», «Чжунго юйвэнь», 1953, октябрь). (Эта статья проф. Гао Мин-кая дана в переводе в настоящем номере нашего журнала.— *Ред.*).

свои пути решения этого вопроса. Именно с этой проблемы и надо начинать изучение грамматики любого языка» [1].

В противоположность приведенному высказыванию некоторые лингвисты, например Ван Ли, считают, что «за последние 20—30 лет китайские лингвисты спорили в основном о проблеме классификации слов по частям речи и о терминах. Например: на сколько категорий следует делить китайские слова; следует ли включать слово *со* (многозначный служебный элемент современного литературного языка. — *Н.С.*, *В.С.*) в число местоимений; следует ли называть слова *чу* „выходить", *жу* „вступать, входить", *цзюй* „обитать", *чжу* „жить, останавливаться" и т. п. „относительными непереходными глаголами"; следует ли считать слова *ю* „иметь, иметься" и *цзай* „существовать" „вспомогательными глаголами" [2] и т. д. Таким образом, споры касались лишь внешней стороны грамматики, но не ее существа» [3].

Люй Шу-сян и Чжу Дэ-си пишут: «Части речи выделяются для удобства изложения грамматики» [4]. Люй Шу-сян и Чжу Дэ-си полагают, что грамматика китайского языка состоит только из одной части — синтаксиса. Они также считают, что при объяснении структуры предложения только ради удобства даются определенные наименования строительному материалу, образующему элементы структуры предложения. Они думают, что классификация слов не имеет сколько-нибудь важного значения для исследования грамматики китайского языка.

Мы считаем, что части речи объективно существуют в нашем языке. Разграничение частей речи проводится для того, чтобы выявить эти объективно существующие категории в виде какой-то системы.

Сталин говорит нам, что словарный состав является строительным материалом языка. Нечего думать о том, чтобы без тщательного упорядочения и классификации строительного материала можно было успешно вести строительную работу. Необходимо отметить, что в китайском языке несомненно имеются части речи, несомненно также, что разграничение частей речи имеет важное значение для исследования грамматики.

Конечно, «в разных языках могут иметься различные части речи, системы частей речи в разных языках также могут быть несходными» [5]. Если наш язык и другие языки обладают разными специфическими особенностями, то мы не можем заимствовать «категорий других языков для того, чтобы облекать в них наши слова», иначе пришлось бы «подрезать ноги, чтобы всунуть их в башмаки». Это значит, что при изучении грамматики какого-либо языка надо не только уяснить то общее, что имеет этот язык с другими языками, но, что еще более важно, выявить специфические особенности данного языка. Ван Ли известен своим вниманием к специфике китайского языка, велик его вклад в дело изучения китайской грамматики, однако важность проблемы разграничения частей речи не поднята им на должную высоту. Люй Шу-сян и Чжу Дэ-си, с одной стороны, признают, что с точки зрения теории грамматики очень важно разграничить части речи, с другой же стороны, говорят, что в практи-

---

[1] См. «Чжунго вэньфа гэсинь таолунь цзи» («Сборник дискуссионных статей по реформированию китайской грамматики»), стр. 86—87; Фан Гуан-тао также держится подобного взгляда. См. его «Тиси юй фанфа» («Система и метод») (указ. сборник, стр. 57).

[2] Термин «вспомогательный глагол» не отражает этимологии китайского термина «тундунцы», что дословно значит «сходный с глаголом». Термина, адекватного «тундунцы», в русской литературе нет.— *Н. С.*, *В. С.*

[3] Ван Ли, Чжунго юйфа лилунь («Теория китайской грамматики»), т. 1, стр. 4.

[4] «Юйфа сюцы цзянхуа» («Лекции по грамматике и стилистике»), лекция 1, стр. 10.

[5] «Чжунго юйвэнь», 1953, май, стр. 31

ческом отношении эта проблема отнюдь не является важнейшей частью грамматики[1]. Конечно, если рассматривать теорию и практику как две различные вещи, то данный вопрос не может вызывать у них интереса.

Почему же некоторые языковеды недооценивают значение классификации слов по частям речи?

Дело заключается в методах классификации. Они обычно классифицируют отдельно взятые слова. В языках синтетических классифицировать по частям речи изолированные слова — возможно (это не значит, конечно, что надо полагаться только на один этот критерий[2]), поскольку в таких языках отдельно взятые слова обладают изменением форм. Например, в английском языке три слова *glory*, *glorious*, *gloriously* представляют одно и то же понятие «гуанжун» (слава), однако каждое из этих слов имеет свой собственный облик, различаясь за счет суффиксов. Первое слово — существительное, второе — прилагательное, третье — наречие. Исходя из различия форм этих слов, мы распределяем их по разным категориям. В нашем же языке у отдельно взятых слов изменений форм сравнительно немного, брать в качестве критерия классификации одни лишь формы слова — недостаточно. Поэтому если в качестве объекта классификации по частям речи брать изолированные слова, то в основу такой классификации придется положить критерий семантический. Однако при использовании семантического критерия для классификации изолированных слов неизбежно возникает множество трудностей. Например: «одно и то же слово *жэнь* „человек" в выражении *жэнь ци жэнь* „очеловечить его людей" во втором употреблении называют существительным, в первом — глаголом, а в выражении *ши жэнь ли эр ци* „кабан встал по-человечьи и заплакал" слово *жэнь* называют наречием»...[3]. Но разве это не ведет к тому выводу, что слова не могут быть отнесены к определенным категориям? Взамен таких категорий лингвисты ввели понятия: «основная принадлежность», «условная принадлежность» и «измененная принадлежность». Они говорят: «так называемая основная принадлежность может быть присуща слову вне зависимости от влияния других слов; так называемая условная принадлежность временно устанавливается за словом для удобства анализа предложения; так называемая измененная принадлежность есть принадлежность, которую слово получает, меняя свою основную принадлежность, в зависимости от позиции и под влиянием других слов[4].

Однако возникает вопрос, откуда берется эта основная принадлежность, если слово не испытывает влияния других слов? Например, *жэнь* «человек» и *юнь* «облако», согласно Ван Ли, по своей основной принадлежности должны быть существительными. Однако у самих этих слов, взятых изолированно, мы не обнаружиннем никаких формальных признаков, которые говорили бы нам, что эти слова относятся к категории существительных. Совершенно очевидно, что сказать, что они по основной принадлежности — существительные, значит исходить только лишь из их семантики. Поясним нашу мысль следующим высказыванием Гао Минкая: «В словах *шань* „гора", *шуй* „вода", *юй* „рыба", *жэнь* „человек" и т. д. мы не можем обнаружить никакой части их звуковой формы, которая говорила бы нам, что эти слова относятся к категории существительных. У них совершенно отсутствуют какие-либо специальные формы, указывающие на их значения как существительных. Слова *шань* „гора", *шуй*

[1] «Юйфа сюцы цзянхуа», лекция 1, стр. 10.

[2] Т. е. изолированно взятое слово.— *Н. С., В. С.*

[3] См. «Чжунго юйфа лилунь», т. 1, стр. 4. (Приведенные в данной цитате примеры взяты из ныне мертвого древнелитературного языка вэньянь.— *Н. С., В. С.*).

[4] Ван Ли, Чжунго юйвэнь цзянхуа («Лекции по китайскому языку »), стр. 43

„вода“, *юй* „рыба“, *жэнь* „человек“, конечно, имеют значения, но эти значения указывают лишь на то, что данные слова обозначают именно „гору“, именно „воду“, именно „рыбу“, именно „человека“, но они отнюдь не указывают на то, что эти слова суть существительные. Необходимо помнить, что для признания таких слов существительными к значениям „гора“, „вода“ и т. д. должно быть присоединено еще значение „существительного“, а чтобы ясно было, что эти слова суть существительные, нужна форма, которая специально указывала бы на их значение как существительных»[1].

Вернемся к тому, что говорилось выше. Если даже мы допустим, что изолированное слово может быть по своему значению отнесено к определенной части речи, то все равно могут встретиться трудно разрешимые вопросы. Например, «для некоторых слов—таких, как *фулань* „разложиться, гнилой“, *цинь-жэ* „горячо любимый, горячо любить“, *цинсин* „трезвый, протрезветь“, *маму* „бесчувственный, одеревянеть“, — отнюдь не легко установить, чем они являются в своей основе—прилагательными или непереходными глаголами»[2]. Почему же здесь трудно провести разграничение?

Галкина-Федорук говорит нам: «Человеческое мышление абстрагирует, обобщает и классифицирует познаваемые явления. Одно и то же явление действительности, рассматриваемое под углом зрения вещественности, представляет собой предмет; под углом зрения присущего ему действия — является действием; под углом зрения присущих ему качеств— является свойством. В результате обобщения различных предметов получается „предметное“ понятие, появляется существительное, в результате обобщения различных действий получается понятие „действия“, появляется глагол, в результате обобщения различных свойств появляется понятие „качества“, появляется прилагательное»[3].

Из этих слов мы можем заключить, что в зависимости от угла зрения одно и то же явление осмысливается по-разному. «Закончившееся действие превращается в состояние»; «действие, реально не проявившееся и лишь могущее реализоваться, становится качеством», действие и состояние «не являются совершенно изолированными, на самом деле они тесно связаны»[4]. Отсюда видно, что если не исходить из формы, а лишь полагаться на значение, то решить вопрос будет трудно. Достаточно взять хотя бы один пример, чтобы показать невозможность, исходя только лишь из семантики, различать характер слов. В выражениях *гоу цзяо* «собака лает» и *гоу ды цзяо* «собачий лай» оба *цзяо* с точки зрения семантики указывают на один и тот же объективный факт и должны быть причислены к одной и той же категории. Однако говорить, что между ними нет разницы, что и то и другое следует рассматривать как действие, значит безусловно делать натяжку!

Если классифицировать слова, взятые изолированно, и при разграничении частей речи исходить исключительно из семантики, то полученная классификация, если она и удастся, будет лишена практической ценности. Например, при переводе на английский язык выражений *гуанжун ды чжунго жэньминь* «славный китайский народ» и *чжунго жэнь-*

---

[1] «Чжунго юйвэнь», 1953, октябрь, стр. 14.

[2] «Юйфа сюцы цзянхуа», лекция 2, стр. 39.

[3] «Чжунго юйвэнь», 1953, октябрь, стр. 13. (Судя по ссылке, данная цитата взята из статьи проф. Гао Мин-кая «Проблема частей речи в китайском языке», печатающейся в переводе в настоящем номере нашего журнала, и, как указано в примечании к соответствующему месту перевода, представляет собою сокращенный пересказ одного места статьи Е. М. Галкиной-Федорук из сборника «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. II, М, 1952, стр. 381.— *Ред.*).

[4] Л ю й Ш у - с я н, Чжунго вэньфа яолюэ («Основы китайской грамматики»), т. I, стр. 92, 95.

минь ды гуанжун «слава китайского народа» в первом случае будет употреблено прилагательное *glorious*, во втором существительное *glory*. Зная разницу между этими словами, невозможно ошибиться при употреблении их.

В китайском языке у отдельно взятого слова изменение по формам представлено не богато. Оба *гуанжун* («слава» и «славный») в китайском языке одинаковы.

Если не исходить из формы и классифицировать слова, взяв их изолированно, то получится классификация ради классификации, практическая ценность которой будет не велика. Возьмем, например, существительные. Они включаются лингвистами в число вещественных слов, поскольку их значение реально. Что же касается местоимений, то ряд лингвистов считает их словами служебными, но поскольку местоимения являются заместителями слов вещественных, их можно относить к полуслужебным словам[1].

В полуслужебных словах «служебного» больше, чем «вещественного», значит местоимения, естественно, будут скорее относиться к служебным словам, у которых «значение почти отсутствует». Мы знаем, что со стороны формы существительные как будто бы очень близки к местоимениям. Во-первых, и те и другие могут служить подлежащим и дополнением; во-вторых, и те и другие в большинстве случаев могут присоединять к себе *мынь* (суффикс множественности.— *Н. С.*, *В. С.*) и т. д.[2]

Если же исходить исключительно из семантики, то одни (существительные) будут отнесены к вещественным словам, другие (местоимения) — к служебным, что в практическом отношении ничего нам не даст.

Разграничение частей речи важно. Советский китаевед Драгунов в своей работе «Исследования по грамматике современного китайского языка» говорит: «Лексико-грамматические категории лежат в центре грамматической системы, отражаясь и в построении словосочетания, и в разных типах предложений. Вне этих категорий нельзя понять структурных особенностей китайской речи и было бы невозможно излагать грамматику китайского языка»[3].

В этих словах правильно и полно оценивается значение разграничения частей речи в нашем языке. В китайском языке, в котором у отдельно взятого слова изменений по формам не много, при разграничении частей речи необходимо исходить из конструкций, из взаимосвязи слов, из их сочетаний, т. е., иначе говоря, надо исходить из морфологии. «Части речи являются разрядами слов, выявляемыми за счет определенных морфологических показателей»[4]. Классифицировать надо не изолированно взятые слова, а слова, взятые в различных конструкциях, исходить надо не из семантики, а из формы; только таким образом выделенные части речи «могут разъяснить структуру языка, дать указание на употребление слов»[5], поскольку «классификация слов изучается с целью изучения структуры языка, для приведения грамматики в систему, с тем чтобы выявить постоянную и тесную связь структуры языка с частями речи»[6].

*

Что же такое форма? Понятие «форма» имеет два значения — широкое и узкое. Форма в узком смысле слова означает суффиксы и префиксы

[1] *Ван Ли*, *Чжунго юйфа ганьяо* (*«Основы китайской грамматики»*).
[2] Журн. «Юйвэнь чжиши» («Знание языка»), 1953, май, стр. 15—16.
[3] «О китайском языке», «Чжунго юйвэнь», 1952, декабрь, стр. 26. (Цитата из работы А. А. Драгунова приводится по статье Н. И. Конрада «О китайском языке», В. Я., 1952, № 3.— *Н. С.*, *В. С.*).
[4] «Чжунго юйвэнь», 1953, май, стр. 31.
[5] «Юйвэнь чжиши», 1953, май, стр. 15. Приводятся слова Чэнь Ван-дао.
[6] Там же.

отдельного слова. Например, в английском языке к существительным во множественном числе прибавляется *s* (*a boy*, *two boys*), глаголы изменяются по временам (*work*, *worked*), прилагательные изменяются по степеням сравнения (*high*, *higher*, *highest*), местоимения имеют «родовые» различия (*he*, *she*, *it*), падежные различия (*he*, *his*, *him*). Далее. Слова, имеющие суффиксы *-ty*, *-ry*, *-ce*, *-ness*, *-tion*, *-ment*, *-or*, *-er* и т. д., являются существительными; имеющие суффиксы *-al*, *-el*, *-is*, *-ful*, *-ish*, *-ous*, *-ive*, *-able*, *-ible* и т. д.—прилагательными; имеющие суффикс *-en* — глаголами; суффикс *-ly* — наречиями. Такие суффиксы, присоединенные к концу слов и выражающие категориальную природу слова, которую мы определяем по ним с первого же взгляда, и представляют форму в узком смысле слова.

Форма в широком смысле, помимо изменений формы самого слова, включает в себя и взаимосвязи между словами, сочетания слов, порядок слов в словосочетаниях и т. д. Такая форма в широком смысле не может быть обнаружена у слова, взятого отдельно.

Имеется ли в китайском языке форма в узком смысле? Мы отвечаем на этот вопрос утвердительно. Почти нет никого, кто не признавал бы, что *цзы*, *эр* и *тоу* являются суффиксами[1].

Также никто не станет отрицать, что слова, к которым присоединены эти суффиксы, являются словами одной категории. Но вопрос не в этом. Вопрос состоит в следующем: может ли прибавление таких суффиксов к слову влиять на свойства данного слова? Гао Мин-кай считает, что не может. Он пишет: «В китайском языке, конечно, тоже имеется форма. Прибавление к слову *баймянь* «белая мука»→ «белый порошок» суффикса *эр* образует слово *баймяр* («героин»). *Эр* образует форму. Но прибавление этого суффикса не относит слово к другой части речи»[2].

Конечно, если брать этот пример, то прибавление *эр* не влияет на свойства слова. Иное мы видим в примерах:

(ряд I) *хо* «работать» — *хор* «работа»;

(ряд II) *пан* «толстый» — *панцзы* «толстяк»; *фын* «безумный» — *фынцзы* «безумец»; *ла* «острый, едкий» — *лацзы* «перец»;

(ряд III) *кань* «смотреть» — *каньтоу* «достопримечательность»; *сян* «думать» — *сянтоу* «мысль»; *ку* «горький» — *кутоу* «печаль, страдание»; *чи* «есть» — *читоу* «еда».

В этих примерах в зависимости от наличия или отсутствия *цзы*, *эр* и *тоу* меняются свойства слов. Мы не можем не признать, что здесь налицо «формы, вызывающие изменения грамматических категорий (в узком смысле)»[3]. Кроме того, нельзя отрицать, что эти формы могут оказать нам помощь при разграничении частей речи. В то же время мы также должны признать, что такая помощь недостаточна. Поскольку в китайском языке отдельно взятые слова, могущие изменяться по формам, составляют в конце концов меньшинство, и их недостаточно, чтобы служить главным критерием выделения частей речи в китайском языке, постольку мы неизбежно вынуждены обращаться к форме в широком смысле.

Фан Гуан-тао писал: «Я считаю взаимосвязи слов, сочетания слов между собой не чем иным, как формой в широком смысле. Поскольку у отдельно взятых китайских слов собственных форм мало, постольку при различении частей речи, естественно, приходится обращаться к форме в широком смысле слова»[4]. Такая точка зрения является правильной.

Каким же образом разграничивать части речи, исходя из формы в ши-

---

[1] Речь идет о словообразующих суффиксах существительных. — *Н. С., В. С.*
[2] «Чжунго юйвэнь», 1953, октябрь, стр. 14.
[3] Там же.
[4] Фан Гуан-тао, указ. соч., стр. 44.

роком смысле слова? Например, мы можем сказать: *игэ жэнь* «один человек»; *лян-куай мо* «два куска туши»; *сань-чжи би* «три кисточки для письма»; *сы-бэнь шу* «четыре книги»; *у-бэй цзю* «пять рюмок вина»; мы также можем сказать: *чжэгэ жэнь* «этот человек»; *на-куай мо* «тот кусок туши»; *на-чжи би* «та кисточка для письма»; *чжэбэнь шу* «эта книга»; *на-бэй цзю* «та рюмка вина»; *чжэчжун даодэ* «эта мораль»; *начжун сысян* «такая идеология»; *моучжун гунцзо* «определенная работа». Поскольку слова *жэнь* «человек», *мо* «тушь», *би* «кисточка для письма», *шу* «книга», *цзю* «вино» могут сочетаться и с *игэ*, *лян-куай*, *сы-бэнь*, *у-бэй*, могут сочетаться и с *чжэ*, и с *на*; слова *даодэ* «мораль», *сысян* «идеология», *гунцзо* «работа» могут сочетаться с *чжэчжун*, *моучжун*, постольку, конечно, все эти слова могут быть отнесены к одной грамматической категории, могут быть определены как принадлежащие к одной и той же части речи.

Допустим, мы назовем их «существительными». В таком случае способность принимать впереди *игэ*, *чжэгэ*, *чжэчжун* и т. п. и будет формой существительных. Основываясь на этой форме, мы и устанавливаем, что слова, идущие после *игэ*, *чжэгэ*, *чжэчжун* и т. п., суть существительные. В этом и заключается способ разграничения частей речи на основе учета взаимосвязи слов и их сочетаемости.

Понятно, что формы существительных этим не исчерпываются. Кроме того, не все слова, идущие после *игэ*, являются существительными. Например, в словосочетаниях *чан игэ тункуай* «петь радостно» (дословно: «петь один веселый»), *да та игэ бань сы* «избить его до полусмерти» (дословно: «бить он полумертвый») слова *тункуай* «веселый», *бань сы* «полумертвый» не являются существительными. Каким образом можно отличить их от существительных? Для этого необходимо дополнительно привлечь другие формы.

Во-первых: мы можем сказать *игэ жэнь* «один человек», также можем сказать *цзюгэ жэнь* «девять человек», однако нельзя сказать *чан угэ тункуай* (дословно: «петь пять веселый»), *да та шисаньгэ бань сы* (дословно: «бить он тринадцать полумертвый»).

Во-вторых: мы можем сказать *игэ жэнь* «один человек», также можем сказать *чжэгэ жэнь* «этот человек» или *нагэ жэнь* «тот человек»; однако нельзя сказать *чан нагэ тункуай* (дословно: «петь то веселый»), *да та чжэгэ бань сы* (дословно: «бить он этот полумертвый»).

Таким образом, различие оказывается совершенно очевидным.

Далее. Другой ряд слов имеет следующие формальные особенности: 1) они могут впереди принимать *бу* «не», *хуэй* «уметь», *нэн* «мочь», *гань* «сметь», *гай* «должен» и т. п.; 2) на конце могут иметь *ла*, *чжо*, *го*, *цилай*, *сяцюй*, *голай*, *гоцюй* и т. п.[1]; 3) могут удваиваться. При удвоении односложных слов между компонентами может вставляться *и* «один»; при удвоении многосложных слов удваивается все слово целиком, а не составляющие его компоненты. Например:

гань шо «осмелиться сказать»	*бу сяо* «не смеяться»
шочжо «говоря говорит»	*сяола* «засмеяться»
шо-шо «поговорить»	*сяо-сяо* «посмеяться»
нэн пао «быть в состоянии бежать»	*хуэй тяо* «уметь прыгать»
паоголай «перебежать»	*тяосацюй* «спрыгнуть»
пао-пао «побегать»	*тяо-и-тяо* «попрыгать»
гай сюси «должен отдохнуть»	*гай чан* «должен петь»
сюсигэ «отдыхал, приходилось отдыхать»	*чанго* «пел, певал»
сюси-сюси «отдохнуть, отдыхать немного»	*чан-и-чан* «попеть»

[1] *Ла*, *чжо* и т. п. в советской китаеведной литературе рассматриваются как различные видовые (или видовременные) суффиксы.— *Н. С.*, *В. С.*

Если мы назовем слова этого ряда «глаголами», то формы, которые приведены выше, и будут формами глаголов[1].

Основываясь на подобных формах, мы можем считать, что слова *шо* «говорить», *сяо* «смеяться», *пао* «бегать», *тяо* «прыгать», *чан* «петь», *сюси* «отдыхать» являются глаголами.

Некоторые грамматисты считают также, что *нэн* «мочь», *гань* «сметь», *хуэй* «уметь», *кэнь* «соглашаться» и т. п. сами по себе являются глаголами. Лу Чжи-вэй пишет, что «в качестве приглагольного дополнения могут выступать не только существительные и прилагательные. Например, *сян чифань* „собираюсь поесть" (дословно: „думаю есть"), *тянь хуэй гуа фын* „собирается ветер" (дословно: „небо может дуть ветер"), *во нэн бянь* „я могу измениться"»[2].

Люй Шу-сян и Чжу Дэ-си пишут: «*нэн* „мочь", *хуэй* „уметь", *гань* „сметь", *кэнь* „соглашаться" являются подлинными глаголами, которые могут самостоятельно выступать в качестве сказуемого, например: *во хуэй* „я умею", *ни нэн* „ты можешь", *та кэнь* „он согласен", *ни гань*? „ты осмеливаешься?"».

Однако, поскольку в качестве дополнений к ним всегда выступают глаголы, мы полагаем, что вместе с последними они составляют сложное целое — одну единицу»[3].

Такое толкование, на наш взгляд, является спорным. Конечно, перед этими словами можно поставить *бу* «не», например, *бу нэн* «не мочь», *бу хуэй* «уметь», *бу гань* «не сметь», *бу кэнь* «не соглашаться», однако после этих слов нельзя поставить *го*, *чжо*; у них также исключено удвоение. Что касается утверждения, что эти слова приобрели качества глаголов, благодаря способности самостоятельно выступать в качестве сказуемого, то ведь не можем же мы признать глаголами слова *идин* «наверняка», *бу* «не, нет», которые также могут самостоятельно выступать в роли сказуемого, например: *во идин* «я — наверняка», *та бу* «он — нет».

Имеется еще одна группа слов, впереди которых можно поставить такие слова, как *чжэнь* «поистине, действительно», *шифэнь* «весьма, полностью», *фэйчан* «чрезвычайно, необычайно», *хэнь* «очень», а после которых могут иметься *цзила* «в высшей степени», *дэхэнь* «очень, чрезвычайно». Некоторые из слов этой группы могут удваиваться. К односложным словам после удвоения, как правило, присоединяются суффиксы (*эр*, *ды* и т. д.). При удвоении двусложных слов удваивается каждый компонент, а не все слово в целом. Например:

Куай «радостный» — *чжэнь куай* «действительно радостный», *фэйчан куай* «необычайно радостный», *шифэнь куай* «весьма радостный», *хэнь куай* «очень радостный», *куай цзила* «в высшей степени радостный», *куай-дэхэнь* «чрезвычайно радостный», *куайкуайды* «радостный-прерадостный», *куайкуайр* «радостный-прерадостный»[4].

---

[1] Иногда говорят, что *ла*, *чжо* нельзя считать глагольными суффиксами, поскольку они еще не полностью приобрели характер суффиксов. Конечно, наряду с *чыла фань* «поел», *чжуаньчжо фань* «накладывает еду» можно сказать *чыбаола фань* «наелся досыта», *чжуаньманьчжо фань* «накладывает еду доволна», т. е. вставить *бао* «досыта» и *мань* «полностью» между глаголом и суффиксом. В этом случае трудно считать, что *чжо* и *ла* попрежнему являются суффиксами. Однако в большинстве случаев *чжо* и *ла* непосредственно сочетаются с глаголами, поэтому нельзя, исходя из немногочисленных исключений, отрицать их суффиксальный характер.

[2] См. «Гоюй даньиньцы цыхуэй» («Словарь односложных слов современного литературного языка»), стр. 57.

[3] Люй Шу-сян и Чжу Дэ-си, Юйфа сюцы цзянхуа, лекция 1, стр. 27.

[4] Удвоение дает интенсификацию качества.— *Н. С.*, *В. С.*

Гуанжун «славный, блистательный» — *чжэнь гуанжун* «поистине славный», *шифэнь гуанжун* «весьма блистательный», *фэйчан гуанжун* «необычайно славный», *хэнь гуанжун* «очень блистательный», *гуанжун-цзила* «в высшей степени славный», *гуанжун-дэхэнь* «чрезвычайно славный».

Если эту группу слов мы назовем прилагательными, то всё выше перечисленное и будут формы прилагательных. Эти слова мы можем отнести к одной категории.

Необходимо обратить внимание на то, что среди глаголов имеется небольшая группа слов, обозначающих психические явления, как, например, *сян* «думать», *ай* «любить», *па* «бояться» и др., формы которых имеют много общего с формами прилагательных. Так, например, впереди они могут сочетаться с *шифэнь* «весьма», *хэнь* «очень»; на конце они могут присоединять *дэхэнь* «очень, чрезвычайно» и т. д.

Сян «думать», *ай* «любить», как правило, употребляются в качестве переходных глаголов. После них обычно имеются дополнения. Только в выражениях *сян-дэ юань* «задумал далеко», *сян бу-минбай* «не понимать умом» (дословно: «думать не понимать») эти глаголы не принимают дополнений. Но после таких глаголов может стоять *дэ* или *бу*, за которыми в свою очередь идут прилагательные: это — специфическая для глагола форма. Когда слово *па* «бояться» имеет дополнение, оно является глаголом, когда же не имеет — оно является прилагательным. В построениях типа *па-дэ лихай* «ужасно бояться» *па* является глаголом.

Некоторые сочетания слов[1], по структуре являющиеся глагольно-объектными словосочетаниями (*шансинь* «печальный, скорбный», дословно: «ранить сердце») или атрибутивными словосочетаниями (*хайцзыци* «наивный», дословно: «ребяческий характер»; *кэхэнь* «ненавистный», дословно: «заслуживающий ненависти»), по своим свойствам соответствуют прилагательным. Из чего это явствует?

Чжан Чжи-гун говорит: «Вообще говоря, в качестве сказуемого в предложении-описании[2] непременно должно выступать „синчжуанцы“ — прилагательное или словосочетание с прилагательным в качестве главного элемента.

Однако некоторые словосочетания в целом, хотя и не имеют в своем составе прилагательных или же, если и имеют, то прилагательные в них не являются главным элементом, тем не менее и по значению, и по роли равны прилагательным... фактически такие словосочетания уже весьма тесно слились, и мы их обычно употребляем как слова. Поэтому все сочетания слов, относящиеся к разряду таких привычных словосочетаний, могут служить сказуемым в предложении-описании»[3].

Приведенные слова Чжан Чжи-гуна не объясняют причины данного явления. Мы, однако, должны спросить: почему эти словосочетания, хотя они и не включают прилагательных или включают, но не в качестве главного элемента, в целом все же по значению и по роли одинаковы с прилагательными? Почему другие словосочетания типа *чифань* «есть», *душу* «учиться» отличны от них? Если к этому вопросу подходить только с точки зрения семантики, то дать ясный ответ будет довольно трудно. Если же к вопросу подходить с точки зрения формы, то ответить на него проще,

---

[1] Упоминаемые здесь автором такие сочетания слов («цыцзу»), как *шансинь* «печальный, скорбный», в советской китаеведной литературе обычно рассматриваются как сложные слова.— *Н. С., В. С.*

[2] Перевод термина «мяосецзюй» заимствован из русского перевода книги Ва н Л я о-и «Основы китайской грамматики» (М., 1954).— *Н. С., В. С.*

[3] «Юйвэнь сюэси», 1952, май, стр. 45.

ибо словосочетания, о которых идет речь, обладают теми же формами, что и прилагательные:

Шансинь «печальный» — *чжэнь шансинь* «действительно печальный», *шифэнь шансинь* «весьма печальный», *фэйчан шансинь* «необычайно печальный», *хэнь шансинь* «очень печальный», *шансинь-цзила* «в высшей степени печальный», *шансинь-дэхэнь* «чрезвычайно печальный».

Возьмем четыре слова, для которых, по мнению Люй Шу-сяна и Чжу Дэ-си, трудно установить, чем они в своей основе являются — прилагательными или непереходными глаголами, и посмотрим, можно ли в этом разобраться, если будем исходить из формы? Можно. Слово *фулань* «сгнить, разложиться» может быть лишь глаголом, поскольку оно сочетается с *чжо* и *ла*, например: *На-куай жоу цзай фуланьчжо, фачула чоувэй* «Тот кусок мяса гниет — он дурно пахнет»; *На-куай жоу фуланьла, ба та дюла ба* «Тот кусок мяса сгнил — брось его».

Слово *фулань* не прилагательное, поскольку оно не может сочетаться с *хэнь, чжэнь, шифэнь, фэйчан, цзила, дэхэнь* и образовывать выражения *хэнь фулань* «очень сгнить», *чжэнь фулань* «действительно сгнить», *фулань-дэхэнь* «чрезвычайно сгнить», *фулань-цзила* «в высшей степени сгнить» и т. д. Слово *фулань* иной природы, чем слова *фухуа* «разложение» и *фубай* «гнилой, разложиться».

Что касается слов *циньжэ* «горячо любить, горячо любимый», *цинсин* «отрезветь, трезвый», *маму* «онеметь, бесчувственный», то они могут употребляться и как глаголы, и как прилагательные. Для различения принадлежности этих слов нужно опять-таки обратиться к их формам. Например: *Вомынь гай циньжэ-циньжэ* «Мы должны исполниться большой любовью» (глагол); *Тамынь лянгэ жэнь циньжэ-дэхэнь* «Они относятся друг к другу с большой любовью» (прилагательное); *Тады тоунао цинсинголайла* «Он отрезвел» (глагол); *Та ю хэнь цинсинды тоунао* «У него трезвая голова» (прилагательное); *Лян-чжи цзяо мамуцилайла* «Обе ноги онемели» (глагол); *Та ши игэ фэйчан мамуды жэнь* «Он крайне бесчувственный человек» (прилагательное).

Очевидно, что если брать в качестве объекта классификации изолированные слова, а в качестве критерия классификции слов по частям речи только одно значение и не исходить из формы, то все время будут встречаться трудности.

Сколько же в конце концов имеется форм в китайском языке? На сколько частей речи надо разбить китайские слова? На эти вопросы мы пока еще не можем ответить. Если изложенные выше принципы применимы, то хотелось бы, чтобы лингвисты совместно поработали бы в этом направлении, выискали бы формы и, «опираясь на формы, установили категории, суммировав которые можно было бы создать их систему»[1]. Тогда и части речи получили бы рациональное разграничение.

*

Имеются и другие лингвисты, которые считают, что слова вне предложения невозможно разграничивать по частям речи. Представителем этого направления является Ли Цзинь-си.

В работе «Новая грамматика современного литературного языка» он пишет: «Слова в предложении различаются по частям речи, вне предложения нет частей речи»[2], и далее: «В зависимости от своей позиции или функции в предложении все девять частей речи современного литера-

[1] Фан Гуан-тао, указ. соч., стр. 46.

[2] «Синь чжу гоюй вэньфа» («Новая грамматика современного литературного языка»), стр. 29, прим. 10.

турного языка[1] могут менять свою отнесенность к части речи; они не имеют строгого разграничения»[2]. Ли Цзинь-си считает, что изолированные слова невозможно классифицировать по частям речи. Это правильно. Однако он говорит: «Слова в предложении различаются по частям речи, вне предложения нет частей речи» — это уже неверно. Выражение «слова в предложении различаются по частям речи» означает, что слово принадлежит к определенной части речи, только когда оно находится в предложении; выражение «вне предложения нет частей речи» означает, что слово, будучи взято вне предложения, изолированно, не принадлежит ни к одной части речи. В действительности же разграничение слов по частям речи должно быть проведено в сфере самого языкового материала. Изменение формы отдельного слова, взаимные отношения слов, сочетания слов между собой — все это составляет область языкового материала. Когда из этого материала формируется предложение, тогда он (материал) поступает в область функционирования языка. Анализ предложения основан на логике, поэтому термины, применяемые при анализе предложения, как, например, подлежащее, сказуемое, определение и т. д., являются терминами логики. Именно в силу различия объектов изучения и к языковому материалу, и к членам предложения должна применяться различная терминология. В этом-то как раз и заключается теоретическое обоснование того, почему мы выступаем против утверждения, что слова разграничиваются по частям речи только в предложении, и стоим за разграничение частей речи исходя из формы. Кроме того, объективные факты языка говорят в пользу такого нашего утверждения. Выше отмечалось, что *игэ жэнь* «один человек», *саньгэ пинго* «три яблока», *хао-дэхэнь* «очень хорошо», *сяочжо* «смеясь, смеется» — не предложения, однако мы можем исходя из самого сочетания слов определить природу этих слов. Далее, если действительно «вне предложения нет частей речи», то при приведении примеров частей речи пришлось бы привлекать целые предложения. Однако в работе «Новая грамматика современного литературного языка» в разделе существительных в качестве примеров приводятся только слова: *цяо* «мост», *тайян* «солнце», в разделе прилагательных в качестве примеров даются только выражения: *ицзо чан цяо* «один длинный мост», *нагэ вэньхэды тайян* «то теплое солнце». Поскольку «вне предложения нет частей речи», то откуда же известно, что *цяо* «мост», *тайян* «солнце» являются существительными, а *ицзо* «один», *чан* «длинный», *нагэ* «тот», *вэньхэды* «теплый» являются прилагательными? Впрочем в последнее время Ли Цзинь-си сделал очень серьезные поправки к этим своим прежним формулировкам[3].

Выступая против положения о том, что слова вне предложения не могут быть классифицированы по частям речи, мы отнюдь не отрицаем тесной связи между анализом предложения и классификацией слов по частям речи. Поскольку в роли того или иного члена предложения должен выступать определенный строительный материал, необходимо остановиться на следующем вопросе.

Люй Шу-сян и Чжу Дэ-си в «Лекциях по грамматике и стилистике» считают, что глаголы и прилагательные могут выступать в роли подлежащего и дополнения. Например: *Мань ши хаоды, кэ бу яо тай мань* «Медленно — хорошо, однако не должно быть слишком медленно» (прилагательное в качестве подлежащего); *Бу дун цзюши бу дун, бу яо чжуан дун* «Не понимаешь, так не понимаешь, не надо прикидываться, что по-

---

[1] Так мы передаем по-русски китайский термин «гоюй».— *Н. С., В. С.*
[2] «Синь чжу гоюй вэньфэ», § 6, стр. 6.
[3] «Чжунго юйвэнь», 1953, сентябрь, стр. 10—11.

нимаешь» (глагол в роли подлежащего); *Бу па жэ чжи па лэн* «Не боится жары, только холода боится» (прилагательное в роли дополнения); *Дичжу па доучжэн* «Помещики боятся, что их „раскулачат“» (глагол в роли дополнения).

Чжао Юань-жэнь в «Грамматике пекинского разговорного языка» также признает, что глаголы могут употребляться в роли подлежащего.

В «Лекциях по грамматике», изданных группой изучения грамматики Института языкознания АН КНР, признается, что прилагательные и глаголы могут выступать в качестве дополнений.

Ли Цзинь-си, однако, придерживается другого мнения. Он пишет: «За последнее время грамматистами была выдвинута следующая точка зрения: „если основное значение слова не меняется, то его принадлежность к той или иной части речи тоже не меняется“.

Однако с точки зрения „членов“ предложения этот принцип оказывается неприменимым по следующим причинам: 1) во второй лекции Люй Шу-сяна — „Словарный состав“ — даются примеры перехода слов *вэйсянь* „опасный, опасность“, *цаньюй* „остаточный, остатки“, *куннань* „трудный, трудность“ и т. д. из разряда прилагательных в существительные, слов *цзюедин* „решать, решение“, *баогао* „докладывать, доклад“, *фамин* „открывать, открытие“ и т. д. из разряда глаголов в существительные, т. е. даются примеры действительного изменения категориальной природы слова. Значения слов при этом совершенно не меняются, однако с точки зрения членов предложения эти слова обязательно переходят в разряд существительных; 2) в тексте этой же работы говорится: „Если значение слова не меняется, а меняется его позиция, то надо выяснить, является ли это изменение общим или специфическим“[1].

Однако установить критерий этого „общего“ и „специфического“ довольно трудно... Не проще ли сказать, что все выступающее в качестве „подлежащего“, „дополнения“ и „присвязочного члена“ обладает, как правило, „свойствами существительного“... „Переход слова в иной разряд“ (не в разряд существительных) в данном случае невозможен. Поскольку в качестве подлежащего и дополнения чаще всего употребляются „существительные“, которые сами по себе распадаются на конкретные и абстрактные, постольку при употреблении в той же роли других частей речи, словосочетаний, придаточных предложений и т. п. требуются разъяснения, что они приобретают „свойства существительного“.

Только такой подход дает возможность считать, что подлежащее и другие основные члены предложения, пусть они выражены не существительным и не местоимением, все равно обозначают определенную вещь, определенный предмет; дает возможность легче схватить узловые моменты структуры предложения, концентрирует наши понятия, делает их более стабильными и едиными, способствует познанию основных законов грамматики и правильному их формированию»[2].

Все положения в приведенной цитате, исключая вопрос о «переходе слова в другую категорию», изложены вполне правильно. По нашему мнению, коротко можно сказать так: слова[3], употребленные в роли подлежащего и дополнения, являются абстрактными существительными; когда глагол употреблен в качестве подлежащего или дополнения, то его действие рассматривается как определенное явление, а глагол выступает наименованием этого явления; когда в качестве подлежащего или дополнения

---

[1] Т. е. является ли новая позиция обычной („общей“) для данного слова или же эта позиция необычна („специфична“).— *Н. С., В. С.*

[2] «Чжунго юйфа цзяочэн» («Учебник китайской грамматики»), ч. 1, стр. 67—68.

[3] Имеются в виду непредметные слова. — *Н. С., В. С.*

употребляется прилагательное, оно рассматривается так же, как наименование. Так, вышеприведенные слова *мань* «медленный», *жэ* «горячий», *доучжэн* «бороться», «раскулачивать», *ююн* «плавать» и т. д. выражают не действие или состояние, а служат наименованием действия или состояния.

После того, как этот вопрос освещен, мы можем перейти к вопросу о порядке слов.

Вообще говоря, в китайском языке существует следующий порядок слов: впереди идет подлежащее, затем — сказуемое; глагол ставится после подлежащего, дополнение следует за глаголом, определение ставится перед определяемым, поясняющие слова после поясняемых.

Порядок слов, а также учет взаимосвязей языкового материала (слов) с членами предложения помогают нам определить категориальную природу слов. Например, в качестве подлежащего и дополнения выступают существительные или местоимения.

В качестве поясняющего слова к глаголу обычно употребляется глагол или прилагательное.

Учет этих моментов оказывает определенную помощь при отнесении слов к той или иной части речи. Однако это всего лишь вспомогательное средство классификации слов по частям речи. Основным же критерием все же следует считать сочетаемость слов и взаимосвязь слов.

Нельзя сказать, что грамматисты ранее не опирались на форму при разграничении частей речи. Однако никто не брал ее в качестве единственного критерия.

В действительности же те, кто стремился разграничивать части речи, исходя из значения, встречаясь с практическими трудностями, неизбежно обращались к форме. Ван Ли решительно стоит на позициях семантической классификации слов. Он говорит: «В китайском языке разграничение слов по частям речи основывается почти исключительно на значении»[1]. Однако, когда он разграничивает числительные и прилагательные, он пишет: «Мы не можем считать числительные видом прилагательных, поскольку прилагательные могут самостоятельно выступать в качестве сказуемого, а числительные не могут (*тао хуа хун* „цветы персика красны“ — можно сказать, а *тао хуа сань* „цветы персика три“ — нельзя); числительные могут принимать счетные слова[2], а прилагательные не могут (можно сказать *сань-до тао хуа* „три персиковых цветка“, дословно: „три штуки персиковых цветка“, а *хун до тао хуа* дословно: „красный штука персиковые цветы“—нельзя). На наш взгляд, числительные в плане категорий мысли отличаются от местоимений, а в грамматическом употреблении отличаются от прилагательных. Ввиду этого лучше всего рассматривать их как самостоятельную категорию, что, по крайней мере, для китайского языка может считаться применимым»[3].

Люй Шу-сян и Чжу Дэ-си в «Лекциях по грамматике и стилистике» также пишут: «Большинство глаголов и прилагательных могут выступать в качестве дополнений некоторых глаголов, например: *бу па дацзи* „не бояться удара“ и *таньту фанбянь* „стремиться к удобству“. Эта способность выступать в качестве дополнений у ряда глаголов есть общее свойство глаголов и прилагательных, и нет необходимости считать, что *дацзи* „ударить“ и *фанбянь* „удобный“ превращаются в существительные.

Однако в выражениях *гэй та игэ чжундады дацзи* „нанести ему серьезный удар“ и *гэй та чжун-чжун фанбянь* „создать ему все удобства“,

---

[1] Ван Ли, Чжунго юйфа ганьяо, стр. 43.

[2] «Даньвэй минцы»— слова, служащие единицами счета, ставятся между числительными и существительными.— *Н. С., В. С.*

[3] Ван Ли, Чжунго юйфа лилунь, т. 1, стр. 26—27.

во-первых, употреблен глагол *гэй*, который обычно не принимает глаголов или прилагательных в качестве дополнения, во-вторых, перед словом *дацзи* стоит *игэ* „одна штука", а перед словом *фанбянь* стоит *чжун-чжун* „различного рода"; такое построение не свойственно глаголам и прилагательным, поэтому следует считать, что здесь слова *дацзи и фанбянь* уже превратились в существительные.

Большинство прилагательных может принимать *ла*, которое обозначает появление определенного качества или состояния. Например: *лянь хунла* „лицо покраснело". Здесь *хун* „красный" не следует считать глаголом. Однако во фразах *ба лянь и хун*, *ню тоу цзю цзоу* „лицо вспыхнуло, он отвернулся и пошел", *цунлай мэйю хунго лянь* „никогда раньше не краснел" слово *хун* употреблено так, как обычное прилагательное употреблено быть не может, поэтому необходимо признать, что здесь оно уже превратилось в глагол».

Из приведенных выше цитат нетрудно увидеть, как авторы пользуются формой для определения категориальной природы слова. Этот факт свидетельствует о том, что без опоры на критерий формы разграничение слов по частям речи будет затруднено или окажется совершенно невозможным.

Если при разграничении слов по частям речи исходить из структуры и при определении категориальной природы слова, т. е. принадлежности слова к той или иной части речи, опираться на форму, то можно избежать хлопот с «основной принадлежностью», «измененной принадлежностью» и т. д.

Выше уже говорилось о том, что в китайском языке у отдельно взятых слов изменение по формам представлено незначительно. Как правило, нет возможности определить свойства слова, взятого изолированно. Откуда же в таком случае выводится основная принадлежность слова? Можно опереться на значение, но поскольку нет никаких форм и есть лишь голая семантика, такой подход будет идеалистическим. Можно опереться на частоту употребления слова. Но это может лишь показать, что данное слово обычно употребляется в роли такой-то части речи, однако ничего не даст для проведения различия между «основной принадлежностью» слова и его «измененной принадлежностью».

Части речи являются структурными категориями, вне структуры не приходится говорить ни о каких категориях.

Могут спросить: «Значит, в нашем словаре невозможно указать на принадлежность слова к части речи?» Нет, не значит. Мы можем, исходя из постоянного употребления слова, указать, что это слово употребляется обычно в роли такой-то части речи. Если же еще привести для пояснения ряд примеров, то все будет в полном порядке.

Например, слово *мань* чаще всего употребляется в словосочетаниях *мань чэ* «медленный поезд», *цзоу-дэ хэнь мань* «идет очень медленно». Ничто не мешает нам отметить в словаре, что данное слово обычно употребляется как прилагательное. Однако нельзя говорить, что «прилагательное» есть «основная принадлежность» этого слова, поскольку изолированное слово не может иметь своей «основной принадлежности».

Мы неоднократно подчеркивали, что критерием для разграничения слов по частям речи должна быть форма. Значит ли это, что мы полностью отбрасываем значение? Нет, не значит. Мы отказываемся от конкретного специфического значения слова, поскольку оно относится к области семасиологического исследования. Что касается абстрактного, общего значения, то оно заслуживает нашего самого пристального внимания. Однако это значение воплощено не в отдельном слове, взятом изолированно; оно воплощено в сочетании слов друг с другом, во взаимосвязи слов.

Так называемая языковая форма есть результат выражения значения, а языковое «значение» опять-таки воплощено в форме. «Объектом изучения грамматики как науки является форма; надо, исходя из формы, выявлять заключенное в ней значение». В своей работе «Чжунго вэньфа лунь» («Китайская грамматика») Хэ Жун выделил шесть способов выражения значения, присущие различным языкам: порядок слов, сочетаемость слов, повтор, звуковые изменения, силовое ударение и тон, аффиксация. Эти шесть способов и являются той формой, о которой мы говорим. Очевидно, что форма и значение тесно связаны друг с другом.

Части речи — категории, объективно существующие в языке,— это категории, которые выражаются самим языком. Каким образом они выражаются самим языком? Они выражаются посредством форм. Так называемые формальные особенности слов, принадлежащих к определенной части речи, представляют собой их общие черты, выраженные посредством формы.

Например, в выражениях *во шо* «я говорю», *во чи* «я ем», *во сяо* «я смеюсь», *во цзоу* «я иду» мы имеем сочетания четырех различных слов с одним и тем же словом. У всех этих сочетаний имеется определенное общее значение. Отсюда видно, что эти четыре различные слова должны быть отнесены к одной категории.

В выражениях *во лу* «я дорога», *во туй* «я нога» отсутствует какое-либо значение. Это свидетельствует о том, что слова *лу* и *туй* не входят в ту же категорию, что и *шо* «говорить», *чи* «есть» и т. п.

Если же взять сочетания этих последних слов с одним каким-либо другим словом, например, *и-тяо лу* «одна дорога», *и-тяо туй* «одна нога», то у этих сочетаний окажется общее значение. Это свидетельствует о том, что указанные слова принадлежат к другой категории.

Если же теперь соединить слова *шо* «говорить», *чи* «есть» и др. с *и-тяо* «одна штука» в выражения: *и-тяо шо* «одна штука говорить», *и-тяо чи* «одна штука есть», *и-тяо сяо* «одна штука смеяться», *и-тяо цзоу* «одна штука идти», то опять-таки не получится никакого значения.

Соединим теперь *шо* «говорить», *чи* «есть» с *чжо* (также и с *ла*, *го*)[1]. Построения *шочжо* «говоря, говорит», *чичжо* «кушая, кушает», *сяочжо* «смеясь, смеется», *цзоучжо* «идя, идет» снова имеют общее значение. Если же соединить слова *лу* «дорога» и *туй* «нога» с *чжо* (*ла*, *го*) в построения *лу чжо*, *туй чжо*, то снова не получится никакого значения.

Отсюда мы утверждаем, что *шо* «говорить», *сяо* «смеяться», *чи* «есть, кушать», *цзоу* «идти» входят в одну категорию; *лу* «дорога», *туй* «нога» также относятся к одной категории.

Именно в этом смысле мы говорим, что категории слов выражаются присущими самому языку средствами выражения значения или что слова каждой категории обладают своими формальными особенностями, отличающими их от слов другой категории.

Перевели *Н. Солнцева и В. Солнцев*

---

[1] Различные видовые суффиксы — *Н. С., В. С.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Е. Р. КУРИЛОВИЧ

ЗАМЕТКИ О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА

§ 1. Предпринимавшиеся доныне попытки определения семантических систем[1], по крайней мере относительно некоторых семантических категорий, следует рассматривать как исходную точку для дальнейших исследований, которые решат и вопрос о правильности этих определений. Общим для всех этих попыток является, повидимому, понятие противоположности (opposition). Вопрос состоит в том, можно ли считать противополагаемые друг другу значения элементарными единицами, иначе говоря, вправе ли мы, и на каком основании, принимать для слова или для грамматической категории (например, множественного числа) одно общее значение, заключающее несколько частных, т. е. значение, осуществляемое в нескольких употреблениях. Многие современные языковеды (главным образом представители так называемых структуралистических направлений) дают на этот вопрос положительный ответ. Если они правы, возникает проблема метода, позволяющего определить общее значение на основе непосредственных данных, т. е. памятников языка, диалектологических записей, наблюдений над фактами разговорного языка и т. д.

Р. Якобсон пользовался терминами «основное значение» (Grundbedeutung) и «частные значения» (spezifische Bedeutungen), среди которых он выделял еще «главное значение» (Hauptbedeutung)[2]. Не трудно понять, что «основное значение» соответствует здесь термину «общее значение». Начиная с 1935 г., автор настоящей статьи употребляет термины «первичная» и «вторичная» (семантическая) функция[3]. «Первичная функция» совпадает с «главным значением» у Якобсона, «вторичные функции» тождественны с прочими «частными значениями»[4]. Употребляемые в разговорном языке выражения: «собственное (буквальное) и переносное значение» (sens propre, sens figuré) предполагают существование какой-то иерархии между разными употреблениями слова. Понятно, что непо-

---

[1] Семантические в противоположность синтаксическим. Термин же лексический относится к изолированным фактам в отличие от фактов, подчиняющихся законам грамматических явлений языка. Ср. лексикализация и грамматикализация. Эти две противоположности скрещиваются.

[2] См. R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 6, 1936, стр. 244, 252—253.

[3] См.: «Études indo-européennes», I, Kraków, 1935, стр. 197; «Le problème du classement des cas», «Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego», zesz. IX, Kraków, 1949, стр. 26, где различаются семантические и синтаксические функции, из которых только первые подвергаются здесь наблюдению; «L'accentuation des langues indo-européennes», Kraków, 1952, стр. 46—49, 499—500.

[4] Общее значение (Grundbedeutung) осталось при этом в стороне.

средственно данными являются значения «частные», выступающие в конкретных условиях (в контексте).

§ 2. Важность контекста издавна признавалась не только языковедами, но и авторами практических словарей. В известных словарях издательства Туссэна-Лангеншейдта применялся целый ряд условных знаков, определяющих обстановку, ситуацию, контекст, в которых данное слово встречается в специфическом употреблении. Например, изображения цветка, якоря, зубчатого колеса, скрещенных молотов, ноты и т. п. обозначали соответственно область ботаники, судоходства, техники, горного дела, музыки и т. п. (по Словарю Ушакова: бот., мор., тех., горн., муз.). Тот факт, что значение слова составлено из элементов самостоятельных плюс элементов, придаваемых ему контекстом («полем употребления»), К. Бюлер иллюстрирует (Sprachtheorie, 1934, стр. 180—181) следующей аналогией: долгота музыкального тона дана с самого начала формой ноты, но высота его обусловлена позицией ноты в отношении к окружающим нотам.

Под контекстом в широком смысле мы разумеем здесь не только словесную обстановку, но и те элементы внешней ситуации, которые определяют значение. Контекст в этом значении играет иногда решающую роль, например, при местоимениях и местоименных наречиях. Такие слова, как *я*, *ты* и т. п., получают свое полное содержание только в отношении к внешней ситуации; с другой стороны, *этот*, *тот* и подобные могут или обозначать какой-либо предмет, или относиться к слову (существительному) контекста. Те элементы ситуации или контекста, которые позволяют нам определить содержание местоимений, мы называем указательным контекстом (Zeigfeld Бюлера).

В данном случае мы имеем в виду не указательные функции местоимений, но семантические функции других частей речи, имеющих самостоятельное коммуникативное (символическое) содержание. Следует строго различать семантические и синтаксические контексты. Синтаксическое употребление слов влечет иногда за собой рамочное изменение значения, как бы переход в другую часть речи. В предложении *Слепые увидят, глухие услышат* прилагательные употреблены самостоятельно, без поддержки определяемого ими существительного, и хотя по форме остаются прилагательными, все-таки их синтаксическая самостоятельность подвергает их влиянию семантических факторов, придающих им значение, свойственное существительным (слепые, глухие люди). Существительные, употребляемые исключительно в синтаксической функции определения глагола, переходят в наречия; ср. старые формы творительного падежа *верхóм*, *кругóм*.

Что же касается семантического контекста, то самое главное здесь то, что некоторые — именно вторичные — употребления слова определяются посредством семантической обстановки — в противоположность первичной функции, которую нельзя определить контекстом.

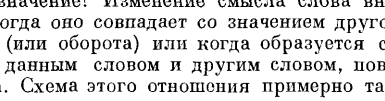
В некоторых случаях определение элементов, составляющих контекст, не представляет никаких затруднений, особенно, когда дело идет не об обособленных словах, а о целых грамматических категориях. Так, когда язык имеет только одну форму для перфекта, или неопределенного прошедшего (passé indéfini), и для аориста, или определенного прошедшего (passé défini), первичною является функция неопределенного прошедшего. Определенное прошедшее обусловлено контекстом, а именно либо наречием, либо другими, глагольными формами, к которым относится определенное прошедшее (главным образом в тексте рассказа). Легко устанавливаются контексты в большинстве случаев и для косвенных падежей. Употребление данного косвенного падежа обусловлено

или глаголом (*поднять руку*, *махнуть рукой*), или семантикой глагола в тесной связи с зависимым от него существительным (например, *он ехал всю ночь*: глагол движения и существительное, означающее промежуток времени).

§ 3. Определение же семантического контекста лексических единиц — дело гораздо более сложное. Систематическое исследование этой проблемы — одна из важнейших будущих задач языковедения, особенно семантики[1]. Мы здесь оставляем ее в стороне, чтобы перейти к другому вопросу: все ли вызываемые семантическим контекстом оттенки значения интересуют языковеда или только некоторые из них?

Одним из важнейших принципов языковедения является следующий: из того факта, что данное слово отражает две или несколько разных физических или психических действительностей, не всегда следует делать заключение о его многозначности (полисемии). Никто не сомневается в том, что с лингвистической точки зрения значение слова *есть* в сочетаниях *есть личницу* и *есть яблоки* тожественно, хотя физиологическая разница между этими двумя действиями довольно значительна[2]. Разницы между *мыть* и *стирать* не существует в немецком и английском языках, в которых соответственный термин (нем *waschen*, англ. *to wash*) однозначен[3]. Руководясь контекстом, говорящий механически добавляет или отнимает от общего значения слова семантические элементы, являющиеся составной частью не данного значения, а контекста. Здесь мы имеем дело лишь с мнимым влиянием контекста на значение.

В каком же случае можно говорить о действительном влиянии контекста на значение? Изменение смысла слова внутри контекста заметно тогда, когда оно совпадает со значением другого, существующего в языке слова (или оборота) или когда образуется семантическое отношение между данным словом и другим словом, повторяемое в системе данного языка. Схема этого отношения примерно такая:



(= слово C_1 в частном контексте)

Слово C_1^1 — это, с одной стороны, C_1 с вторичной семантической функцией, с другой стороны, синоним слова C_2 или слово, играющее по отношению к C_2 роль производного (конечно, только по смыслу, а не по звуковой форме). Формально C_1^1 совпадает с C_1, семантически же — с C_2.

Пример: слово *морда*. В первичном значении оно употребляется по отношению к животным, во вторичном, более или менее обусловленном контекстом и внешней ситуацией, по отношению к человеку. Это вто-

[1] Так, например, в выражении *каменное сердце* прилагательное может быть употреблено или в собственном, или в переносном значении. В первом случае речь идет о каменном изображении сердца. Во втором случае переносное употребление прилагательного зависит от такого же употребления существительного (в значении «чувствительность, характер» и т. п.). Переносное значение слова *сердце* само обусловлено дальнейшим семантическим контекстом (в котором, например, говорится о психических чертах какого-нибудь лица).

[2] Ср. L. Zawadowski, Rzeczywisty i pozorny wpływ kontekstu na znaczenie, «Sprawozdania Wrocławskiego towarzystwa naukowego», R. 4, 1949— Dodatek 2, Wrocław, 1952.

[3] Несмотря на то, что *он моет руки* и *он стирает белье* передается одним глаголом (например, англ. *he washes his hands, he washes his linen*).

ричное значение является стилистически сильно подчеркнутым вариантом (синонимом) слова *лицо*[1].

Вторичное значение слова *вошь* встречаем, например, в термине *растительная вошь*, который, в свою очередь, является синонимом слова *тля*. Между термином *растительная вошь* и словом *тля* существует только разница стилистического их употребления (один чаще в научной, другой — в разговорной речи), при тожественности коммуникативного (символического) содержания. Этот пример отличается от предыдущего тем, что здесь целая группа[2] (*растительная вошь*) входит в синонимическое отношение с другим словом (*тля*), но в переносном смысле употреблено только *вошь*, в то время как термин *растительная*, включенный, впрочем, с самого начала в понятие «тля», сохраняет свое значение.

Синонимы интересуют нас здесь постольку, поскольку они связаны с многозначностью (полисемией). Экспрессивные формы и стилистические варианты (оба эти рода вариантов можно бы объединить общим термином с т и л и с т и ч е с к и х в широком смысле слова) могут, конечно, являться независимыми от контекста, самостоятельными словами; ср. разницу экспрессивности между *отец* и *батюшка*, *живот* и *брюхо* и т. п.; с другой стороны, стилистическую разницу: *супруга* и *жена*, *священник* и *поп* и т. д. Во многих случаях разницы эти передаются в русском языке уменьшительным суффиксом (*водка — водочка*, *чаю — чайку бы попить* и т. п.) или противопоставлением родного и иностранного слова (*самолет—аэроплан*). В таких случаях экспрессивный или стилистический оттенок является первичной семантической функцией синонима.

Но большее значение для семантической теории представляют такие синонимические слова, экспрессивность или стилистическая функция которых не дана (как в случае *батюшка*) с самого начала, но объясняется их вторичной семантической функцией (как в примере *морда*).

Действительное влияние контекста на значение происходит также в тех случаях, когда языковой контекст образует с данным словом слитную семантическую единицу, значение которой не отвечает сумме их значений, как, например, *собаку съесть*, где целое выражение обусловлено семантическим контекстом («В науках, что называется, собаку съел». Салтыков-Щедрин). Существенным признаком фразеологического оборота является как раз его г л о б а л ь н о е значение, не разделимое на семантические элементы, отвечающие его членам.

В случае метафоры, такой, как *владыка моря* (кит), к контексту, определяющему значение слова *владыка*, относится, кроме дальнейших элементов, и *море*, употребляемое здесь в собственном значении. Но в обороте *собаку съесть* ни один из двух членов не образует семантического контекста другого; контекст влияет на фразеологический оборот как на семантическую единицу.

§ 4. Все это напоминает аналогичные явления в фонетике. Один и тот же языковой звук может, с одной стороны, иметь две разные фонологические функции, с другой же — представлять собой комбинаторный вариант другого звука. В определенном положении (в конце слова) русские звонкие *б*, *д*, *г* совпадают с *п*, *т*, *к*, которые, таким образом, приобретают две функции: первичную функцию *п*, *т*, *к* и вторичную *б*, *д*, *г* (например, в *боб*, *год*, *враг*). С другой стороны, *п*, *т*, *к* являются комбинаторными вариантами звонких (в конце слова). П о н я т и е к о м б и н а т о р-

[1] Ср. определения значения слова *морда* у Ушакова: «1) Передняя часть головы животного, соответствующая лицу у человека; 2) Лицо (вульг.)... Некрасивое, безобразное лицо; человек с таким лицом (вульг. пренебр.)».

[2] В значении не «синтаксическая группа», а «идиоматическое словосочетание» или «оборот».

ных вариантов совпадает здесь с чередованием самостоятельных фонем (*б:п*, *д:т*, *г:к*). Но термин «комбинаторные варианты» употребляется и в более широком значении, например, в случае разных произношений немецкого *k* в *Kind*, *Kahn*, *Kuh* или русского *а* в *брат* и *брать*. Такие варианты большею частью не сознаются говорящими. Палатальное (передненёбное) *k* в *Kind* равняется фонеме *к* плюс мягкость, которая, не встречаясь в других фонетических условиях, ощущается говорящими как относящаяся только к обстановке (т. е. к следующей гласной).

Такие варианты, не имеющие значения для фонологической системы языка (хотя и могут стать исходной точкой фонологических изменений), напоминают мнимое влияние контекста (вроде *есть яичницу: есть яблоки*), которое в определенный момент истории языка может перейти в действительное влияние контекста и повлечь за собой дифференциацию единого термина.

Для независимых от контекста экспрессивных или стилистических вариантов (вроде *батюшка*) тоже имеется фонетическая аналогия, именно в виде так называемых факультативных вариантов. Так, например, *ч* в *конечно* и подобных словах произносят или *ч* или *ш*. В некоторых говорах вместо взрывного *г* произносят соответствующий щелевой. У многих говорящих по-русски взрывной и щелевой—факультативные варианты, зависящие от внешних условий (стиля) разговора. Аналогичные явления наблюдаются и в области аканья.

Наконец, и фразеологический оборот с его глобальным значением находит свое соответствие в фонетике. Он напоминает стягивание двух фонем в одну новую по сравнению с ее составными частями. Например, в санскрите *а* + *i* переходит в новую фонему *е*, занимающую определенную позицию в фонологической системе этого языка.

§ 5. Что касается мотивированных (производных) слов, то здесь вопрос вторичных семантических функций более сложен, так как, с одной стороны, семантический контекст влияет на смысл слова как целого, с другой же стороны, основа производного слова часто модифицирует значение аффикса. Основа является тогда семантическим контекстом аффикса.

Пример на первый случай: *вьюн* (<*виться*) 1) длинная, юркая рыба; 2) переносное значение, синоним к «юркий, вертлявый человек». Этот случай не отличается от вышеприведенных примеров (*морда*, *тля*).

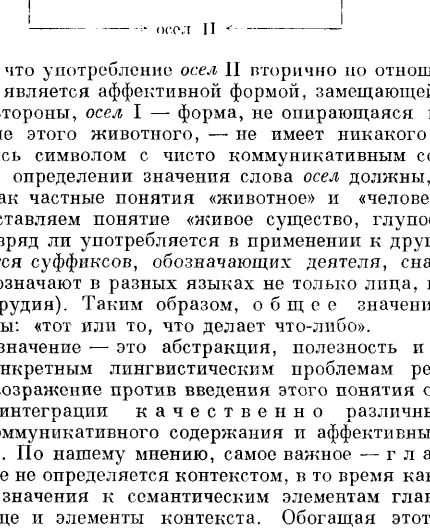
Рассматривая, с другой стороны, например, производные на *-щик* (*-чик*), мы убеждаемся, что главной (первичной) функцией этого суффикса является образование отыменных названий лиц. На каких же объективных лингвистических фактах основано это наше убеждение или языковое чутье? Закон словопроизводства допускает образование посредством суффикса *-щик* (*-чик*) названий лиц и от имен, и от глаголов: *суконщик*, *угольщик*; *покупщик*, *переписчик*. Это, конечно, влечет за собой и разницу в семантическом оттенке производного слова. В первом случае подчеркнуто отношение к обозначаемому основным словом предмету (*сукно*, *уголь*), во втором — деятельность (*покупать*, *переписать*). Возникает вопрос, важны ли эти оттенки с лингвистической точки зрения или нет. Сопоставление синонимов (*покупщик — покупатель*, *переписчик — писатель*, причем *-тель* обозначает исключительно деятельность) показывает, что 1) оттенок деятельности, вызванный глагольной основой, следует считать самостоятельным, находящимся и в других суффиксах, и что, следовательно, 2) оттенок этот является вторичной семантической функцией суффикса *-щик*, стилистически подчеркнутого (разговорного) в сопоставлении с *-тель*.

Серии производных слов, объединенных общим суффиксом (вообще

аффиксом), разбиваются, таким образом, на несколько групп, причем внутри каждой из них суффикс сохраняет единство своей функции. Но между этими функциями существует иерархия, хотя в конкретных случаях ее иногда трудно определить.

§ 6. До сих пор мы пользовались терминами «первичная» и «вторичная» функция, соответствующими главному и (остальным) частным значениям, не обращая пока внимания на общее значение в понимании Якобсона. Оно является своего рода абстракцией, с трудом поддающейся формулировке.

Например: рассматривая слово *осел* (I — животное, II — глупый или упрямый человек), мы не сомневаемся в том, что II—значение переносное и вторичное. Этимология дает нам, конечно, только хронологическую последовательность I и II, не решая проблемы синхронической иерархии. Значения I и II имеют общий семантический элемент[1], черту глупости или упрямства. Значение II является метафорой с аффективным оттенком, опирающейся на существование в языке термина нейтрального (с аффективной точки зрения), имеющего чисто коммуникативное содержание (т. е. только коммуникативную функцию, без аффективной примеси). Итак:



Это значит, что употребление *осел* II вторично по отношению к *осел* I, так как *осел* II является аффективной формой, замещающей термин *упрямец*. С другой стороны, *осел* I — форма, не опирающаяся на какое-либо другое название этого животного, — не имеет никакого аффективного оттенка, являясь символом с чисто коммуникативным содержанием.

В общем определении значения слова *осел* должны, таким образом, отпасть как частные понятия «животное» и «человек», вместо которых мы подставляем понятие «живое существо, глупое и упрямое». Но слово *осел* вряд ли употребляется в применении к другим животным.

Что касается суффиксов, обозначающих деятеля, снабженные ими слова часто обозначают в разных языках не только лица, но и животных и предметы (орудия). Таким образом, общее значение этих производных было бы: «тот или то, что делает что-либо».

Общее значение — это абстракция, полезность и применимость которой к конкретным лингвистическим проблемам решит будущее. Наше личное возражение против введения этого понятия основано на невозможности интеграции качественно различных элементов, а именно — коммуникативного содержания и аффективных (стилистических) оттенков. По нашему мнению, самое важное — главное значение, то, которое не определяется контекстом, в то время как остальные (частные) значения к семантическим элементам главного значения прибавляют еще и элементы контекста. Обогащая этот контекст, мы получаем дальнейшие частные оттенки частных значений и т. д. Известно, что это семантическое разветвление иногда довольно усложнено.

§ 7. В тесной связи с первичной и вторичными семантическими функциями находится и теория кальки. Объяснение кальки, как вообще объяснение любого языкового нововведения, будет удовлетворительно тогда, когда примет форму пропорции, иллюстрирующей подражание образцу.

[1] Если нет общих семантических элементов между I и II, мы имеем дело с двумя разными словами (омонимами).

Так как кальки образуются двуязычными субъектами, термины пропорции принадлежат в этом случае двум разным языкам. Так, например, в случае французского *gratte-ciel* «небоскреб», являющегося калькой английского *sky-scraper*, действует пропорция: англ. *sky-scraper* I: англ. *sky-scraper* II = франц. *gratte-ciel* I:?

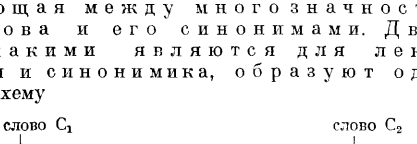
Слово *sky-scraper* имеет первичное значение деятеля (nomen agentis с морфемой *-er*): «тот (или то), что чешет, скребет». Значение «многоэтажное здание» является вторичным (в английском слово употребляется и в смысле: «человек длинный и худощавый»). Французский язык образует сложные nomina agentis, прибегая к типу с глаголом в первом члене (*gratte-ciel*).

Само по себе *gratte-ciel* могло бы употребляться и в смысле «высокое дерево», «громоотвод», «самолет» и т. п. Для всех этих значений «небоскреб» был бы подходящей метафорой, но специфическое значение «многоэтажный дом» заимствовано из английского.

Калькируя иностранный термин, мы придаем родному слову, уже существующему или нарочно для этой цели образованному, значение которого совпадает с первичным значением иностранного, вторичное (переносное, производное) значение последнего. Именно это подразумевает под «передачей внутренней формы» иностранного слова Л. А. Булаховский («Введение в языкознание», II, 1953, стр. 125)[1].

Есть два главных источника обновления родной лексики: с одной стороны, изменение значений, т. е. употребление существующих уже слов в новом смысле, а с другой стороны, образование новых слов по законам словопроизводства. Те же две возможности существуют по отношению к кальке. Нуждаясь в родном слове, в которое можно бы вложить специфическое иностранное содержание, мы или ищем и находим подходящую форму в актуальной лексике, или ее образуем. Единственная разница между внутренней эволюцией и заимствованием значения та, что в последнем случае мы подбираем форму (старую или новую), первичное значение которой совпадает с первичным значением иностранного образца, и придаем ей вторичное значение последнего.

§ 8. Различие между первичной и вторичными семантическими функциями слова и их определение, без сомнения, важно для практической работы лексиколога. Но еще важнее внутренняя связь, существующая между многозначностью (полисемией) слова и его синонимами. Две области проблем, какими являются для лексиколога полисемия и синонимика, образуют одно целое. Рассматривая схему



мы замечаем, что переход от C_1 до C_1^1 совершается для одного и того же слова; это переход от первичного к вторичному значению. С другой стороны, C_2 и C_1^1 — две разные лексические единицы, но с общим коммуникативным содержанием и стилистическим оттенком в C_1^1. Если C_1^1 представляет собой вторичную функцию C_1, то в случае отношения C_2:C_1^1

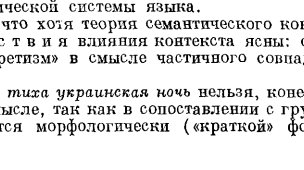
[1] Таким образом, «внутренняя форма» совпадает с «главным значением» или «первичной семантической функцией» слова.

можно говорить о первичной и вторичной форме (с тожественным содержанием) или о стилистическом чередовании форм.

И в грамматике наряду с первичными и вторичными функциями мы различаем первичные и вторичные формы. Значение сравнительной степени связано в английском языке или с морфемой *more* (+ положительная степень), например, *more convenient* «удобнее», или с суффиксом *-er*, например, *clearer* «чище». Но эти два приема не равноправны: суффикс *-er* прибавляется только к прилагательным односложным или несущим ударение на последнем слоге. Прилагательные же с другим местом ударения, не поддающимся положительному определению[1], образуют сравнительную степень посредством прибавления *-er*. Итак, первичной формой является описательное (перифрастическое) образование компаратива[2].

§ 9. Определение контекста иногда затруднительно, но в таких случаях имеется еще один критерий, тесно связанный с предыдущим. Это критерий максимального различия, состоящий в том, что значения или формы имеют первичную функцию в тех условиях, в которых максимально различаются, вторичную же там, где разница между ними частично исчезает. Разница между C_1 и C_2 (например, *осел*: *упрямец*) касается коммуникативного содержания, но в случае C_1^1 (вместо C_2) *дело уже только в* экспрессивном оттенке[3]. То же самое происходит и в области формы. Разница между *convenient* и *more convenient* — разница слова и группы слов, но *clear:clearer* является только противоположением двух простых слов. Вопрос, какое предложение — с глагольным или именным сказуемым — является первичной формой в индоевропейских (и других) языках, нетрудно решить, пользуясь критерием максимального различия. От синтаксической группы предложение с глагольным сказуемым отличается формально (морфологически) наличием личного глагола (*manus manum lavat*), но предложение с именным сказуемым (*omnia praeclara rara*) — только специфической для предложения интонацией[4]. Таким образом, первичная и характерная форма предложения — предложение с глагольным сказуемым.

§ 10. Иногда семантическую систему языка приравнивают к сети, образующейся вследствие разложения действительности (как физической, так и психической) на элементы. Таким образом, ячеи сети различны в разных языках по форме и величине. Эта метафора допускает более целесообразную интерпретацию. Сеть состоит из нитей и узлов:



[1] Нельзя определить их иначе как термином: с неконечным ударением.

[2] Было бы, конечно, неправильно считать разными формами те, различие которых объясняется чисто фонологически. Морфологическая структура немецких форм множественного числа *Geister* (окончание *-er*) и *Wälder* (*-er* с так называемым Umlaut'ом) тожественна, так как отсутствие изменения корневой гласной в *Geister* вытекает исключительно из фонетической системы языка.

[3] Из этого следует, что хотя теория семантического контекста сама по себе еще не разработана, следствия влияния контекста ясны: они лучше всего определяются термином «синкретизм» в смысле частичного совпадения или приближения значения двух слов.

[4] Предложение типа *тиха украинская ночь* нельзя, конечно, признать номинальным в принятом выше смысле, так как в сопоставлении с группой (*тихая украинская ночь*) оно характеризуется морфологически («краткой» формой прилагательного).

Узлы представляют собой пункты встречи первичных семантических функций с первичными формами. Вертикальные же нити — вторичные функции, не имеющие специальной формы (=не пересеченные горизонталями). И наоборот, отрезки горизонтальных нитей, не пересеченные вертикальными, соответствуют вторичным формам.

Понятно, что узлы образуют, так сказать, остов или скелет целой системы. Вторичные функции опираются на первичные, вторичные формы основаны на первичных. Соотношению между основным и производным словом соответствует переход от узла к узлу (изменение формы и функции).

§ 11. Поверхностному наблюдателю может показаться, что лексикологическое исследование пользуется менее точным методом, чем грамматический анализ. В действительности общая схема исследования в обоих случаях одна и та же: определение для данной формы первичной (т. е. главной) и вторичных функций, для данной же функции — первичной (главной) и вторичных форм. Полисемия и синонимика, влияние контекста на значение и чередование форм, неразрывно между собой связанные, создают единство как грамматического, так и лексического исследования, придавая и этому последнему строго научный характер.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

О. С. АХМАНОВА

О ПОНЯТИИ «ИЗОМОРФИЗМА» ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

(В связи с вопросом о методе лексикологического исследования)

Вопрос об «изоморфизме» лингвистических категорий затрагивался уже на страницах журнала «Вопросы языкознания», но только попутно, в связи с изложением более общих вопросов[1]. Возрастающий интерес к вопросам метода лингвистического исследования вообще и лексикологического исследования в частности (особенно в связи с не преодоленным еще отставанием теоретической лексикологии от других языковедческих дисциплин — фонетики и грамматики) заставляет подвергнуть этот вопрос специальному рассмотрению.

Как известно, последние 20—25 лет развития идеалистического языкознания характеризуются тем, что неососсюрианство (лингвистический структурализм) вновь и вновь возвращается к идее создания единого метода языковедческого исследования, одинаково применимого для фонетики, грамматики, лексикологии, стилистики, диалектологии и т. д. Взятые в целом поиски единого метода лингвистического исследования обосновываются следующими соображениями. Современная наука вообще якобы тяготеет к структурализму, т. е. стремится к разработке таких методов и приемов, которые давали бы возможность создавать схемы, пригодные для описания очень широких классов и разновидностей явлений на основе установления однотипности отношений между ними. Иначе говоря, современная наука характеризуется тем, что она перешла от изучения отдельных явлений в их конкретной индивидуальной реальности к рассмотрению наиболее общих о т н о ш е н и й между ними. Есть даже ученые, которые считают, что вообще можно говорить о любой области человеческого знания как о науке только тогда, когда она достигла этого этапа в своем развитии, т. е. перешла от рассмотрения отдельных явлений к отысканию метода удобного и универсального описания общих однотипных отношений[2].

Вопрос о перестройке также и гуманитарных наук на структуралистической основе имеет не менее чем пятидесятилетнюю давность. В ряде случаев его постановка характеризуется подчеркиванием необходимости отвлечения от реальности, от материальности, от индивидуальной кон-

---

[1] См.: А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова, О курсе «Общее языкознание», ВЯ, 1953, № 4, стр. 74; О. С. Ахманова, Глоссематика Луи Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания, ВЯ, 1953, № 3, стр. 39—41; В я ч. В с. И в а н о в [Рец. на кн.:] J. Kuryłowicz, L'accentuation des langues indo-européennes, ВЯ, 1954, № 4, стр. 125—126.

[2] Так, например, в физике волновое уравнение одинаково успешно применяется для описания как электромагнитного, так и акустического поля (несмотря на то, что физически электромагнитное и звуковое поле представляют собой два вполне определенно различающихся объекта).

кретной специфики исследуемых явлений как вторичных (производных, несущественных и т. п.) и концентрации внимания на отношениях между ними как первичных (объективных, составляющих основу научного познания и т. п.). Именно этим характеризовалась, например, борьба Э. Гуссерля за «научную логику» (собственно —«формальную онтологию»), противопоставлявшуюся им старой «эмпирической логике». В своих известных «Логических исследованиях» Гуссерль стремился доказать, что если «индивидуальные» истины содержат эксплицитно или имплицитно утверждение о фактическом существовании отдельного и индивидуального, то «всеобщие» истины от этого избавлены, и, таким образом, логическая истина не может зависеть от данных эмпирических условий, а выступает как всеобщая и необходимая[1].

В связи с изложенным остановимся на выяснении следующего, в высшей степени существенного для языкознания вопроса: чем объясняется то, что в области естественных наук структуралистическая методика, связанная с неограниченным применением универсального математического аппарата, повидимому, настолько себя оправдала, что применяется всеми современными специалистами в данной области независимо от того, каким является их общефилософское мировоззрение, тогда как в языкознании структурализм не только не получил общего признания, но, напротив, активно отрицается как открыто идеалистическое направление в языкознании лингвистами, подходящими к исследованию языка с позиций философии диалектического материализма. Вместе с тем его совершенно игнорируют многие из наиболее известных исследователей конкретных языков независимо от их принадлежности к тому или другому лингво-философскому направлению[2]. Вопрос о структурализме в языкознании осложняется еще и тем, что эта дисциплина стоит как бы на стыке гуманитарной и точной областей знания: как известно, например, звуки языка и вообще его фонетическая система плодотворно изучаются физическими методами. Поэтому если принять, что структуралистическое исследование является правильным и научным для области точного знания и непригодным и антинаучным для спекулятивных дисциплин, то надо будет заключить, что в той мере, в какой язык поддается точному анализу физическими методами, структурализм окажется правильным научным методом исследования этой сложнейшей области знания; в той же мере, в какой лингвистика выходит за пределы, достижимые для физического исследования, методы структурализма перестают быть надежным средством научного исследования и становятся не только совершенно неприемлемыми, но и просто вредными, искажающими предмет, представляющими его в механистически изуродованном виде.

---

[1] См.: E. Husserl, Logische Untersuchungen, Bd. I, 3-e Aufl., Halle, 1922, особенно главу 11 — Die Idee der reinen Logik, где читаем: «... was Wissenschaft zur Wissenschaft macht, und das ist jedenfalls nicht der psychologische und überhaupt reale Zusammenhang, dem sich die Denkakte einordnen, sondern ein gewisser objektiver oder idealer Zusammenhang...» и т. д. (стр. 228) и далее: «Einheit der Erklärung bedeutet also theoretische Einheit, das heisst... homogene Einheit der begründenden Gesetzlichkeit, letzlich homogene Einheit der erklärenden Prinzipien» (стр. 233).

[2] Так, например, небезинтересно указать на то, что фундаментальное исследование П. Скаутрупа (P. Skautrup, Det Danske Sprogs Historie, København, 1944—1953), законченное в 1943 г. в Орхусе (Aarhus), в Дании, т. е. в том же году, когда подготовленная там же, т. е. в Орхусе, из печати вышла работа Ельмслева (L. Hjelmslev, Omkring Sprogteoriens grundlaeggelse, København, 1943), настолько не имеет ничего общего с этой последней в области применяемой методики лингвистического исследования и описания, что эти две работы могли бы быть написаны на разных планетах.

*

Отправной точкой для разработки «изоморфического метода» в языкознании явились достижения современной фонологии. При этом дело нередко сводилось к более или менее механическому перенесению методов современного фонологического исследования на другие стороны языка, конкретно — на грамматику и словарный состав. То, что имеющиеся попытки такого перенесения нельзя считать убедительными, не является еще доказательством принципиальной неприменимости метода изоморфизма, тем более, что и сами авторы этих попыток обычно предупреждают об их экспериментальном характере, об общей неразработанности применяемой методики и т. п.[1] Кроме того, вообще существенно при обсуждении того или другого общего принципа или метода тщательно отграничивать сам этот принцип или метод, его общую методологическую и теоретическую основу от того или другого частного случая его использования, поскольку то или другое неудачное его применение не свидетельствует еще о непригодности метода в целом. Поэтому в дальнейшем наше внимание будет сосредоточено на общих теоретических предпосылках «лингвистического изоморфизма».

Теоретической базой методов современного неососсюрианства (структурализма) является учение Ф. де Соссюра о природе лингвистических единиц, исходящее из понятия их т о ж д е с т в а и р а з л и ч и я как основы для определения их реальности и значимости[2]. Конкретно поэтому дело заключается в том, чтобы посмотреть, насколько современное структуралистическое языкознание преуспело в разработке такого метода, который позволял бы в точно определенных условиях сводить две или более единицы к одной, т. е. отождествлять их друг с другом или же, наоборот, показывать их несводимость, нетождественность и, следовательно, противопоставлять их друг другу.

Наиболее последовательным методом отождествления лингвистических единиц, сведения («редукции») их множества или многообразия к единству является метод вариантов-инвариантов Ельмслева[3]. При этом исходят из того, что устоями (grundpiller) системы языка являются ее предельные или простейшие элементы. Основной задачей лингвиста, следовательно, является обнаружение этих простейших элементов, «основных устоев» системы, путем «редукции» всех наличных языковых элементов до наименьшего возможного их числа. Но это связано со значительными трудностями, так как реально в р е ч и (по глоссематической терминологии, в «тексте») эти простейшие элементы как таковые не даны.

---

[1] Ср., например, заключительную часть работы Е. Куриловича (J. K u r y ł o w i c z, La notion de l'isomorphisme, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague» (TCLC), vol. V, 1949), где он указывает на трудности популяризации предлагаемой методики, находящейся еще в экспериментальной стадии (à ses débuts).

[2] «Весь лингвистический механизм вращается исключительно вокруг тождеств и различий, причем эти последние — только оборотная сторона первых» (Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 109).

В дальнейшем изложении вопрос о тождестве и различии будет трактоваться только в собственно-лингвистическом плане. Трактовку вопроса о тождестве в логическом позитивизме см. у У. Саарнио (U. S a a r n i o, Untersuchungen zur symbolischen Logik, I, Helsinki, 1935).

[3] См. L. H j e l m s l e v, указ. соч., стр. 55—68. Вкратце принципы исследования на основе понятий варианта-инварианта были изложены в уже упоминавшейся статье О. С. Ахмановой «Глоссематика Луи Ельмслева... » (стр. 41—42).

В речи они выступают лишь в виде отдельных своих «манифестаций», или «экземпляров», которые обозначаются общим названием вариантов (в отличие от инвариантов, т. е. соответствующих представителей данных вариантов уже в плане идеалистически понимаемой системы я з ы к а).

Понятие варианта достаточно известно в языкознании в применении к фонологии, где вариант фонемы противопоставляется фонеме (применяя терминологию глоссематики, фонему можно обозначить как «инвариант в плане выражения»). Различение вариантов и инвариантов в области звуковой системы языка уже очень давно используется в практике. Как известно, разработка буквенного письма непременно предполагает сведение бесконечного многообразия звуков, реально воспроизводимых при общении на любом языке, к ограниченному числу единиц, более или менее условно обозначаемых выбранными «графемами». При обучении фонетике также оказывается невозможным обойтись без сведéния всего многообразия реальных звучаний к ограниченному числу «инвариантов». Так, например, при описании ударного вокализма современного русского языка приводится только 5 гласных звуков (*о, а, у, э, и*), хотя число реально произносимых и физически отличных ударных гласных звуков в этом языке значительно больше; «имплицитное» применение метода варианта-инварианта лежит в основе того, что, например, одной и той же буквой *а* обозначаются такие фонетически различные единицы, как более открытое [a:] заднее в *палка* и переднее [χ] в *пять*. Звуки [a:] и [χ] в этих словах выступают как варианты или экземпляры одного и того же инварианта — фонемы *А*, не нарушающие ее лингвистического тождества. В системе же, например, английского языка аналогичные фонетические различия не поддаются «редукции», «сведению» к одному инварианту. По законам фонологической системы английского языка [a:], например, в *father* и [χ], например, в *fat* выступают как два отдельных инварианта, как две ф о н е м ы.

Поскольку необходимость различения вариантов и инвариантов в области фонетики не вызывает никаких сомнений и, более того, лежит в основе крупных достижений современной фонологии, не естественно ли поставить вопрос о возможности распространения метода вариантов-инвариантов на изучение всех сторон и всех единиц языка? Не следует ли разработать такой метод лингвистического исследования, который позволял бы единообразно описывать на основе изоморфизма всех лингвистических категорий не только звуки, слоги, морфемы и слова, но и предложения и даже «периоды» языкового текста? В самом деле: нет как будто бы никаких оснований не признавать, абстрактно рассуждая, вполне определенную аналогию между, например, вариантами фонемы *а* и лексико-семантическими вариантами слова *стол*. В общефилософском плане эти явления языка имеют существенно общее: точно так же, как фонема (или инвариант) *а* не дана в непосредственном речевом опыте как таковая, а только в виде одного из своих вариантов (или «экземпляров») — [a:], [a], [χ] и пр. и лексема (или инвариант) *стол* реально встречается, воспроизводится в речи не как таковая, а как «стол», или «стола», или «столу», или «столами» и пр. При этом данная лексема встречается каждый раз не только в той или другой грамматической форме, но и в том или другом лексико-семантическом своем варианте (или «значении»), т. е. со значением «питание», или «предмет обстановки», или «отделение в учреждении» и др.[1]. Расширяя область примеров, можно обратить

[1] Иначе говоря, в виде той или иной «глоссы», по терминологии А. И. Смирницкого: «... под глоссой мы будем... понимать любую языковую единицу, представляющую собой одно определенное с л о в о в том или другом его в а р и а н т е (если данное слово имеет варианты) и в одной определенной г р а м м а т и ч е с к о й ф о р-

внимание также и на то, что сравнительно-историческим методом, строго говоря, восстанавливаются лишь определенные варианты морфем: реконструированные морфемы языка-основы, формы «под звездочкой» — уже результат научной абстракции, инвариант, полученный путем сопоставления («совмещения») непосредственно восстановленных вариантов.

Но, может быть, не имеет смысла вообще рассматривать все эти вопросы потому, что понятие изоморфизма и метод вариантов-инвариантов предлагаются идеалистическим языкознанием — современным неоссюрианством-структурализмом, а потому не могут быть научными и заранее должны быть объявлены непригодными в качестве основы для конкретного лингвистического исследования? Думается, что так просто решить этот вопрос нельзя, так как необходимо отличать и не смешивать, с одной стороны, общефилософское мировоззрение того или другого ученого, а с другой — применяемый им конкретный метод, конкретную сумму приемов для исследования своей специальной области.

Выше уже было сказано о том, что одним и тем же математическим аппаратом пользуются и не могут не пользоваться физики различных убеждений. Пусть идеалистическое изображение «языка» как системы инвариантов, противопоставляемых «речи» как набору вариантов или экземпляров [в которых «реализуется» или «материализуется» язык, существующий идеально до речи и независимо от нее, т. е. независимо от того, существуют или не существуют какие-либо речевые произведения («тексты») на этом языке], дает искаженное представление об истинном положении дела, так как на самом деле первичным, исходным является именно «текст», реально существующие произведения речи, вся совокупность реальных вариантов, которые только потому и существуют, что вновь и вновь воспроизводятся в речи, в общении людей посредством языка[1]. Инвариант как общее не может существовать до вариантов, до отдельного, а существует только в той мере, в какой существуют варианты в них и через них[2].

Идеалистическая философия, которая дает превратное представление о соотношении общего и отдельного, не понимая диалектики этого соотношения, не может служить основой для глубокого проникновения в сущность языка и его категорий. Однако метод варианта-инварианта как частный специальный прием, теоретически рассуждая, может использоваться и без глубокого проникновения в то или другое его философское обоснование. Ведь есть целый ряд частных приемов в языкознании, применяемых лингвистами независимо от принципиального расхождения их общефилософских убеждений. Так, например, сравнительно-историческим методом как специальным приемом восстановления незафиксированных письменностью прошлых языковых фактов пользовались и пользуются лингвисты самой различной общей ориентации.

Все изложенное подводит нас к следующей постановке вопроса: пусть лингвистический структурализм в целом, т. е. в общефилософском плане, неправильно, идеалистически понимает соотношение языка и речи, считает инвариант первичным, существующим идеально, до своей реализации в звуковой материи, и т. п. Но идеалистическое соссюровское понимание соотношения языка и речи не помешало же, например,

---

ме (или же — в единственном его оформлении, если данное слово грамматически не изменяется)» (А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «тождества слова»), [ч. 2], «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, М., 1954, стр. 12).

[1] Подробно об этом см. А. И. Смирницкий, Объективность существования языка, [М.], 1954, стр. 8—29.

[2] Ср. В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 329.

старой «пражской лингвистической школе» достичь больших и несомненных успехов в области фонологии. Не может ли и современный структурализм, несмотря на свой идеалистический характер, разработать и применить к изучению грамматики, лексикологии, стилистики и т. п. частные методы и приемы, которые были бы столь же точными и надежными, как методы фонологического исследования?

На этот вопрос следует сразу же ответить отрицательно, и вот из каких соображений. Дело в том, что такие лингвистические единицы, как морфемы, слова и словосочетания, выступающие в функции слов, принципиально не могут исследоваться теми же приемами, которые оказываются продуктивными для фонематического анализа, вследствие принципиального различия между фонемами, с одной стороны, и собственно лингвистическими единицами — с другой. Конституирующим для лингвистической единицы является ее двусторонность, т.е. наличие у нее не только определенной внешней формы, определенного закономерно построенного звучания, но и определенного значения. Конечно, и здесь следует с самого начала подчеркнуть, что материалистическое понимание двусторонности («билатеральности») языковой единицы, исходящее из реальности, материальности звуковой формы «обозначающего» и реальной, фактической внеязыковой обусловленности «строения обозначаемого» диаметрально противоположно идеалистическому пониманию двусторонности языкового знака как «двусторонности в себе» (an sich), т. е. как идеальной «функции двух функтивов», полностью и эксплицитно оторванной как от реального «вещественного» значения, так и от конкретной звуковой материи языка. Звуки же языка, в отличие от морфем, слов и т. д., не имеют собственного значения, представляют собой «односторонние» единицы, служащие лишь для различения звуковых оболочек слов и морфем. Структура обозначающего вследствие своей дискретности, прерывности принципиально отлична от структуры обозначаемого, которая имеет глобальный, непрерывный характер и потому не может, без игнорирования ее специфики, быть подвергнута последовательному «линейному» анализу[1]. Это положение можно проиллюстрировать уже на соотношении фонологического и морфологического анализа речевого потока, т. е. на соотношении анализа звуков речи с разложением на предельные или простейшие языковые единицы, какими являются морфемы.

Как известно, с точки зрения собственно акустики, речевые сигналы непрерывны; они анализируются, членятся, воспринимаются как «дискретные» уже с точки зрения языкознания. Воспринимая речевой сигнал, лингвист может подвергнуть его фонематическому анализу, применяя для этого вполне точные методы современной фонологии. Теоретически рассуждая, лингвист, записав полученный звуковой сигнал, может перейти к его морфематическому анализу, что потребует одновременного проведения также и анализа «тактического», т. е. учета особенностей порядка следования и взаимного расположения морфем: операция уже гораздо более сложная, чем первая; можно сказать, что подобно тому, как с внешней стороны «речевой сигнал» представляет собой передачу в виде непрерывного потока дискретного ряда

[1] В этой связи, может быть, нелишне еще раз напомнить о том, что и фонемы не могут до бесконечности подвергаться анализу и разложению на «дифференциальные признаки», так как и им свойственна определенная глобальность (но, конечно, совершенно особого рода; см. по этому вопросу О. С. Ахманова, Фонология, [М.], 1954, стр. 18). Следует также иметь в виду, что и в области, традиционно относимой к фонологии, имеются такие знаки, как степень интенсивности слогов, имеющая синтаксическую ценность (в смысле «valeur»), и интонации фразы, имеющие ценность морфемы, т. е. соответствующие, например, польскому *czy* или готскому *-u*, русскому *ли*, немецкому *ob* и т. п.

фонем, сам этот ряд фонем (не имея самостоятельного значения для передачи смысла, а существуя только для того, чтобы служить внешней звуковой оболочкой для передаваемых носителей смысла — морфем и т. д.) выступит уже как средство передачи качественно отличного от него непрерывного же потока единиц высшего порядка — потока морфем.

Предположим теперь, что на этом новом уровне исследования привлечена так называемая «морфонология», которая рассматривает морфемы не как инварианты, т. е. не в отвлечении от тех конкретных вариантов (или «морф»), в виде которых они только и могут реально воспроизводиться в речи, а как конкретные единицы сообщения, представленные своими соответствующими вариантами на фонематическом уровне, т. е. в виде системы правил для перевода рядов фонем в ряды морфем. Предположим далее, что при нормальном слушании, без записывания и последующего специального исследования полученного речевого сигнала, морфонологический анализ включается автоматически после столь же автоматического «квантования» поступающего звукового потока на фонемы. Все равно и в этом случае самая существенная с лингвистической точки зрения часть всего процесса так и останется не только не проанализированной, но и принципиально не поддающейся анализу точными «линейными» методами, так и останется глобальной, принципиально недоступной переводу из непрерывного ряда в дискретный.

Это объясняется «произвольностью» языкового «знака», условностью связи между звучанием и значением (конечно, условностью с точки зрения природы самих явлений, с их физико-физиологической и логико-психологической, а не общественно-исторической стороны, где эта связь обусловлена).

Правда, в каждом языке имеются соотносительные ряды и пары вроде русских *друг* и *дружить*, дающие основание считать *друг-* и *друж-* вариантами (алломорфами) одной морфемы и определять *г/ж* как морфонологическое чередование. Такие случаи в каждом языке не являются единичными, а напротив, могут повторяться с известной регулярностью. Однако наряду с такими случаями в каждом языке может иметься какое угодно количество случаев типа, например, *окончаний имени* существительного в латинском языке, где выделить из данного звукового комплекса обозначение или выражение различий падежа и числа принципиально невозможно, а кроме того, и морфонологические чередования редко носят настолько общий и закономерный характер, чтобы явиться твердой основой для воспроизведения во всех подобных случаях. Напротив, можно сказать, что нестойкость такого рода чередований часто приводит к так называемым «аналогическим выравниваниям». Основанием для аналогического выравнивания является при этом то, что варианты мельчайших (предельных) языковых единиц — морфем нормально оказываются синхронически не обусловленными, выступают как результат «морфологизовавшихся» фонетических чередований. Поэтому морфонологические чередования, дающие варианты морфем (в отличие от вариантов фонем) объяснимы только исторически, тогда как варианты фонем не только вполне закономерно объяснимы, но и могут «предсказываться» на основе норм и закономерностей современного состояния языка, вследствие чего аналогическое выравнивание фонем принципиально невозможно.

*

Основной единицей языка и главным предметом лексикологии является слово. Хотя современный лингвистический структурализм и относится, в целом, скептически к возможности или даже надобности определения

и выделения слова как основной единицы языка, фактически именно слово выступает на первый план, как только речь заходит о «языковом знаке», о чем свидетельствует, в частности, дискуссия о природе лингвистического знака, проводившаяся журналом «Acta linguistica» в сороковых годах текущего столетия.

Изучение лексики (словарного состава) языка до сих пор значительно отстает от грамматики и особенно фонетики вследствие того, что до сих пор методы лексикологического исследования остаются мало разработанными. Особенно много разногласий вызывает вопрос о принципах и методах изучения значений слов. Можно ли говорить об «общем» или «основном» значении слова и какое конкретное содержание следует вкладывать в эти термины? Ведь слова реально даны нам в опыте в отдельных, частных, особых конкретных значениях. Как соотносятся между собой или, как предпочитают говорить некоторые, каким образом противопоставляются друг другу эти разные частные значения? Следует ли под «основным» значением понимать то из реально встречаемых в разных контекстах значение, которое является наиболее легко воспроизводимым, наиболее независимым от слов, в сочетании с которыми оно встречается, или же речь должна идти об «общем» значении, отвлекаемом от различных конкретных «воспроизведений» (или «реализаций») слова и стоящем как бы «над» ними? Можно ли, следовательно, говорить об иерархии разных значений слова и выделять в единовременном плане (т. е. не в плане исторической эволюции слова, а с точки зрения его синхронического функционирования в языке) центральные, или узловые, воспроизведения слова, противопоставляемые вторичным, производным, определяемым конкретными особенностями данного специфического контекста? И что значит «контекст»? Следует ли обозначать термином «контекст» так называемый «языковой контекст», т. е. особенности того «лингвистического окружения» — конструкции, управления, соединения с другими словами и т. п., — которыми обусловливается реализация у данного слова того или другого из его разных значений, или же под «контекстом» следует понимать ту или другую сферу употребления языка, как, например, сферу обычного повседневного общения, сферу определенной области науки или техники.

Несмотря на то, что есть очень большое количество работ самых разнообразных направлений, трактующих все эти вопросы в разных планах и аспектах, проблема описания лексической системы языка не разрешена еще ни для одного языка; до сих пор нет работ, которые содержали бы описание словарного состава хотя бы одного какого-нибудь языка в стройном и систематическом виде, т. е. так, как описываются обычно фонетическая и грамматическая системы разных языков. В связи с этим возникает еще и следующий вопрос: вызвано ли такое отставание лексикологии (по сравнению с грамматикой и фонетикой) чисто количественными моментами, т. е. огромным различием между числом единиц, изучаемых, с одной стороны, фонетикой и грамматикой, а с другой — лексикологией (как известно, число фонем ни в одном языке не превышает нескольких десятков, число грамматических категорий и, следовательно, категориальных форм также очень ограничено и поэтому легко поддается учету, тогда как число словарных единиц в развитых «культурных» языках доходит до нескольких сотен тысяч), или же здесь дело не только в количественных различиях, а имеются еще и внутренние причины, вследствие чего исследование и описание лексической системы языка оказываются более сложными, чем исследование и описание грамматической его системы и особенно системы фонетической. Ведь хотя под

«лексическим значением» представителями разных лингвистических направлений и понимаются разные вещи, в общем можно считать установленным и давно уже вошедшим в лексикографическую практику то, что одно слово может иметь несколько значений, т. е. принципиально признано, что одна и та же звуковая оболочка, один и тот же комплекс звуков вовсе не обязательно обозначает один род предметов или выражает одно какое-нибудь понятие, а может служить для обозначения разных предметов и выражения разных понятий без разрушения тождества слова, т. е. без возникновения двух или более разных слов — омонимов.

Это последнее обстоятельство заставляет думать, что дело не только в количестве единиц, но и в особенностях внутреннего характера. В самом деле, ведь если, например, слово *стол* имеет два значения («предмет обстановки» и «питание»), то исследователь оказывается здесь перед лицом двоякого соотношения (или противопоставления): с одной стороны, противопоставления двух разных значений (или «семантических функций») одного и того же звукового комплекса [стол], а с другой — сопоставления (сближения) уже в семантическом плане двух разнозвучащих единиц — в нашем случае *стол* и *питание*. Далее вопрос о лексико-семантических отношениях в языке осложняется еще разного рода экспрессивно-стилистическими моментами; эти моменты особенно важны вследствие необходимости различать разные значения и разные употребления одного и того же слова. Если в приведенном выше примере (*стол* — «мебель» и *стол* — «питание») мы имели разные значения одного и того же слова, то в таких, например, «рядах», как *сокол* — «птица» и *сокол* — «летчик», *сплавить* (лес) и *сплавить* «избавиться», *сердитый* «гневный» и *сердитый* «крепкий», мы имеем, повидимому, экспрессивные употребления слов.

Хотя вопросов поставлено уже много, однако нельзя не указать еще и на следующий. Можно ли вообще выделять значение слов, абстрагировать его от тех реальных звуковых оболочек, в которые оно заключено, вести семасиологическое исследование в «плане содержания» (т. е. оперировать «значениями») отдельно от «плана выражения» (т. е. того реального звучания, с которым это значение связано)? Можно ли, следовательно, устанавливать две иерархии — одну, исходящую из «формы», т. е. звуковой оболочки слова, другую — из «содержания», или «функции». В приведенных примерах по первой иерархии значение «летчик» оказалось бы при таком подходе производным, вторичным по отношению к «птице», т. е. выступило бы в качестве «вторичной функции» «формы» [сокол]; по второй иерархии *сокол* в значении «летчик» оказалось бы вторичной формой (вторичной, производной звуковой оболочкой) для того значения или той функции, первичным средством выражения или осуществления (реализации) которой в русском языке является «форма» или звуковой комплекс [летчик].

Из разобранного примера можно видеть, что даже в таком теоретически более простом случае, как разные употребления слова, т. е. когда иерархия «смыслов» легко устанавливается без обращения к диахронии (в таких случаях не может быть сомнения в том, что употребление слова *сокол* для обозначения «летчика» есть производное, вторичное его употребление, в отличие от разных значений слова, где исторически первичное может оказаться синхронически вторичным; см., например, слово *вера* в словаре Ожегова), — и то картина получается достаточно сложная, почему трудно с какой бы то ни было степенью ясности представить себе распространение приведенного эскиза на весь словарный состав языка. Однако практическая сложность осуществления не может быть препят-

ствием для принятия той или другой системы исследования, если теоретически она оказывается вполне обоснованной.

Из сказанного отнюдь не следует, что в настоящей статье имеется в виду дать полный ответ на все затронутые общие вопросы, т. е. вообще определить, что̀ следует понимать под значением слова, как вообще связаны между собой разные значения слова, какую роль играет в их различении и определении контекст и что вообще следует понимать под контекстом, а также и такие более специальные вопросы, как возможность отделения лингвистического значения от того или другого звучания в целях отдельного их рассмотрения и т. п. В общем виде ответы на эти и подобные вопросы можно найти в специально посвященных им исследованиях, среди которых следует выделить статью акад. В. В. Виноградова «Основные типы лексических значений слова»[1] и статью проф. А. И. Смирницкого «Значение слова»[2]. В настоящей же статье все эти вопросы затрагиваются только в той мере, в какой это необходимо для изложения ее основной темы — вопроса об изоморфизме лингвистических категорий в связи с вопросом о методе лексикологического исследования.

*

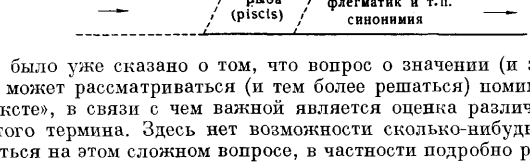
Для понимания общего направления развития методов лексикологического исследования в неососсюрианстве до сих пор не утратила своего значения статья С. Карцевского «Du dualisme asymétrique du signe linguistique»[3]. Последовательно применяя охарактеризованный выше принцип тождества-различия, С. Карцевский предлагает следующее решение вопроса.

Каждый лингвистический знак имеет определенное присущее ему содержание и потому по своей природе он должен быть способен к сохранению тождества во всех различных и многообразных своих «функциях». Однако, хотя тождество знака во всех его функциях и сохраняется, применяясь каждый раз к новым условиям конкретного «функционирования», он оказывается способным покрывать целую совокупность более или менее новых представлений. [При этом потеря тождества, т. е. возникновение омонимии в обычном смысле этого слова, возникает только в тех случаях, когда «транспозиция семантической стороны знака», расширение совокупности обозначаемых предметов мысли переходит границы, допускаемые адекватным, или узуальным, содержанием (valeur) знака.] Таким образом, основой функционирования знака в системе языка оказывается его способность одновременно включаться в два ряда — омонимический и синонимический: в той мере, в какой знак все время стремится выполнять другие функции, кроме непосредственно ему принадлежащей, он становится членом омонимического ряда; в той же мере, в какой адекватно обозначаемое им может выражаться и другими знаками, он оказывается в синонимическом ряду. Знак, собственно, вообще создается, «конституируется» перекрещиванием (croisement) этих двух рядов. Так, например, употребление слова *рыба*, адекватным, или узуальным, значением которого является «piscis», для характеристики человека даст одновременно как транспозицию в омонимический ряд, так и увеличение синонимического ряда, включающего такие слова, как *флегматик*, *вялый*, *бесчувственный*, *холодный* и т. д.

---

[1] ВЯ, 1953, № 5.
[2] ВЯ, 1955, № 2.
[3] S. Karcevskij, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, «Travaux du Cercle linguistique de Prague» (TCLP), I, 1929.

Графически это изображается так:



Выше было уже сказано о том, что вопрос о значении (и значениях) слова не может рассматриваться (и тем более решаться) помимо вопроса о «контексте», в связи с чем важной является оценка различных пониманий этого термина. Здесь нет возможности сколько-нибудь подробно остановиться на этом сложном вопросе, в частности подробно рассмотреть такие понятия, как «контекст ситуации» в отличие от «лингвистического контекста», но надо все же обратить внимание на следующее. Хотя сфера употребления слов (то, что в современной американской лингвистике обозначается термином «lexical clusters») и имеет вполне определенное значение для лексикологии (так, например, достаточно снабдить слово *угол* пометой *мат.*, чтобы было ясно, что имеется в виду не то, что это слово обозначает в повседневной речи, в таких, например, фразах, как *удариться об угол*, *встать в угол* и т. п.), для изучения вопроса о лексических значениях слова гораздо важнее контекст лингвистический. Обратимся к примеру С. Карцевского: ведь *рыба* может значить «флегматик» и т. п. только в предикативном употреблении (по терминологии В. В. Виноградова, только как синтаксически обусловленное значение)[1]. Кроме того (и это в высшей степени убедительно показано В. В. Виноградовым в указ. статье, стр. 22), «семантическая транспозиция», «расширение объема», «умножение функций» и т. п. слова вовсе не представляет собой единой непрерывной линии — линии от начала до конца омонимической. Напротив, на этой линии вполне определенно «откладываются» такие принципиально различные категории (категории подвижные и исторически изменчивые, непрерывно сдвигающиеся и переходящие одна в другую), как 1) разные у п о т р е б л е н и я слова; 2) разные з н а ч е н и я слова и 3) собственно о м о н и м и я, выступающая уже как своего рода нарушение нормального функционирования слова (в отличие от его разных з н а ч е н и й и у п о т р е б л е н и й, являющихся нормой).

*

Теперь следует перейти к остальным двум из поставленных общих вопросов, которые и являются наиболее существенными для основного содержания настоящей статьи. Во-первых, это вопрос о соотношении между звуковой оболочкой слова (или «планом выражения») и выражаемым им значением (т. е. «планом содержания»). Этот вопрос был поставлен здесь так: можно ли для удобства исследования реально разделить эти два плана и считать, например, значение «флегматик» для [рыба] производным по отношению к значению «piscis», т. е. вторичной функцией формы [рыба] и, напротив, считать форму [рыба] в значении «флегматик» вторичной формой, т. е. вторичной, производной звуковой оболочкой для того значения или функции, первичным средством реализации которого в русском языке является форма или звуковой комплекс [флегматик]? Ведь, как уже неоднократно указывалось выше, всякого

[1] То же будет относиться mutatis mutandis и к «формальному значению». *Молчать!* может быть синонимом *молчи* только при наличии особой интонации, отличной от той, с которой это значение может выражаться формой повелительного наклонения, т. е. *молчи* (S. K a r c e v s k i j, указ. соч., стр. 93).

рода расчленения сложного комплекса, сведéние (редукция), разложение его и т. п. может способствовать точности исследования и даже придавать ему математический характер.

Сказанное может явиться предпосылкой и для ответа на последний из поставленных вопросов: не обусловлено ли отставание лексикологии по сравнению с фонетикой просто бóльшим количеством и разнообразием единиц, составляющих объект ее изучения. Может быть, вопрос только в том, чтобы найти такой метод разложения и объединения частей словарной системы языка, который позволил бы анализировать их такими же точными методами, как те, которые применяются в области фонетики. Ведь выше было уже сказано о том, что, например, между словом-лексемой *стол* и звуком-фонемой *а* имеется то общее, что к обоим могут быть применены понятия варианта-инварианта и что различные их воспроизведения в речи могут отличаться (отделяться) от воспроизведений в речи сходных с ними в том или другом отношении других лексем и фонем на основе общих понятий тождества и различия[1]. Ясно также и то, что и морфема (например, морфема, реально выступающая в таких своих вариантах, как *друг- /друж-/друз-*), может мыслиться и фигурировать в описании в виде инварианта, обозначенного каким-либо условно выбранным ее вариантом. Но на этом параллелизм, аналогичность, изоморфизм и т. п. этих различных лингвистических категорий кончается. Значение таких лингвистических единиц, как морфема и особенно слово, немыслимо без соотнесения данного звукового комплекса, данной звуковой оболочки с внеязыковой действительностью, а это соотнесение принципиально не может производиться по частям: слова и морфемы «непрерывны», «глобальны», они «обозначают» целиком, а не «линейно», не по частям[2]. Поэтому представляется несомненным, что настойчивые попытки глоссематиков «очистить» языковой знак от «всякого соприкосновения с субстанцией», освободить Ф. де Соссюра от его «материалистических непоследовательностей» ничего не могут дать языкознанию как науке о подлинном человеческом языке и могут быть полезны только для новых изощрений логического позитивизма. Не касаясь здесь сложного вопроса об оттенках того, чтó разные авторы понимают под «обозначающим» и «обозначаемым», под «произвольностью» и «психическим», в целом можно с полным основанием утверждать, что даже в дискуссии, организованной журналом с явно идеалистической общей ориентацией («Acta linguistica»), большинство склонилось к невозможности исключения обозначаемого предмета (будь то chose designée или chose signifiée или thing meant или еще как-нибудь)[3].

---

[1] Вопрос об изучении синтаксиса на основе изоморфизма его с фонологией требует отдельного рассмотрения и имеет большую литературу. См., например: C. E. Bazell, On the neutralisation of syntactic oppositions, TCLC, vol. V, 1949; его же, The fundamental syntactic relations, «Časopis pro moderní filologii», R. 33, 1949, č. 1; его же, Syntactic relations and linguistic typology, «Cahiers F. de Saussure», 8, 1949; J. Cantineau, Les oppositions significatives, «Cahiers F. de Saussure», 10,1952, и др.

[2] Для простоты изложения здесь не затрагивается вопрос о сложных и производных словах, которые теперь весьма настойчиво предлагается рассматривать в синтаксисе. О неправомерности такого понимания, т. е. о необходимости рассматривать все слова, включая и сложные, а тем более производные, в лексикологии см. О. С. Ахманова, К вопросу об отличии сложных слов от фразеологических единиц. (На материале англ. и швед. языков), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», М., т. IV, 1954 и особенно цитируемую в статье литературу.

[3] Ср.: E. Benveniste, Nature du signe linguistique, «Acta Linguistica» (AL), vol. I, fasc. 1, 1939; A. H. Gardiner, De Saussure's analysis of the signe linguistique, AL, IV, 1944; E. Lerch, Vom Wesen der sprachlichen Zeichens. Zeichen oder Symbol? AL, I, fasc. 3, 1939; P. Naert, Arbitraire et nécessaire en linguistique, «Studia Linguistica», Lund — Copenhague, 1947, № 1 и др.

При этом следует заметить, что для утверждения о якобы несовместимости допущения внеязыкового предмета с представлением о двусторонности языкового знака нет никаких оснований. Включение в лингвистическое исследование значения, как отраженных человеческим сознанием и связанных с определенным звучанием элементов действительности, вовсе не предполагает необходимости исходить либо из звука, либо из значения, а вполне допускает возможность согласно и одновременно учитывать и то и другое[1].

Среди работ, трактующих вопросы анализа языковых категорий, особо следует выделить работу Ж. Фурке[2], ценную последовательной критикой механистического подхода к вопросу об изоморфизме, основанном на глоссематическом понимании инвариантов-вариантов. Фурке, исходя из подробного рассмотрения методов фонологического анализа, приходит к выводу, что фонология обладает особыми, свойственными ей закономерностями, определяемыми характером исследуемого ею объекта — звукового, однолинейного, «разновременного».

Так же как и фонология, лексикология должна быть объективной и исходить из закономерностей, определяемых особенностями исследуемого ею объекта. При этом следует иметь в виду то, что исследование словарной системы языка представляет трудности несравненно большие, чем изучение его звуковой системы, так как: 1) здесь отсутствует элемент позиции, последовательности. Исследователь оказывается уже не в области последовательного, линейного и т. д., а в области глобального, одновременного (simultané), почему принципиально неправильными являются попытки установления изоморфного метода, равно пригодного для этих принципиально различных разделов языкознания; 2) сообщение значения гораздо сложнее, чем сообщение звуков: мы знаем новое слово с точки зрения его звуковой оболочки, как только мы осознали, из каких фонем оно состоит; значение же слова раскрывается для нас постепенно, через целый ряд контекстов его употребления, и может долгое время оставаться, а иногда и вообще остаться для нас не раскрытым до конца; 3) точно так же, как фонология не могла бы возникнуть, если бы ей на помощь не пришли анатомия и физика, и лексикология не может оформиться как наука без помощи психологии и социологии.

То, что Фурке говорит о помощи «социологии» как существенной для построения научной лексикологии, не обязательно должно быть принято буквально, а заслуживает упоминания потому, что показывает на необходимость разработки науки о словарном составе языка в непременной связи с внелингвистическими факторами, т. е. в первую очередь—с объективно существующей реальной действительностью. Поэтому в основе лексических значений слова лежат его прямые номинативные значения, «...как бы непосредственно направленные на „предметы", явления, действия и качества действительности (включая сюда и внутреннюю жизнь человека) и отра-

---

[1] О неправомерности обозначения термином «язык» системы, единицы которой не были бы никак связаны ни с психическими субстанциями, ни с звуковой субстанцией (в плане выражения), см. A. Martinet, La double articulation linguistique, TCLC, vol. V, 1949. Мартинэ совершенно справедливо указывает на полную неприемлемость для большинства лингвистов тезиса о том, что фоническая субстанция зарегистрированных ими лингвистических систем не представляет якобы для них интереса. Лингвистика не может не видеть в фонологии обязательного раздела всякого лингвистического описания.

[2] J. Fourquet, Analyse linguistique et analyse phonologique, TCLC, vol. V, 1949.

жающие их общественное понимание. Номинативное значение слова — опора и общественно осознанный фундамент всех других его значений и применений»[1].

В заключение необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Уже в лингво-философских построениях В. Гумбольдта центральное место занимало понимание языка как системы, противопоставлявшееся более старым «атомистическим» концепциям. Теперь «системный характер» языковых явлений представляется настолько несомненным, что в общем по этому вопросу сходятся все лингвистические направления, признающие реальность языка и языков (атомистические концепции сохраняются, пожалуй, только в неолингвистике, на которую не распространяется эта оговорка). Но сходясь в общем по вопросу о системном характере языка, идеалистическое языкознание и материалистическое расходятся и в самом понимании этой категории и тем более в том, как и для чего система должна исследоваться и определяться. Для марксистского языкознания система в языке — это совокупность реально существующих языковых фактов, исторически развивающаяся и поддающаяся стройному описанию лишь в той мере, в какой те или другие системные отношения реально оформились и определились (почему, например, вовсе не всегда и не обязательно можно разнести по рубрикам «фонологических противопоставлений» все звуковые явления того или другого языка и почему, также, конкретное описание словарной системы хотя бы одного конкретного языка никому еще не удавалось). Для идеалистического же языкознания система не выводится из фактов, а факты подводятся под систему, которая мыслится как статическое и часто искусственное распределение по рубрикам разного рода «соотношений» и «противопоставлений» на основе априори заданных принципов «удобства», «эффективности», «изоморфизма», «простоты» и т. п.

---

[1] В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, стр. 12. Изложенное в этой работе понимание лексического значения слова и его типов, значения слова в отличие от его употребления, классификация основных видов или типов контекста — фразеологического, конструктивного и синтаксического — и вытекающие отсюда принципы лексико-семантического анализа являются очень важными для развития данной области языкознания.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

О КУРСЕ «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

1

Курс «История языкознания» по самому характеру своего содержания бесспорно относится к циклу общелингвистических дисциплин наряду с курсами «Введение в языкознание» и «Общее языкознание». Поэтому объем и содержание курса «Введение в языкознание», а особенно курса «Общее языкознание» зависят до известной степени от того, имеется ли в учебном плане особая дисциплина, посвященная истории языкознания, или краткие сведения по истории науки учащиеся получают лишь из смежных общелингвистических курсов.

Между тем положение курса «История языкознания» в учебных планах вузовской подготовки языковедов совершенно иное, чем двух других общелингвистических курсов. «Введение в языкознание», как известно, читается на всех филологических факультетах университетов и во всех педвузах, где осуществляется подготовка преподавателей языка и литературы. По этой дисциплине имеется утвержденная программа; есть учебные пособия, изданные уже после лингвистической дискуссии. И хотя, как показало обсуждение курса «Введение в языкознание» на страницах журнала «Вопросы языкознания», существуют значительные расхождения в понимании задач и характера данного курса, а его программа нуждается в ряде уточнений, все же сложилась уже известная научная традиция, обеспечивающая успешное преподавание этого курса в многочисленной сети вузов нашей страны, и никому не придет в голову подвергать сомнению необходимость его чтения.

Несколько сложнее обстоит дело с курсом «Общее языкознание», который является общеобязательной дисциплиной только в учебных планах филологических факультетов университетов и некоторых педвузов[1]. Объем курса, его характер во многом остаются неясными; он не обеспечен пособиями. Но все же и по этому курсу имеется утвержденная программа, впрочем, вызывающая ряд справедливых замечаний и упреков.

Наиболее неясным и трудным является, однако, положение с третьим звеном общелингвистического цикла — с историей языкознания. Курс «История языкознания» как самостоятельная дисциплина читается лишь в немногих университетах нашей страны. Объясняется это тем, что ни в какие учебные планы он не включен в качестве обязательного предмета. Постановка специального курса «История языкознания» в том или ином университете зависит от множества конкретных условий и прежде всего, конечно, от того, имеется ли в данном вузе лектор, соглашающийся вести этот курс. Даже в таких вузах, как Московский или Ленинградский университеты, где этот курс за последние десять лет неоднократно читался, он все же не является постоянным звеном общелингвистической подготовки языковедов и ставится скорее на правах спецкурса, который в том или ином году может и отсутствовать.

Таким «необязательным» характером постановки этого курса даже на филологических факультетах университетов обусловлено, повидимому, и отсутствие общепринятой утвержденной программы. К тому же, в отличие, например, от курса «Введение в языкознание», курс «История языкознания» не читался систематически и в дореволюционное время; следовательно, по данному курсу не могла сложиться какая-то традиция, не накопился опыт. Наконец, нет и соответствующего пособия. Вместе с тем и отдельные проблемы истории языкознания почти не разрабатывались в последние десятилетия. Не появились монографические исследования и даже специальные статьи, в которых была бы сделана попытка раскрыть с возможной полнотой сущность таких значительных лингвистических школ, как московская или казанская школы в России, как младограмматическая или социологическая школы за рубежом; нет поэтому и исследований, которые бы достаточно убедительно определили место каждой из этих школ в общем процессе развития языкознания. Даже наследие таких крупней-

[1] Например, в планах педагогических институтов иностранных языков с пятилетним обучением.

ших представителей отечественного языкознания, как Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, у нас почти не изучалось. Неясен вопрос относительно принципов периодизации истории языкознания.

Все это ведет к большому разнобою в отборе материала при построении курса «*История языкознания*», к значительной субъективности в характеристике и оценке отдельных явлений из истории науки о языке, о чем, в частности, свидетельствуют и некоторые статьи, напечатанные в порядке обсуждения курса «История языкознания» на страницах журнала «Вопросы языкознания».

Отсутствие утвержденной программы вызвало особенное внимание к перечню тем, подлежащих включению в данный курс. Ряд статей сводился по преимуществу к примерному наброску возможной программы курса «История языкознания»[1]. Это при настоящем состоянии разработки данного курса было вполне естественно и даже полезно, но уводило в некоторой степени от обсуждения других важных вопросов, как, например, вопроса о месте курса в общей системе вузовской подготовки в различных учебных заведениях с различными учебными планами (филологические факультеты университетов, факультеты языка и литературы педвузов, педвузы иностранных языков), о его соотношении с курсом «Общее языкознание», программа которого включает исторический очерк. С другой стороны, примерные перечни тем, содержащиеся в ряде статей, не давали представления о соотношении различных разделов внутри самого курса «История языкознания», об объеме материала, даваемого по отдельным темам, характере трактовки отдельных тем и т. д. Предельная сжатость некоторых статей не позволила их авторам раскрыть полнее свое понимание содержания и направления курса, принципов отбора материала и т п.

2

В связи с обрисованным выше неопределенным положением курса «История языкознания» в системе других лингвистических курсов прежде всего возникает вопрос, насколько необходимо выделение данной дисциплины, ее включение в учебный план в качестве обязательного предмета. Вопрос этот, очевидно, может решаться неодинаково для различных учебных заведений (филологические факультеты университетов, факультеты литературы и языка педвузов, институты иностранных языков и т. д.), причем в тех учебных заведениях, где читается «Общее языкознание», его решение связано с уточнением соотношения между обоими курсами.

Казалось бы странным, что в то время как курсы по истории математики или химии давно являются обязательными предметами в учебных планах соответствующих факультетов университетов, нам, языковедам, приходится еще обсуждать вопрос о том, следует ли курс «История языкознания» включить в учебный план хотя бы филологических факультетов университетов.

Повидимому, в этом ненормальном положении в значительной степени повинны сами лингвисты, несмотря на то, что преобладающее большинство языковедов, работников филологических факультетов, считают подобный курс совершенно необходимым. Показательно, что из статей, напечатанных в журнале, только в статье Т. А. Дегтеревой и Н. А. Слюсаревой мы находим возражение против того, чтобы выделить специально курс «История языкознания», к тому же речь идет об учебных планах институтов иностранных языков, а не филологических факультетов[2]. Однако никаких серьезных начинаний, обеспечивающих разработку курса, до сих пор нет.

Необходимость постановки специального курса «История языкознания» диктуется рядом соображений, которые особенно подробно излагались в статьях В. Н. Ярцевой, Э. А. Макаева и А. В. Десницкой. На некоторых из этих соображений следует остановиться. Очевидно, что не может быть образованного специалиста в любой области без знания развития изучаемой им науки. Отдельные сведения разрозненного характера по истории того или иного вопроса наши студенты получают в теоретических курсах по своей узкой специальности. Так, специалисты по русскому языку в курсе «Современный русский язык», конечно, услышат о понимании безличных предложений А. А. Шахматовым или о понимании залога Ф. Ф. Фортунатовым; специалисты по немецкому языку из курса «История немецкого языка» или «Введение в германскую филологию» узнают, что Р. Раск, а затем Я. Гримм сформулировали закономерности первого передвижения согласных, что впервые термины «сильные» и «слабые» глаголы были употреблены тем же Я. Гриммом. И в других курсах по своей узкой специальности студенты будут встречать имена крупнейших языковедов прошлого и настоящего, однако каждый раз в связи с каким-то, хотя и очень существенным, но о т д е л ь н ы м вопросом. Разъяснить значение работ этих языковедов в общем посту-

---

[1] См., например, статьи А. М. Финкеля, Г. С. Ахвледиани, Т. А. Дегтеревой и Н. А. Слюсаревой, отчасти А. В. Десницкой.

[2] Нам представляется, что и при такой оговорке точка зрения авторов этой статьи спорна (см. дальше).

пательном движении лингвистической науки ни один из конкретных специальных курсов не может и не должен. Не может и не должен такой курс давать характеристики общелингвистической концепции тех же языковедов, а ознакомление с этими характеристиками позволяет лучше и глубже понять и те частные положения, которые излагаются в конкретных курсах по какой-либо специальности.

Глубокое и всестороннее понимание развития науки о языке и роли отдельных языковедов в этом развитии может дать только курс «История языкознания». Это определяет его первостепенное значение для овладения богатейшим мировым наследием в данной конкретной области языкознания.

Следует отметить, что в различных спецкурсах по лексикологии, фонетике, диалектологии конкретных языков нередко говорится о неправильной трактовке тех или иных вопросов представителями различных современных лингвистических направлений: например, о непонимании природы слова в его отграничении от словосочетания у представителей американской дескриптивной лингвистики, об искажении сущности значения слова у неогумбольдтианцев, об ошибочном понимании диалекта и даже принципов картографирования у Жильерона и т. д. Однако лекторы, читающие эти спецкурсы, не имеют возможности остановиться подробнее на системе взглядов, характеризующей данное направление; у слушателей нередко создается лишь впечатление, что те или иные взгляды ошибочны, но в чем сущность и философские корни этих ошибок — остается неясным, так как освещение связанных с этим вопросов выходит за рамки программы конкретного спецкурса. Только курс «История языкознания» может восполнить этот пробел, так как именно в этом курсе излагаются основные определяющие положения важнейших лингвистических направлений и школ, раскрываются социальная обусловленность этих направлений и прежде всего их зависимость от современных для них философских идей.

Вуз должен научить студента разбираться в различных точках зрения по основным проблемам науки о языке, он должен воспитать у студента умение с позиций марксистской методологии отличать прогрессивное от реакционного, ошибочного, поворачивающего науку о языке вспять. В осуществлении этой задачи курс «История языкознания» должен занять подобающее место, так как именно в нем учащийся может получить образцы анализа наиболее значительных языковедческих концепций в свете ведущих положений марксистской науки о языке.

Таким образом, курс «История языкознания» отнюдь не сводится только к изложению фактического материала, связанного с изучением наиболее значительных явлений в истории разработки основных положений лингвистической науки. Его задача — ознакомить студента с самими закономерностями развития лингвистической науки. Курс должен показать, как постепенно вырабатывались современные представления о сущности языка, о его структуре и о закономерностях его развития, как появились и развивались современные методы лингвистического исследования, как в этом процессе преодолевалось отжившее, устаревшее, как сталкивались прогрессивные взгляды с реакционными направлениями. При изложении основных положений марксистского языкознания в курсе должно быть обращено особое внимание на то, что марксистское языкознание включает в себя все лучшее и наиболее ценное из наследия мировой науки о языке.

Все эти соображения говорят в пользу включения данного курса в учебный план всех вузов, осуществляющих подготовку преподавателей языка. Однако отсутствие общепринятой программы, необходимых пособий и специальных монографических исследований, неразработанность многих разделов курса затрудняет это. Нам представляется более целесообразным включить курс «История языкознания» сначала только в учебные планы филологических факультетов университетов, а также педагогических институтов иностранных языков с пятилетним планом обучения[1]. А так как именно в этих вузах читается на пятом году обучения курс «Общее языкознание», то необходимо подробнее остановиться на соотношении этих двух курсов.

3

Существует мнение, что курс «Общее языкознание» дает достаточно сведений по истории нашей науки, и там, где он читается, нет нужды вводить отдельный курс «История языкознания». Такова, повидимому, точка зрения автора программы курса «Общее языкознание» проф. А. С. Чикобава, таково же — в применении к педагогическим институтам иностранных языков — мнение Т. А. Дегтеревой и Н. А. Слюсаревой.

В этой связи приходится обратиться к программе курса «Общее языкознание». Известно, что эта программа содержит своеобразный очерк истории языкознания XIX—XX вв., который служит как бы введением к основной части курса. Кроме то-

[1] Сначала можно было бы ограничиться несколькими вузами в крупнейших городах СССР, например, в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, где имеются специалисты, читавшие этот курс.

го, отдельные исторические сведения сообщаются в связи с изложением тех или иных проблем; естественно, что при этом многое повторяется. Не касаясь всей структуры программы, которая мне представляется не вполне удачной[1], следует сказать, что по своему объему, отбору материала указанный очерк не может заменить специального курса «История языкознания», даже если в этот очерк внести известные редакционные исправления. Основной недостаток его заключается в том, что он не может дать представления о важнейших этапах развития языкознания.

Характерно, что многие сведения по истории науки попадают, согласно этой программе, не во вводный очерк, а в другие разделы. Так, например, во вводном очерке почти совершенно не освещено развитие сравнительно-исторического метода от Боппа и Востокова к Шлейхеру, младограмматикам, Мейе и т. д. В какой-то степени это делается в разделе «Специальные методы языкознания». Взгляды таких крупных русских языковедов, как Потебня и Шахматов, характеризуются не в предварительном очерке, а только во втором разделе в связи с рассмотрением отдельных конкретных вопросов. Некоторые важные темы отсутствуют в программе совершенно: нет анализа основных положений московской и казанской школ, ничего не говорится, например, об изучении диалектов в XIX—XX вв., о развитии методов современной диалектологии у нас и за рубежом, сильно повлиявших на понимание закономерностей исторического развития языка. Кроме того, согласно учебным планам, на весь курс «Общее языкознание» отводится 36 часов, причем основная часть времени приходится на изложение системы положений марксистского языкознания, поскольку это занимает центральную часть программы. В таких условиях историческое введение никак не может дать необходимых знаний по истории лингвистической науки.

Та перестройка программы курса «Общее языкознание», которую предлагают Т. А. Дегтерева и Н. А. Слюсарева, несомненно, вносит известные улучшения в организацию материала, устанавливая в нем бо́льшую последовательность, но тем явственнее курс распадается на две органически мало связанные части: 1) история языкознания XIX—XX вв. и 2) некоторые теоретические вопросы языкознания. Внутренней логической связи между этими разделами нет. Количество часов (48, по варианту авторов) предполагается разделить поровну между обоими разделами. Возникает сомнение в целесообразности объединения этих двух разделов в одном курсе.

Постановка специального курса «История языкознания» и его включение в учебные планы потребует, очевидно, перестройки курса «Общее языкознание» не только с точки зрения сокращения его объема и изъятия того вводного исторического очерка, о котором писалось выше, но и пересмотра задач и проблематики этого курса. Не следует вместе с тем упускать из вида, что курс «История языкознания» включает обобщающий анализ системы положений марксистского языкознания как высшего этапа в развитии науки о языке. Все это не может не отразиться на содержании курса «Общее языкознание». Составление программы по курсу «История языкознания» нужно осуществлять поэтому в тесной связи с пересмотром программы «Общее языкознание». В учебных планах курс «История языкознания» должен предшествовать курсу «Общее языкознание», как это отмечают в своих статьях Г. С. Ахвледиани и В. Н. Ярцева[2].

4

Первоочередная задача в отношении курса «История языкознания» в настоящее время—создание единой программы. Конечно, эта задача не может явиться темой статьи. Программа может быть создана лишь в результате совместной работы целого коллектива языковедов. Однако уже сейчас следует предварительно наметить некоторые общие принципы и положения, которые необходимо принять во внимание при составлении данной программы.

Следует признать наиболее удачным такое построение курса «История языкознания», при котором прослеживается история различных лингвистических школ и направлений. Нельзя забывать, что обычно мы имеем дело с целостной, хотя нередко и противоречивой системой взглядов, а построение курса по проблемам не дает возможности полно и всесторонне охарактеризовать не только школы и направления, но и концепции отдельных языковедов. Так, например, понимание младограмматиками фонетических и грамматических изменений зависело от всей совокупности их взглядов на сущность языка и законы его развития, а разработка методов экспериментальной фонетики была связана с вниманием к живым языкам и с выделением индивида как носителя и творца языка. Методы лингвистического анализа, приме-

[1] Так, например, пункты, посвященные вопросам грамматического строя (п. п. 26, 27, 28, 29, 30), включающие и вопросы истории грамматической мысли, почему-то попали в раздел, озаглавленный «Специальные методы языкознания».

[2] Предложение включить курс «История языкознания» в учебные планы филологических факультетов отнюдь не означает ликвидации спецсеминаров и спецкурсов по отдельным проблемам истории языкознания.

няемые современными структуралистами, находятся в тесной связи с их пониманием сущности языка и задач лингвистической науки.

Построение курса по проблемам вызвало бы неизбежно изолированное рассмотрение отдельных вопросов, вне всей системы теоретических положений того или иного направления. Историческое изучение, например, различных методов лингвистического исследования, вне анализа воззрений создателей этих методов на сущность языка, на законы развития языка, на задачи лингвистических исследований и т. д., окажется крайне односторонним. То же самое наблюдается и тогда, когда отдельно рассматривается развитие взглядов на отношение языка и мышления, или на связь языка и общества. Только привлечение материалов, относящихся к освещению других общих проблем языкознания, помогает правильно понять взгляды данного языковеда на выделяемую проблему.

При построении курса по лингвистическим направлениям возможна не только наиболее полная и всесторонняя характеристика всей концепции данного лингвистического направления, но и действительное раскрытие связей его с современными для данного направления философскими теориями, что представляется очень существенным. Так, например, только анализ системы положений современного структурализма о сущности языка, его структуре, содержании и принципах лингвистического исследования позволяет понять связи этого направления с современными идеалистическими течениями в философии, с неопозитивизмом и семантической философией Р. Карнапа, Б. Рассела и других.

При этом, однако, нельзя историю языкознания подменять историей философских течений или историей взглядов в области сопредельных наук. Известно, что в XIX и XX вв. некоторые психологи и философы использовали язык в своих философских построениях. Отдельные философы и психологи специально занимались вопросами языка: достаточно вспомнить работы В. Вундта и Э. Кассирера[1]. Несомненно, эти философы оказывали влияние на тех или иных языковедов или на языковедческие школы, и об этом нужно сказать при анализе соответствующих лингвистических направлений. Но даже концепция Вундта или Кассирера не должна являться специальной темой в общем курсе «История языкознания»; тем более англо-американская семантическая философия находится за пределами собственно лингвистики, хотя и оперирует лингвистическими понятиями, и не может быть включена в историю языкознания[1]. Конечно, отражение идей этой реакционной философии мы видим не только в копенгагенском структурализме, в позднейших работах Л. Блумфилда и его школы, в так называемой дескриптивной лингвистике, но и в далекой от них, казалось бы, американской этнолингвистике. Показать это влияние при анализе системы взглядов названных выше лингвистических направлений, используя имеющиеся философские работы, — непосредственная задача курса «История языкознания».

Однако известная близость философских основ двух разных лингвистических направлений отнюдь не означает какого бы то ни было их даже простого номенклатурного объединения и, например, название раздела «неопозитивизм и семантизм» для объединения копенгагенского структурализма, лингвистического «механицизма» Блумфилда, дескриптивной лингвистики (иначе — американского структурализма) и американской этнолингвистики оказалось бы не более удачным, чем объединение Штейнталя, Потебни, немецких младограмматиков и московской школы под наименованием «индивидуалистический психологизм»[3].

5

Курс «История языкознания» охватывает многовековой период истории мирового языкознания. Поэтому вопрос о соотношении материала, связанного с разными эпохами, а также и вопрос о принципах периодизации всей истории лингвистической науки является весьма существенным при определении содержания программы по курсу «История языкознания».

Как справедливо отмечалось в некоторых статьях[3], этот курс не может ограничиваться освещением развития науки о языке только в Европе и Индии (что сделано, например, в очерке истории языкознания Томсена). Следует также охарактеризовать вклад в науку о языке, сделанный арабскими и китайскими учеными. Это не значит, конечно, что курс «История языкознания» должен включать материалы курсов истории частных филологий. Речь идет о включении таких материалов, которые относятся к развитию общих принципов и положений лингвистической науки. В составлении программы курса «История языкознания» требуется участие представителей разных специальностей.

---

[1] В. Вундту посвящена специальная тема в наброске программы, предложенном А. М. Финкелем; англо-американский семантизм (?) включен в перечень тем Т. А. Дегтеревой и Н. А. Слюсаревой.

[2] См. статью Т. А. Дегтеревой и Н. А. Слюсаревой.

[3] См. статьи В. Н. Ярцевой, А. В. Десницкой, особенно план курса, содержащийся в статье Г. С. Ахвледиани.

Расширение тематики курса вызывает необходимость установить очень ясные и четкие критерии отбора материала внутри каждой темы и определить соотношение материала различных частей курса.

При чтении этого курса имеется тенденция весьма подробно излагать темы, относящиеся к ранним разделам истории языкознания (языкознание в Греции, в Индии, в Риме), в ущерб полному освещению более поздних периодов. Частично эта тенденция отразилась даже в статье А. В. Десницкой, посвященной построению курса «История языкознания». Между тем, как бы мы высоко ни ставили, например, труды греческих филологов и философов, следует иметь в виду, что эти труды созданы в период, предшествующий выделению языкознания в особую науку. До начала XVIII в. вопросы языка изучаются либо в связи с вопросами философии, либо в чисто практических филологических целях. Только в XIX в. складывается новая отрасль знания — лингвистика, обособившаяся прежде всего от философии и ставящая перед собой не только узко филологические задачи. А. В. Десницкая и В. Н. Ярцева возражают против деления языкознания на «донаучный» и «научный» периоды. Полемика против подобной периодизации занимает весьма значительное место в статье А. В. Десницкой. Бесспорно, термины «донаучное языкознание» и «научное языкознание» мало удачны, но по сути дела А. В. Десницкая приходит к той же периодизации, которая скрывается за этими терминами. Она намечает следующие, по ее выражению, «поворотные» пункты в истории лингвистической науки: 1) античное языкознание, 2) языкознание начала XIX в., связанное с развитием сравнительно-исторического языкознания, 3) марксистское языкознание. Первый и второй «поворотные пункты» абсолютно совпадают с тем, что обычно обозначают мало удачными терминами «донаучное» и «научное» языкознание. И это, конечно, не случайно. Период от античной традиции и вплоть до конца XVIII в.— это предистория языкознания как особой науки, имеющей свой объект изучения, свои задачи и свои методы. Но это — предистория, без которой и вне которой не могла бы сложиться наука о языке.

Высказанные соображения обусловливают соотношение отводимых на курс часов. Анализу лингвистических направлений XIX—XX вв. должно быть отведено максимальное количество времени. Большинство авторов, принявших участие в обсуждении курса «История языкознания», отмечали, что 36 часов, уделяемых обычно на чтение этого курса, явно недостаточно. Курс «История языкознания» должен читаться в течение двух семестров IV курса, что составит около 60 часов (возможны колебания в зависимости от учебного плана отдельных университетов). Из этих 60 часов на изложение истории языкознания до конца XVIII в. следует отвести 12—14 часов. Подобное распределение часов диктуется также тем, что материал первого раздела значительно проще; по некоторым темам этого раздела имеются доступные источники. Наибольшую же сложность представляет характеристика лингвистических направлений XIX—XX вв.; вместе с тем для будущего языковеда особенно важно уметь разбираться в новейшей лингвистической литературе.

6

Общие задачи и направление курса «История языкознания», особенно ясно сформулированные в статье В. Н. Ярцевой, определяют отбор материала внутри каждой темы. Здесь существенно иметь в виду три момента.

Вузовский курс «История языкознания» не может осветить одинаково подробно все направления лингвистической мысли даже XIX и XX вв. и охарактеризовать работы всех сколько-нибудь значительных языковедов. Отбор должен определяться не только значительностью школы или языковеда в рассматриваемую историческую эпоху, но и ролью их во всем поступательном ходе развития науки о языке. Так, например, вряд ли целесообразно останавливаться на анализе работ М. Мюллера — эклектика по своим лингвистическим положениям, не сыгравшего большой роли в последующем развитии языкознания, но необходимо рассмотреть систему взглядов В. Гумбольдта, прежде всего потому, что высказанные им положения оказали значительное влияние на языковедов и в некоторой степени воскрешаются в настоящее время в работах неогумбольдтианцев различного толка. Из раздела, посвященного современным направлениям, особенно подробно должны быть изложены темы о копенгагенском структурализме и о частично смыкающейся с ним американской дескриптивной лингвистике, исторически связанной с лингвистическим механицизмом Л. Блумфилда.

Для правильного освещения того или иного направления очень существен выбор «персоналий», т. е. тех языковедов, которые рассматриваются как представители данного направления. На это справедливо обращают особое внимание в своей статье Т. А. Дегтерева и Н. А. Слюсарева. Неудачный или случайный выбор ведет к искажению перспективы. Примером такого неудачного выбора может служить перечень имен, данный А. М. Финкелем в параграфе «Судьба потебианства в русском языкознании»: наряду с Д. Н. Овсянико-Куликовским, собственно говоря, наиболее

крупным и интересным последователем А. А. Потебни, стоят имена В. И. Харциева и А. В. Ветухова — ученых, не сыгравших никакой роли в развитии языкознания.

Наконец, важен также отбор самих вопросов, включаемых в характеристику того или иного направления. В ряде напечатанных статей подчеркивалось, что нецелесообразно включать в курс «История языкознания» вопросы, относящиеся к развитию частных филологий. К этому нужно добавить, что не следует уделять слишком большого внимания и таким явлениям, которые связаны по преимуществу с одним разделом языкознания: лексикологией, грамматикой, фонетикой и т. д. Так, например, теория семантического поля Трира, несомненно, интересная для постановки теоретических вопросов лексикологии, вряд ли может быть включена в данный курс как специальная тема; однако выделение лексикологии как особой области языкознания, так же, как и выделение экспериментальной фонетики и фонологии, должны быть отражены в курсе «История языкознания»; необходимо также показать роль фонологии в развитии не только пражского и копенгагенского структурализма, но и американской дескриптивной лингвистики.

Некоторые участники обсуждения пытались выделить вопросы, которые подлежат освещению при анализе различных направлений и школ. В качестве таких вопросов выдвигались: определение сущности языка, понимание его структуры, определение законов развития языка, соотношение языка и мышления, языка и общества, наконец, методы лингвистического анализа. Действительно, указанные проблемы являются фактически центральными проблемами общего языкознания. Поэтому курс «История языкознания», сосредоточивающий внимание на изложении развития общих положений лингвистической науки, казалось, должен был бы ограничиться освещением только этих вопросов. Однако легко показать, что, помимо них, при характеристике любого конкретного направления выдвигаются и другие, весьма существенные именно для данного направления вопросы. Например, характеристика так называемой младограмматической школы и ее места в истории науки будет, конечно, не только неполной, но и искаженной, если в ней не отметить: во-первых, выдвижение на первый план изучения живых языков и диалектов, а в связи с этим появление и развитие новой отрасли знания — экспериментальной фонетики; во-вторых, новые принципы, внесенные младограмматиками в сравнительно-исторический метод в результате изучения фонетических закономерностей (положение о непреложности фонетических законов и о роли аналогии в развитии языков). Таким образом, существенным критерием при отборе необходимого материала для характеристики конкретных лингвистических направлений или системы взглядов отдельных языковедов является выдвижение на первый план того нового, что дало направление в целом или отдельный языковед для общего понимания основных проблем языкознания. Это новое может содержать и прогрессивные и реакционные положения. Выявление соотношения прогрессивного, положительного, и неверного, ошибочного, в свете марксистского понимания языка, его структуры и закономерностей его развития поможет оценить значение рассматриваемого явления в истории языкознания.

В курс «История языкознания» входит как заключительная часть обобщение основных принципов марксистского языкознания. Однако и на протяжении всего курса при анализе различных направлений и школ, особенно детально при рассмотрении материала из истории языкознания XIX и XX вв., оценка отдельных явлений основывается, естественно, на знании принципов марксистского языкознания. Эти знания студент получил в курсе «Введение в языкознание», а также в различных курсах по соответствующей специальности.

В курсе «История языкознания» материал, характеризующий то или иное направление, не только излагается, но и интерпретируется, причем раскрытие неполноты, ошибочности, а в определенных случаях реакционности тех или иных принципов и положений всегда сопровождается противопоставлением этим неверным идеям положений передовой марксистской науки. Очевидно, что критическое рассмотрение фактов из истории нашей науки означает не высокомерное отрицание всего сделанного в прошлом, а правильную оценку теоретической роли тех или иных течений, строгое отграничение всего прогрессивного от реакционного, а это возможно только на базе марксистского языкознания, которое является наследником всего наиболее прогрессивного в истории науки о языке.

7

Включение курса «История языкознания» в учебные планы филологических факультетов поставит с особой остротой перед советскими языковедами вопрос о подготовке печатных материалов по отдельным разделам этого курса, отдельных статей, монографий и, наконец, обобщающего пособия. Положение данного курса с точки зрения обеспеченности материалами крайне неблагополучно. «История языкознания до конца XIX века» В. Томсена не дает ничего по языкознанию XX в. и, кроме того, по преимуществу ограничивается рассмотрением истории разработки вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков. Дополнительный очерк, составленный

Р. О. Шор и напечатанный в виде приложения к русскому переводу этой книги, мало удовлетворителен. Некоторую помощь может оказать выходящий в скором времени в переводе на русский язык краткий очерк современного языкознания Пизани. Создание нового пособия по всему курсу «История языкознания» возможно лишь как результат большой коллективной работы целой группы языковедов. Возможно, что Институт языкознания АН СССР должен был бы взять на себя инициативу в создании такого коллектива и поставить вопрос о включении такой темы в координационные планы институтов языков некоторых республиканских академий (УССР, Груз. ССР и др.). Можно было бы привлечь к этой работе и некоторых преподавателей вузов.

Первым этапом работы должно было бы быть создание печатного проспекта, который мог бы подвергнуться всестороннему обсуждению. Очевидно, что работа над созданием подобного пособия потребовала бы нескольких лет. Тем нужнее опубликование более скромных работ, статей, брошюр, касающихся деятельности отдельных языковедов и целых направлений. Статьи акад. В. В. Виноградова об акад. Л. В. Щербе, Л. В. Щербы о Бодуэне де Куртенэ, С. И. Бернштейна об А. А. Шахматове дают известный материал для соответствующих тем курса «История языкознания», хотя и написаны для других целей. Можно назвать недавно изданную МГУ брошюру Р. А. Будагова о Ф. де Соссюре и ряд статей, напечатанных в журнале «Вопросы языкознания» и других периодических изданиях. Но все это крайне недостаточно.

Нужно, чтобы журнал «Вопросы языкознания» систематически печатал материалы по истории языкознания, чтобы эта тематика заняла соответствующее место в данном журнале. Следует обратить внимание Учпедгиза на необходимость печатания небольших брошюр (2—3 печ. листа), посвященных анализу взглядов, в первую очередь, отечественных, а также крупнейших зарубежных языковедов. Было бы желательно, чтобы в серию популярных изданий, планируемых Академией наук СССР, были включены брошюры, посвященные отдельным темам языкознания XIX и XX вв.

Во всех наших вузах пишутся десятки диссертаций на лингвистическую тематику. Но монографии, посвященные анализу системы взглядов отдельных языковедов и целых направлений, почти отсутствуют в списках тем кандидатских и докторских диссертаций. Однако нет нужды доказывать полезность подобных работ, отдельные разделы которых, несомненно, были бы напечатаны. Темы по истории отечественного и зарубежного языкознания могли бы быть включены и в планы научно-исследовательских работ вузов. Все названные мероприятия должны иметь одну цель: создание разнообразной научной и популярной литературы по вопросам истории языкознания, обеспечивающей проведение этого курса во всех вузах, где ведется подготовка специалистов по языку.

М. М. Гухман

КУРС «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» И ЕГО ПРОГРАММА[1]

Ни одна дисциплина из русского языковедческого цикла не осуществляет в такой степени связь науки с жизнью, как курс «Современный русский язык».

Какова бы ни была дальнейшая практическая и общественная деятельность студента-русиста, она в той или иной мере связана с современным русским языком. Специалист-филолог постоянно сталкивается с разнообразными вопросами современного литературного языка, с вопросами его словарной, грамматической, орфоэпической нормы. Такие вопросы требуют не только практического решения, но и теоретического обоснования. Учитель русского языка и литературы, чтобы хорошо преподавать свой предмет, чтобы успешно работать над культурой речи учащихся, чтобы уметь самостоятельно оценивать язык и стиль произведений художественной литературы, должен свободно ориентироваться в обширном языковом материале.

Постигнутый учащимися в известной системе в школе, русский язык, будучи родным или вторым родным языком, представляет собою выгодный материал для перехода от собственно учебных к научным занятиям. Дореволюционная высшая школа считала необходимым разрушить у студентов те неправильные языковые представления, какие давались тогда учащимся в средней школе, заменить их новыми, соответствующими научному уровню. В настоящее время такого разрыва, такого противоречия между средней и высшей школой нет, и тем явственнее выступают особенности курса «Современный русский язык» как в отношении объема материала, так и в отношении метода его изложения.

---

[1] Статья обсуждалась на заседании кафедры русского языка ЛГУ. Автор благодарит участников обсуждения и Е. С. Истрину за ценные указания.

*

По действующему учебному плану Отделения русского языка и литературы филологического факультета Ленинградского университета курс «Современный русский язык» читается на 5—6—7-м семестрах, после изучения курсов «Введение в языкознание», «Старославянский язык», «Диалектология», «Историческая грамматика», и идет параллельно с изучением курса «История русского литературного языка». При таком построении учебного плана курс «Современный русский язык» завершает этот лингвистический цикл, и все предшествующие языковедческие дисциплины находят в нем обобщение и завершение, конкретизацию и углубление. Подобная последовательность дисциплин кажется нам рациональной, но такая ответственная роль курса ко многому обязывает.

Каковы основные задачи данного курса?

Первая задача — усвоение самого материала науки о русском языке. У студента-филолога даже на 5-м семестре обучения нет отчетливого представления о специфике литературного языка, его стилевых разновидностях, нет ясного понимания общественного значения и научного обоснования литературной нормы, нет систематических знаний о словарном составе русского языка, поверхностны сведения о его синтаксической системе, словообразовании и т. д.

Реализация первой задачи невозможна без выполнения второй — знакомства со специальной литературой и развития навыков чтения научной литературы. Студент обязан изучить основные труды отечественных языковедов, создавших самую науку о современном русском языке: труды А. А. Шахматова, В. А. Богородицкого, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, Л. А. Булаховского, В. В. Виноградова, С. П. Обнорского и др.

И, наконец, третья, чрезвычайно важная задача — овладение лингвистической методологией на материале современного русского языка и усвоение навыков самостоятельной исследовательской работы.

Как выполнить эти задачи? Прежде всего, необходимо строить курс так, чтобы были отчетливы его общие методологические положения и чтобы исчерпывающее освещение получили основные проблемы и разделы. В лекциях следует обстоятельно излагать такие темы, как понятие литературного языка и его нормы, состав современной лексики и фразеологии, звуковая система языка и законы русской орфоэпии, теоретическое обоснование современной орфографии, учение о частях речи, основы словообразования, система именного склонения, категория вида и залога русского глагола, взаимоотношение грамматических категорий и переход одной части речи в другую, синтаксис словосочетания, синтаксис предложения и др.

Если одни темы в лекциях раскрываются полно, то другие характеризуются сжато, третьи — переносятся на практические занятия или на самостоятельную работу студента. Лекционный материал должен закрепляться в коллоквиумах, специальное проведение которых особенно необходимо в тех случаях, когда практические занятия отстают от лекций, не идут с ними параллельно. Так, например, на филологическом факультете ЛГУ уже в конце сентября проводится коллоквиум на тему «Понятие русского литературного языка»; рекомендуется следующий список литературы: Л. В. Щ е р б а, Современный русский литературный язык, «Р. яз. в шк.», 1939, № 4; В. В. В и н о г р а д о в, Величие и мощь русского языка, вып. 1, [М.], «Правда», 1944; С. П. О б н о р с к и й, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., 1946, стр. 3—8 (Предисловие); А. А. Ш а х м а т о в, Очерк современного русского литературного языка, 4-е изд., М., 1941 (глава «Происхождение современного русского литературного языка») и др. В конце октября организуется другой коллоквиум на тему «Современное литературное произношение». Сопоставление нормативных положений в статье Д. Н. У ш а к о в а «Русская орфоэпия и ее задачи» (сб. «Русская речь», Новая серия, III, Л., 1928) с положениями, данными в работе Р. И. А в а н е с о в а «Русское литературное произношение» (2-е изд., М., 1954), а также во вводной части I тома «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова и в соответствующих главах «Грамматики русского языка» Академии наук, приводит к выводу об изменениях в области современной орфоэпии. Материалы небольшой статьи А. С. Н и к у л и н а «Орфоэпия по ответам на вопросник академической „Грамматики русского языка"» («Р. яз. в шк.», 1941, № 2) показывают, как происходят поиски литературной нормы, как создается ее научное обоснование. Очень полезно также ознакомление с брошюрой М. И. М а т у с е в и ч «Русское литературное произношение» (Л., изд. Всесоюз. о-ва по распростр. полит. и науч. знаний, 1953).

Студента следует значительно чаще и смелее, чем мы это делаем, отсылать к учебному пособию. Засилие марризма на протяжении двух десятилетий породило нигилистическое отношение к учебной книге. В высшей школе все еще как бы боятся учебника по лингвистическим дисциплинам. Преподаватель стремится все рассказать, а студент все записать и, выучив записанное, сдать зачет или экзамен тому же преподавателю. Между тем польза от изучения не только хорошего, но и просто удовлетворительного учебного пособия несомненна. По курсу «Современный русский язык»

в настоящее время уже имеется некоторое количество учебных пособий. Наличие даже посредственного учебника освобождает преподавателя от необходимости читать все разделы программы.

В лекциях безусловно должны освещаться основные направления в науке о русском языке. Очень важно давать оценку рекомендуемой по этому вопросу литературы. Крайне желательно, чтобы студент умел характеризовать лингвистические направления не только с общих методологических позиций, например, логическое, психологическое, морфологическое направление в развитии русской грамматической мысли, но и отчетливо понимал бы, что и в пределах одного методологического направления возможно различное освещение отдельных категорий, например таких, как категория залога, в которой сложно сочетаются морфологические, синтаксические и лексические явления. Однако ни лекции, ни практические занятия не должны перегружаться изложением спорных вопросов нашей науки, тогда как фактический материал предмета должен быть представлен в отчетливой общепринятой системе.

Этот ответственный курс необходимо связывать с другими языковедческими дисциплинами, включенными в учебный план. Прежде всего, должна осуществляться связь с курсом «Введение в языкознание», который закладывает теоретический фундамент для дальнейших занятий языком, дает необходимую сумму общих лингвистических сведений, знакомит с лингвистической терминологией. Исторический подход к современным явлениям языка, изучение литературного языка как развивающейся и совершенствующейся системы требует тесного контакта курса «Современный русский язык» с историческими дисциплинами русского языковедческого цикла. Этот контакт естественно устанавливается по всем разделам программы. Например, при изучении чередования звуков современного русского языка и обусловленного им членения слова на морфемы необходимо использовать знания по старославянскому языку. Это не только углубляет изложение материала по современному русскому языку, но и способствует усвоению самого старославянского языка. Также нужны целесообразные обращения к курсу исторической грамматики, особенно при обосновании существующих в языке дублетных форм. Указания на пережиточный характер тех или иных явлений, на те или иные непродуктивные в современном русском языке формы заостряют внимание студентов к языковым фактам, возбуждают у студентов интерес к научным изысканиям.

К сожалению, совсем не осуществляется связь литературоведческих дисциплин с курсом «Современный русский язык», хотя материал курса стилистики и поэтики непосредственно стимулирует к этому.

Необходимо также учитывать, что параллельно с курсом «Современный русский язык», начиная с 5-го семестра и на протяжении 6—7—8-го семестров, читаются специальные курсы по русскому языку и ведутся занятия в специальных семинарах. В 1953/54 и 1954/55 учебных годах на кафедре русского языка Ленинградского университета читаются следующие специальные курсы: «Русская лексикография и лексикология», «Роль территориальных диалектов в развитии литературного языка», «Современное литературное произношение», «Теория и история русской орфографии», «Система словообразования», «Части речи в русском языке», «Синтаксис словосочетания», «Безличное предложение», «Учение о сложном предложении» и др. Организованы спецсеминары: «Морфология и синтаксис глагола», «Второстепенные члены предложения», «Номинативное предложение», «Специальная лексика в языке художественной литературы», «Язык советской драматургии» и др.

Опыт работы показывает, что, к сожалению, даже в университете значительная часть студентов нуждается в закреплении навыков по орфографии и пунктуации, поэтому приходится включать в учебный план 1-го и 2-го семестров соответствующий практикум.

*

Для разрешения больших методологических и практических задач курса «Современный русский язык» в первую очередь нужна стройная и тщательно продуманная во всех деталях программа.

Составленная после дискуссии по вопросам языкознания программа 1951 г. явилась ценным вкладом в дело подготовки лингвистических кадров: она освобождала курс «Современный русский язык» от ошибок теории Марра, давала отчетливую ориентацию на марксистское учение о языке, точнее и глубже характеризовала систему литературного языка, последовательнее использовала лучшие достижения отечественного языкознания.

К сожалению, работа над новым изданием программы не устранила, а даже усилила некоторые ее недостатки. Программа 1953 г.[1], как и предыдущая, перегружена материалом, в ней много повторений. Журнал «Вопросы языкознания» совершенно

[1] «Программа по современному русскому языку (для филол. фак-тов гос. ун-тов)», Изд-во Моск. ун-та, 1953.

справедливо отметил, что «в программе по современному русскому языку повторяются те же вопросы общего языкознания, которые занимают центральное место в программе курса „Введение в языкознание". Так, например, почти полностью совпадают разделы о слове, об основном словарном фонде и словарном составе языка, о фонеме, слоге, членении на слоги и интонационно-смысловом членении речи, о предмете и задачах грамматики, о морфологии и синтаксисе и др. Программа по современному русскому языку не меньше, чем на одну четверть (а по объему времени гораздо больше) повторяет, дублирует вопросы из программы по „Введению в языкознание"»[1]. К этому еще нужно прибавить, что многие пункты программы курса «Современный русский язык» включены в программы других специальных дисциплин. Например, тема «Литературный язык и диалекты» рассматривается, кроме курса «Введение в языкознание», в курсах «Русская диалектология», «История русского литературного языка», «Современный русский язык».

В программе многое остается неясным в связи с тем, что она в значительной части дает лишь номенклатурный перечень вопросов, указывает объем материала, план его изложения, но не направляет своими формулировками к определенному теоретическому объяснению языковых фактов.

*

Переработка программы нередко сводится к перестановке пунктов из одного раздела в другой, что подтверждается сопоставлением отдельных частей программ 1947, 1949, 1951, 1953 годов. Педагогическая роль учебных программ при подобной «переработке» безусловно снижается, тем более, что эта перестановка далеко не всегда улучшает дело. Так, например, «Введение» в последней редакции программы явно нарушает логическую последовательность изложения материала: в тему «Связи русского языка с языками других народов» вклиниваются темы, раскрывающие понятие литературного языка и процесс его образования. Уже во «Введении» программа значительно полнее и глубже должна была бы представить проблему литературной нормы, ее общественную обусловленность; может быть, стóит отметить дореволюционный пуризм и ложность его установки. В разделе «Лексика и лексикология» многое остается неясным, многое, на наш взгляд, к данному курсу не относится.

Программа рекомендует преподавателю определить главные разряды слов основного словарного фонда по значению, и, очевидно, предполагается определение таких же разрядов слов словарного состава. Но какие это слова конкретно? Вопрос о критериях выделения слов основного словарного фонда сложен, и именно программа, ориентирующая на определенные идеи, должна была бы наметить примерные разряды этих слов.

Нельзя не согласиться со справедливым замечанием акад. В. В. Виноградова о том, что «студент, знакомящийся со строем современного русского языка, языка советской эпохи, попадает в довольно странное положение. Филолог-русист на третьем году обучения в высшей школе уже знаком с историей звукового и морфологического строя русского языка, но он не представляет себе ясно ни развития и исторического усовершенствования синтаксиса русского языка, ни исторических изменений словарного запаса общерусского языка, ни процесса развития его основного словарного фонда»[2]. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы студент знал все это, но невозможно осуществить зафиксированное в программе предложение — выявить на современном материале общеславянскую и восточнославянскую лексику, а затем определить исконно русскую лексику и ее отличительные признаки. На какие авторитетные исследования в этой части следует опираться? Не преждевременно ли включение этих ответственных вопросов в программу высшей школы?

Зато роль словообразования в развитии и обогащении лексики русского языка в программе не раскрыта: не названы основные типы словообразования, неологизмы и их типы даны вне связи со словообразованием. Между тем эти вопросы должны занимать в разделе лексики центральное место.

В программу следует включить пункт о разных путях заимствования слов: через непосредственное общение носителей языков (например, слова финские, татарские) и через литературный язык (например, французские слова в XVIII в.).

В разделе «Основные черты развития русской лексики в советскую эпоху» без каких-либо пояснений сказано: «Перемещение ряда слов из словарного состава в основной словарный фонд русского литературного языка». Перемещение, очевидно, возможно и обратное. Но каких именно слов? Формулировка нуждается в конкрети-

---

[1] «О лингвистическом высшем образовании и подготовке научных кадров по языкознанию [передовая]», ВЯ, 1954, № 2, стр. 11.

[2] В. В. Виноградов, Содержание и задачи курсов по языковедческим дисциплинам в свете работ И. В. Сталина по языкознанию, сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», [М.], 1950, стр. 210.

зации. Кроме того, данное явление возможно не только в языке советской эпохи; подобные перемещения были на протяжении всей истории языка. На наш взгляд, лучше в этот раздел ввести пункты о проблеме словарной нормы, о борьбе за точность слова и идеологическую выдержанность речи.

Лексикография в программе, к сожалению, дана вне всякой связи с лексикологией. Основной недостаток отдела «Лексика и лексикология»— перегруженность разнообразной и зачастую мало доступной для большинства русистов тематикой. При крайней бедности учебными пособиями по лексике, при отсутствии специальных исследований по ряду лексикологических вопросов исчерпывающее изложение материала этого отдела представляет большую трудность для преподавателя.

*

Неясно, каково отношение фонетики к лексике и грамматике: во «Введении» ничего не говорится о разделах курса и их взаимоотношении. Сопоставляя программу 1953 г. с программами предыдущих лет, замечаешь, что отдел «Фонетика» сокращен, что из него почему-то исключены некоторые важные вопросы. В программе нет вопросов о транскрипции и ее типах, об источниках отклонения от литературного произношения. При характеристике орфографии не указываются не только дифференцирующие написания, но и традиционные. Непонятно, чем это объясняется.

Иногда содержание раздела не отвечает его заглавию. В разделе «Графика и орфография» после заголовка «Слитные и раздельные написания» дана тема «Правописание прописных букв». В разделе «Орфоэпия» есть заголовок: «Исторические основы русского литературного произношения», но об этих основах больше ничего не сказано, а сразу дан пункт «Варианты русского литературного произношения».

Вообще отдел крайне беден направляющими формулировками. Что значит, например, «Особенности произношения некоторых слов иноязычного происхождения»? Ожидается ли здесь перечень отдельных слов или должны быть высказаны какие-то общие положения? Не лучше ли так сформулировать вопрос программы, чтобы ясно было, как его раскрывать, например: «Колебания в произношении иноязычных слов *по законам данного языка и языка русского (тэмп—темп)*». Каким содержанием нужно наполнить тему «Отклонения от литературного произношения»? Пойдет ли здесь речь об узаконенных отклонениях от традиционного московского произношения или о случайных, индивидуальных отклонениях, или об отклонениях, распространяющихся в наше время?

В программу следовало бы включить учение акад. Л. В. Щербы о полном и разговорном стиле речи. Необходимо отметить значение орфографических словарей.

*

Сопоставление двух редакций программы — 1951 и 1953 гг.— по отделу «Грамматика» также показывает, что частые переделки не идут на пользу учебной программе. Неизвестно, например, что заставило авторов в программе 1953 г. снять все определения частей речи по значению. При характеристике имени существительного, имени прилагательного указаны лишь их морфологические признаки и синтаксические функции, но не говорится об общем значении этих частей речи. Имя числительное, местоимение не определяются, а сразу даются их разряды. Лишен общего определения по значению и глагол.

В последней редакции программы нет определения значений отдельных грамматических форм и категорий, а в программе 1951 г. они были; например, значение категории вида, наклонения и др. Непонятно, для чего это сделано, если на протяжении всей истории нашей науки усилия лучших отечественных языковедов были направлены именно на выявление смысла, значения наблюдаемых в языке форм.

В программе 1953 г., пересмотренной, очевидно, в спешке, пропущены важные грамматические факты: безличные глаголы, усеченные формы прилагательных, но дважды сказано об ударении в кратких прилагательных; нет вопроса о соотношении различных разрядов числительных по грамматическим формам с другими частями речи, но даны разряды местоимений по соотношению с наречиями.

Неотчетливо сформулированы параграфы о переходе одной части речи в другую. В § 4 написано: «Существительные, образовавшиеся из прилагательных, и их склонение». Неясно, какой здесь имеется случай: *белок* от *белый* или «белые» (— «красные») от *белый*. Ниже, в § 5, говорится об «образовании прилагательных из причастий». Это неточно, так как причастия получают значение прилагательных, а термин «образование» в том смысле, как он был употреблен, здесь применить нельзя.

Категории вида и залога включены в описание спрягаемых форм глагола, чем создается впечатление, будто другие глагольные формы вида и залога не имеют. Нехороша формулировка: «Виды и способы их образования». Виды не всегда «образуются», а присущи данным глаголам (*идти, нести*). Не лучше ли сказать: «Совершенный

и несовершенный вид и способы образования одного вида от другого»? Очевидно, ошибочно в тему «Соотношение времени и вида» попало наклонение. Не всегда в программе выдержана терминология: кроме синтаксической функции и синтаксической роли той или иной части речи, еще говорится о «синтаксическом использовании» (неопределенная форма глагола), «об употреблении» (притяжательные прилагательные).

*

Еще худшее впечатление производит отдел «Синтаксис»: по преимуществу — это голый перечень вопросов, без установок, без идей; в нем совсем не упоминается о литературной норме в синтаксисе, о стилистической характеристике синтаксических явлений. Забыто, что «описательная грамматика не может не ставить перед собой нормативных целей: она не просто фиксирует то, что есть в языке, не эмпирически описывает и коллекционирует факты, а описывает их в системе. Ее задача — не просто отразить грамматический строй языка в его современном состоянии, но и указать, что соответствует законам языка и что этим законам противоречит. Научная описательная грамматика современного литературного языка должна быть нормативной»[1].

Все синтаксические явления даны в статике. Программа не стимулирует преподавателя к показу постоянного совершенствования грамматического строя русского языка. Вопрос о соотношении описательного и исторического синтаксиса даже не поставлен.

Опущены отмеченные программой 1951 г. значения ряда синтаксических явлений. В отделе «Синтаксис» преподаватель также находит немотивированные и чаще всего неудачные перестановки разделов и неожиданные пропуски многих важных явлений синтаксиса современного языка.

Сделаем несколько частных замечаний.

1. Синтаксис определяется не только как учение о сочетании слов в предложении, но и как учение о типах предложения. Последнее определение очень удачно, так как охватывает собою и сложное предложение. Задерживает внимание формулировка «Предложение как основная синтаксическая единица общения и обмена мыслями». Разве общение не предполагает обмена мыслями?

2. В разделе «Словосочетание» не указаны главные и второстепенные способы выражения синтаксических отношений. Среди различных видов синтаксической связи опущена связь сочинительная. Нельзя противопоставлять свободные словосочетания фразеологическим, так как не всякое несвободное словосочетание есть сочетание фразеологическое.

3. В прежней программе не нашел себе места вопрос о модальности высказывания; теперь этот недостаток удачно устранен введением темы «Типы предложений по характеру выражаемого в них отношения к действительности и их различное интонационное оформление».

4. По сравнению с программой 1951 г. вопрос об именном сказуемом в новом издании программы сужен: представлено только «именное составное сказуемое». Это позволяет предположить, что программа относит к составному именному сказуемому именное сказуемое без связки, тем более что опущено замечание о закономерности отсутствия связки при выражении в именном сказуемом значения настоящего времени.

5. Следовадо бы включить вопрос о принципах классификации второстепенных членов предложения, о соотношении между второстепенными членами и частями речи, ввести замечания о различении управляемых определений и приименных дополнений, приглагольных дополнений и обстоятельственных слов, необходимо определять синтаксическую роль инфинитива. Программа рассматривает второстепенные члены как средство распространения только двусоставного предложения, между тем распространенным может быть и предложение односоставное.

6. Совсем выпущена тема о прямом и обратном порядке слов в предложении. Непонятно, чем вызвано исключение этого важного вопроса.

7. Исходя в данном случае, повидимому, из требований формального, регистрирующего метода, программа не рекомендует определять в курсе синтаксическую функцию обособленных второстепенных членов предложения, не рекомендует выявлять условия их обособления.

8. Тема «Типы односоставных предложений» передвинута, и, таким образом, все основные вопросы структуры простого предложения отнесены к предложениям двусоставным, между тем и второстепенные члены, и однородные, и обособленные члены, и вводные слова, обращения, междометия могут быть и в односоставном предложении. Это нарушение внутренней стройности усиливается еще тем, что тема «Неполные пред-

[1] «Вопросы составления описательных грамматик. (Коллективный доклад на Совещании по вопросам составления описательных грамматик, лексикографии и диалектологии 18—23 мая 1953 г.)», ВЯ, 1953, № 4, стр. 3.

ложения» следует сразу за односоставными, которые по природе своей, за весьма редкими исключениями, являются полными, а вопрос об отличии неполных предложений от односоставных программой снят.

9. Вслед за безличными и номинативными предложениями в программе идут «Междометные предложения и их функции». Очевидно, междометные предложения рассматриваются в плане классификации предложений, данной акад. А. А. Шахматовым; но разве не правильнее было бы поставить только вопрос о междометных предложениях, точно так же, как и вопрос о предложениях вокативных?

10. Следует включить в программу вопрос о классификации придаточных предложений, а также, что особо важно, вопрос о классификации предложений бессоюзных, поскольку в специальной литературе по этому вопросу высказываются различные мнения. Не стоит ли дать определение периода как особой формы сложного предложения литературно-книжного языка.

11. В литературном языке, помимо прямой и косвенной речи, имеются различные формы несобственно прямой речи, поэтому в программу следовало бы ввести пункт о всех способах выражения чужой речи.

12. При изложении системы русской пунктуации необходимо охарактеризовать смысловые, интонационные и собственно грамматические ее основы. В заключительном разделе синтаксиса есть пункт «Обзор употребления знаков препинания». Что надлежит делать преподавателю, когда он читает этот раздел? Повторять весь курс синтаксиса? О знаках препинания, на наш взгляд, следует говорить в связи с прохождением соответствующего синтаксического материала: например, при определении явлений осложнения простого предложения, при определении природы сложного предложения.

В заключение еще раз отметим, что программа в новом издании, к сожалению, не ставит вопроса о грамматической норме, не пытается указать на стилистические варианты синтаксических конструкций, ничего не говорит о грамматических синонимах. Программа не ориентирует на рассмотрение явлений современного русского языка в их движении. Специальные разделы программы не являются руководством ни для преподавателя, ни для студента.

И еще одно. Мы постоянно сетуем на то, что учащиеся высшей школы плохо ориентируются в специальной литературе. Но программа не популяризирует имена отечественных языковедов. Почему в тексте программы при изложении вопросов фонетики, орфоэпии и орфографии не названы имена Л. В. Щербы, Д. Н. Ушакова, в параграфах о двусоставном и односоставном предложении не указываются работы А. А. Шахматова, а в параграфе об обособлении — А. А. Потебни, А. М. Пешковского и т. д.?

Приложенный к программе список литературы во вводной части должен быть значительно сокращен, а в специальной — разделен на основную и дополнительную.

Э. И. Коротаева

№ 3 1955

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Грамматика русского языка. Т. II — Синтаксис. — М., Изд-во АН СССР, 1954. (Ин-т языкознания АН СССР.) Ч. I — 704 стр. Ч. II — 444 стр.

В ноябре прошлого года вышел в свет второй том «Грамматики русского языка», подготовленный коллективом научных сотрудников Института языкознания АН СССР и посвященный синтаксису современного русского языка. Осуществлением этого капитального труда Институт языкознания завершил выполнение ответственного задания, возложенного на него Президиумом АН СССР в связи с назревшей необходимостью и запросами языковедов, преподавателей вузов, школ и всей советской общественности.

Об исключительной актуальности этого издания упоминалось в ряде рецензий на первый том академической «Грамматики русского языка», вышедший в свет в 1952 г. и содержащий материалы по фонетике и морфологии[1]. «Академическая грамматика русского языка, которую так долго ждали,— писал Л. А. Булаховский,— наконец появилась, и приятно констатировать, что она может смело быть отнесена к выдающимся событиям советской лингвистической науки»[2].

Следует подчеркнуть, что завершение подготовки первого и второго томов академической грамматики протекало в условиях глубокой перестройки всей языковедческой работы в свете итогов свободной лингвистической дискуссии 1950 г. и опубликования труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Правда, составители не стремились «к углубленной теоретической постановке спорных и сложных теоретических вопросов...», не пытались «дать их разрешение» (т. I, стр. 4). Тем не менее в процессе обобщения результатов новейших исследований и переосмысления ряда явлений и категорий грамматики в свете марксистско-ленинского учения о языке авторский коллектив оказался вынужденным, не ограничиваясь изложением общеизвестных положений и правил, давать новые материалы, определения и терминологию, что относится как к первому, так и ко второму тому рецензируемого издания.

Издание второго тома академической грамматики ожидалось с особым нетерпением, так как до сих пор были недостаточно разработаны многие проблемы, относящиеся к синтаксису русского языка имелось много спорных толкований и правил, не изученных явлений, категорий и процессов.

Было бы неправильным рассчитывать на то, что немногочисленный авторский коллектив за сравнительно короткий промежуток времени полностью преодолеет серьезное отставание в разработке синтаксических проблем, тем более, что многое из того, что было подготовлено ранее, пришлось коренным образом переработать.

«В связи с расширением и углублением синтаксического учения о словосочетании,— читаем мы в „Предисловии“,— должен был подвергнуться существенным изменениям и план исследования, а также изложение тех вопросов русского синтаксиса, которые относятся к учению о простом предложении, его членах, его разновидностях, о сложном предложении и его типах» (т. II, стр. 3).

И тем не менее, несмотря на эти специфические трудности, авторский коллектив и редакционная коллегия представили подробное описание основных типов словосочетаний и предложений современного русского языка и тем самым в значительной мере разрешили поставленные перед ними большие и сложные задачи.

Две объемистые книги второго тома Грамматики содержат большой фактический материал и примечательные новые установления, правила и выводы. Можно не сомневаться в том, что деятели советской науки о языке, преподаватели вузов и школ, а также писатели, работники культуры и просвещения, ознакомившись с содержанием второго тома, найдут в нем немало ценного и необходимого как для пополнения зна-

---

[1] См. рецензии: В. П. Сухотина («Сов. книга», 1952, № 11), Л. А. Булаховского («Р. яз. в шк.», 1953, № 1), Э. И. Коротаевой (ВЯ, 1953, № 1); см. также «Замечания» С. П. Обнорского («Доклады и сообщения Ин-та языкознания [АН СССР]», VI, М., 1954) и сообщение Е. А. Иванчиковой (ВЯ, 1953, № 2).

[2] Л. А. Булаховский, [Рец. на кн.:] «„Грамматика русского языка“, т. I — Фонетика и морфология, М., 1952» — «Р. яз. в шк.», 1953, № 1, стр. 68.

ний о современном русском языке, так и для своей научной, творческой и педагогической работы.

Но не все в этом обстоятельном издании является правильным, четким и безупречным. Наряду с достоинствами в нем имеются и существенные недочеты, спорные утверждения и пробелы, о чем будет сказано ниже.

Следует надеяться, что в результате широкого общественного обсуждения второго тома Грамматики, доброжелательной и обоснованной критики его содержания и построения эти недостатки будут установлены и по возможности устранены при последующих переизданиях.

*

Том второй академической «Грамматики русского языка», посвященный вопросам синтаксиса, состоит из двух частей (и соответственно двух книг), составляющих в целом 1147 страниц текста. Часть первая, кроме обширного «Введения» (стр. 5—111), содержит раздел «Словосочетание» (стр. 115—352) и значительную часть раздела «Предложение» (простое двусоставное предложение, стр. 355—693). Вторая часть тома включает материалы по односоставному предложению (стр. 5—122), главы, посвященные обращению, вводным и вставным словам, словосочетаниям и предложениям (стр. 122—176); далее следуют разделы «Сложное предложение» (стр. 177—403) и «Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь» (стр. 404—434).

Не имея возможности в краткой рецензии подвергнуть анализу все разделы и главы этого большого и содержательного издания, мы коснемся лишь тех особенностей его состава и построения, которые представляются наиболее примечательными.

Бросается в глаза обилие фактического материала, извлеченного из произведений дореволюционной русской и современной советской художественной литературы. Исключительно большой объем издания не вызывает особых упреков главным образом потому, что значительную его часть составляют примеры и иллюстрации как необходимое основание для выводов, обобщающих заключений и правил.

К сожалению, далеко не все произведения, послужившие источниками фактического материала, можно считать примерами образцовой литературной речи. Вряд ли, например, наряду с Пушкиным, Л. Толстым, Горьким, Шолоховым, Маяковским, следовало безоговорочно опираться на синтаксические конструкции, встречающиеся в произведениях таких писателей и поэтов, как Загоскин, Мей, Слепцов, М. Голодный, Панферов и др. Можно указать на недостаточное использование лучших произведений научно-деловой и публицистической речи и пр. Тем не менее бо́льшая часть синтаксических конструкций, приведенных авторами в качестве иллюстраций, представляет собой превосходный материал, взятый из произведений выдающихся представителей русской литературы, что, естественно, повышает степень убедительности многих обобщений и является несомненным достоинством Грамматики.

Особого внимания заслуживает собственно теоретическая сторона издания, обусловившая состав и построение второго тома, многие трактовки и определения.

Впервые в отделе грамматики, посвященном синтаксису, выделяется обширная, насыщенная фактами глава, в которой рассматриваются структура и функции словосочетаний (I, стр. 115—352), далее приводятся существенные сведения о порядке слов в предложении (I, стр. 660—693), по-новому определяются сущность и особенности неполных предложений (II, стр. 88 и сл.), вводятся специальные главы, характеризующие инфинитивные предложения (II, стр. 43 и сл.), вставные предложения, слова и сочетания слов (II, стр. 167 и сл.), сложные предложения усложненного типа (II, стр. 359 и сл.) и пр.

Обстоятельное «Введение» ко второму тому Грамматики, написанное акад. В. В. Виноградовым, не является только собранием предваряющих замечаний общего характера. Перед нами обширное, оснащенное фактическим материалом, развернутое изложение основных принципов синтаксической теории применительно к русскому языку.

Обратившись к содержанию «Введения», читатель найдет в нем углубленную характеристику состояния и важнейших задач русской синтаксической науки, критическую оценку сложившихся к нашему времени представлений и правил, оригинальное решение ряда назревших теоретических задач в свете итогов лингвистической дискуссии 1950 г. и ближайших перспектив развития советского языкознания. По этому, прежде чем говорить о достоинствах и недостатках основной части второго тома, представляется необходимым внимательно отнестись к материалам вводной главы, содержащей, по нашему мнению, важнейшие теоретические основы издания.

В самом начале «Введения» выясняются основные проблемы соотношения и взаимодействия морфологии и синтаксиса. В результате тщательного анализа употребления слов и форм слов русского языка четко формулируются основные черты морфологии и синтаксиса как составных частей грамматики.

«... Морфология,— говорится во „Введении“,— изучает слова и их формы в их внутреннем единстве и в их различиях, зависящих от принадлежности разных типов

слов к разным системам словоизменения, к разным морфологическим и отчасти словообразовательным категориям, к разным частям речи; синтаксис же захватывает в сферу своего рассмотрения слова и формы слов с точки зрения их сочетаемости друг с другом и с точки зрения их функций в составе словосочетания и предложения, которые и составляют основной предмет синтаксиса» (стр. 9). И далее: «морфология рассматривает формы отдельных слов в их образовании и значении, а синтаксис — употребление форм отдельных слов в словосочетаниях и предложениях» (там же).

Много существенных, очень тонких наблюдений и характеристик содержат главы «Введения», в которых приводится описание структуры и значения словосочетаний, их соотношения и взаимодействия с предложением, с фразеологическими единицами и отдельными словами. Примечательны указания на функциональную связь и синонимический параллелизм разных видов словосочетаний (стр. 62 и сл.); эти существенные наблюдения и указания должны быть приняты во внимание при разработке сложных проблем синтаксической синонимики в русском языке.

Очень краткие замечания о синонимических соответствиях словосочетаний попадаются и в основных разделах первого тома Грамматики (стр. 159, 174, 182, 197, 201, 214, 221 и др.). Обобщение и анализ этих существенных наблюдений — очередная задача языковедов-русистов.

Столь же богаты содержанием и выводами главы «Введения», в которых рассматривается предложение как предмет синтаксиса, предикативность и интонация сообщения как основные грамматические признаки предложения, вопрос о главных и второстепенных членах предложения и, наконец, сложное предложение.

«Предложение — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли» (стр. 65).

Это, на первый взгляд, слишком общее определение предложения здесь же дополняется указаниями и на другие его особенности, свойства и признаки (коммуникативность, модальность, порядок слов, интонация), что в целом образует довольно подробную и всестороннюю характеристику предложения как «главной грамматической формы выражения и сообщения мысли в процессе общения».

Конструктивно-грамматические признаки предложения — это интонация сообщения и предикативность; «... интонация является грамматическим средством оформления предложения и выступает в качестве одного из постоянных характерных признаков предложения» (стр. 77). Однако интонация не является единственным и всеобщим грамматическим признаком предложения; «интонация сама по себе, т. е. вне словесного содержания, вне отношения речи к действительности, мысли не выражает... Без слов она может быть выразительной, но не является содержательной, т. е. не служит материальной оболочкой мысли» (стр. 78).

В связи с этим особое значение приобретает второй, весьма существенный конструктивно-грамматический признак предложения — предикативность, как необходимый фактор и условие образования всякого предложения: «... значение и назначение общей категории предикативности, формирующей предложение, заключается в отнесении содержания предложения к действительности» (стр. 80).

При этом грамматическое значение отнесенности содержания предложения к реальной действительности, как правило, выражается не только в синтаксической категории модальности, но и в синтаксических же категориях времени и лица. «Именно эти категории,— говорится во „Введении",— придают предложению конкретность и актуальность основного средства общения» (стр. 80).

Определение модальности, времени и лица как синтаксических категорий обусловлено тем, что распространенное в ряде грамматических исследований стремление выдвинуть глагол (*verbum finitum*) в качестве необходимого средства грамматической структуры предложения признается неправильным и необоснованным: «... при таком чисто морфологическом подходе,— утверждается во „Введении",— синтаксическое учение о предложении в целом получало односторонний и искаженный характер: оно не отражало всего многообразия структурно-грамматических форм предложения в русском языке» (стр. 78). По мнению автора, синтаксические категории, связанные со структурой предложения, только базируются на морфологических категориях, но далеко выходят за их пределы.

«Категория времени и модальности,— читаем мы далее,— а также — в широком синтаксическом понимании — и категория лица, т. е. категории, выражающие отношение сообщения к действительности и подводимые под общее понятие „предикативности", могут быть свойственны предложению в целом — независимо от наличия глагола в его составе» (стр. 79).

Несмотря на явное преобладание предложений с глагольным сказуемым во всех видах и стилях современного русского языка (что, разумеется, нельзя игнорировать при описании его синтаксического строя), вряд ли можно сомневаться в том, что наличие глагола в предложении вовсе не является обязательным для грамматической структуры всех типов предложения. Распространенные в языке номинативные предложения (*Ночь. Зима. Ясное утро*), побудительные (*Тише! Огонь!*

Воды! К оружию!), слова-предложения (*Да. Нет. Конечно. Еще бы*) и т. п., хотя и не включают глагола-сказуемого, все же являются предложениями разной степени зависимости от ситуации и окружающего их контекста.

И тем не менее далеко не все в определении предикативности и способов ее выражения в русском языке, как это представлено в Грамматике, является бесспорным, ясным и убедительным.

Что касается категории модальности, выражающей отношение сообщения к действительности и расчленяющей общее значение отнесенности сообщения к действительности, то она, несомненно, присуща этим предложениям, как и всем другим, поскольку данное отношение легко выявляется не только из контекста и ситуации, но часто поддерживается употреблением модальных частиц и модальных слов, а также особыми формами интонации.

Значительно труднее доказать наличие в предложениях подобного типа каких-либо явлений, которые выражали бы синтаксические значения времени и лица. По поводу синтаксического значения времени во «Введении» говорится о том, что в предложениях типа *Огонь!, Брр!* (в значении «холодно» или «я озяб»), *Пора, пора!, Минуту внимания!, Тишина!* и т. п. оно создается «ситуацией и контекстом» (стр. 81—82). В вопросо-ответных предложениях «значение времени нередко (?) предопределено предшествующим вопросительным предложением» (стр. 82).

Не отрицая возможности установить из контекста или ситуации значение времени в приведенных предложениях, приходится указать на недостаточность характеристики тех сфер, которые могли бы послужить источником подобных установлений.

Любопытно, что в соответствующих разделах и главах основной части (см. «Побудительные предложения», I, стр. 366; «Номинативные предложения», II, стр. 59; «Неполные предложения», II, стр. 107 и сл.), несмотря на большое количество приведенных примеров, о выражении в них синтаксического значения времени даже не упоминается.

В особенности затруднительным оказывается выявление синтаксического значения лица в предложениях безличных, номинативных, неполных, инфинитивных и т. п. «Так как предложение как основная форма речевого общения,— говорится во „Введении",— служит одновременно и средством выражения мысли для говорящего лица и орудием понимания высказанной мысли для лица слушающего, то структура предложения, естественно, включает в себя и разные способы выражения синтаксической категории лица» (стр. 82). При этом «в строго определенных типах предложений отношение к лицу может выражаться также посредством особых интонаций, например, требования, побуждения, просьбы, приказа или упрека, желания и т. п.» (там же). В качестве иллюстрации приводятся такие предложения, как: *И, полно, что за счеты...* (Крыл.), *А вам, искателям невест, Не нежиться и не зевать бы...* (Гриб.), *Полно врать пустяки...* (Пушк.), *Прощай, свободная стихия!* (Пушк.), *Вон!, Прочь!, Сюда!, Долой поджигателей войны!* и т. п.

Установление способов выражения синтаксической категории лица в такого рода предложениях вряд ли осуществимо без специальных исследований, изучения контекста, обстановки, в которой произносится речь, и соответствующих типов интонации. Совершенно очевидно, что здесь необходим анализ большого количества предложений различных структур, установление типических явлений и закономерностей, обусловленных характером текста. Только в этом случае выдвигаемое положение могло бы получить необходимые фактические основания.

Между тем авторы соответствующих разделов и глав основной части издания даже не пытаются реализовать то понимание предикативности и способов ее выражения, которое излагается во «Введении». Так, характеризуя значение безличных предложений, авторы ограничиваются указанием на то, что в этих предложениях «главный член в личной форме безличного глагола (?) или предикативного наречия (а также безлично употребленной формы личного глагола) выражает проявление каких-либо процессов или состояний независимо от активного деятеля, от „субъекта действия" (при личных глаголах обозначаемого формой именительного падежа)» (II, стр. 12—13; разрядка наша.— *Авторы*). Таким образом, синтаксическая категория лица в безличных, а также в безглагольных предложениях составителями не усматривается, что противоречит соответствующим утверждениям теоретической части издания.

Нельзя не согласиться с тем, что выражение предикативности в разных типах предложений современного русского языка не является одинаковым. Но для того, чтобы изучить разные виды и способы этого выражения, вскрыть соотношение и взаимодействие категорий модальности и времени, отношение действия к лицу действующему и говорящему,— необходимы углубленные частные исследования. При этом было бы не бесполезным дифференцировать изучаемые синтаксические конструкции в зависимости от характера, содержания и формы речевой деятельности. Можно не сомневаться, например, в том, что виды предложений, типичные для разговорной речи и воспроизводимого на письме диалога, окажутся нетипичными для письменного изложения монологической речи, и наоборот. Раздельное изучение синтаксических

структур в соответствии с формами речевой деятельности и характером текста помогло бы установить и те различия в способах выражения предикативности, которые так существенны для понимания конструктивно-грамматических признаков предложения.

*

Особого внимания, как уже отмечалось, заслуживает специальный раздел второго тома Грамматики, посвященный словосочетанию. Этот обширный раздел, занимающий в первой части тома 240 страниц текста, предшествует разделу «Предложение» и распадается на шесть неравных по объему глав в соответствии с классификацией словосочетаний по характеру стержневого (грамматически господствующего) элемента или «главного слова»: словосочетания с глаголом в роли главного слова, словосочетания с именем существительным, с именем прилагательным, с местоимением, с именем числительным и с наречием.

Имея в виду функциональную и структурно-грамматическую соотнесенность словосочетаний разных типов с именами существительными, прилагательными, местоимениями и числительными (ср.: *скрипач из ансамбля, лучший из студентов, кто-то из делегатов, один из сотрудников*), их обычно объединяют в группу именных словосочетаний (ср. «Введение», стр. 13). Таким образом, деление словосочетаний по структурно-грамматическим признакам должно было бы дать не шесть, а всего три категории или группы: именные, глагольные и наречные (адвербиальные). Установление шести разновидностей обусловлено, видимо, стремлением авторов Грамматики к более детальной, дифференцированной характеристике разных типов словосочетаний.

Следует полностью согласиться с автором «Введения», что «вопросы о грамматической сущности словосочетания, об объеме словосочетания, о его форме и значении, о его отношении к предложению и слову в разных языках еще остаются мало изученными» (стр. 10). Слишком расширенное понимание словосочетания в трудах акад. Ф. Ф. Фортунатова, проф. А. М. Пешковского, проф. М. Н. Петерсона, игнорирование этой категории у других языковедов, элементы смешения словосочетания и предложения и т. п.— таковы, по мнению составителей, основные недостатки и ошибки в определении сущности словосочетания и его специфики.

Представляется необходимым, хотя бы в самых общих чертах, коснуться того понимания категории словосочетания, которое излагается во «Введении». «Изучая правила сочетаемости слов и форм слов,— читаем мы там,— синтаксис, естественно, прежде всего обращается к тем грамматическим единствам, которые, возникая из сочетания слов по законам или правилам данного языка, выражают в составе предложения единые, хотя и расчлененные значения. Такого рода грамматические единства, словосочетания, состоящие... не менее чем из двух полнозначных слов, являются строительным материалом для предложения. Словосочетания только в составе предложения и через предложение входят в систему коммуникативных средств языка. Но рассматриваемые вне предложения, как строительный материал для него, словосочетания так же, как и слова, относятся к области номинативных средств языка, средств обозначения предметов, явлений, процессов и т. п.» (стр. 10).

Многое в этом определении представляется бесспорным и актуальным для изучения синтаксического строя как русского, так и других языков. Безусловно правильно указание на то, что «в правилах сочетания слов, в закономерностях образования разных видов и типов словосочетаний ярко проявляется национальная специфика языка» (стр. 11).

В последующих главах «Введения» излагаются особенности грамматической структуры именных, глагольных и наречных словосочетаний, определяются их типы по отношению к частям речи и к функционированию в предложении, по составу и объему, по семантическим классам и словообразовательным гнездам. Много внимания уделяется выяснению характера и видов синтаксических отношений между словами в словосочетании. Нельзя не согласиться с тем, что в пределах каждого из трех видов связей—согласования, управления и примыкания—у нас объединяются «очень далекие и очень различные синтаксические явления» (стр. 23). Ср., например, уподобление в роде, числе и падеже (*высокого дома*), уподобление только в падеже (*пяти книг*), уподобление «приложений» (*в деревне Выселки*), уподобление форм прошедшего времени глагола форме именительного падежа подлежащего в единственном и множественном числе (*книга лежала* и *книги лежали*) и пр. Весьма существенные наблюдения сделаны в области взаимодействия грамматических категорий и лексических значений слов в формах словосочетаний, в установлении правил их образования и пр.

Все эти наблюдения и выводы, в значительной мере определившие интерес и ценность основной части тома, заслуживают специального анализа и характеристики. Имея в виду необходимость коснуться и других разделов книги, ограничимся лишь некоторыми замечаниями по вопросам, которые представляются нам спорными.

Если внимательно отнестись к содержанию приведенного выше пространного определения и принять во внимание последующее изложение, нетрудно заметить настоятельное подчеркивание тезиса об отличиях словосочетания от предложения: «... сло-

восочетание и предложение — качественно различные категории синтаксиса. Словосочетание, в отличие от предложения, совсем не является цельной единицей языкового общения и сообщения. Для структуры словосочетания не характерны и не типичны те своеобразные так называемые субъективно-объективные синтаксические категории (вроде категорий лица, времени и модальности), которые обусловливают относительную законченность сообщаемой мысли в речи» (стр. 11).

Признавая многие отличия словосочетания от предложения, нельзя не отметить ряда вопросов, возникающих в связи с необходимостью вскрыть сущность и специфику данной синтаксической категории.

Чем же является словосочетание по отношению к предложению? к слову? к фразеологическому единству? Где, почему и в какой речевой обстановке словосочетание возникает? Каковы факторы, определяющие его употребительность, продуктивность, его семантическое развитие и структурное усложнение?

Ответ на эти вопросы заключен, повидимому, в указании на то, что словосочетание, являясь номинативным средством языка, средством обозначения предметов, явлений и процессов, представляет собой, к а к и с л о в о, строительный материал для предложения. При этом «в структуре предложения словосочетания могут быть раздвинуты или расслоены в силу тех или иных стилистических, эмоционально-смысловых мотивов. Они могут сливаться или пересекаться друг с другом. Они могут подвергаться изменениям, типическим для тех или иных видов распространения и осложнения предложений» (стр. 47).

Выходит, что так называемые свободные словосочетания не возникают в предложении в связи с потребностью выразить отношения и связи явлений реальной действительности, а т а к ж е, к а к и с л о в а и л и ф р а з е о л о г и з м ы, уже существуют в виде строительного материала, в виде готовых словесных конструкций, находящихся в арсенале языковых средств. Возникновение тех или иных словосочетаний связано, по мнению автора «Введения», не столько с условиями и особенностями предложения, сколько с внутренней способностью слов определенных лексико-грамматических разрядов к распространению другими знаменательными словами, способностью, которая определяется их семантикой и морфологической структурой.

Простое словосочетание, в свою очередь, способно, не теряя своего номинативного единства и своих семантических функций, «распространяться другими словами по законам данного языка и в осложненном виде выражать новое, еще более расчлененное, конкретизированное, но единое, хотя и сложное, значение, напр.: *спросить о здоровье, спросить о здоровье сына...; спросить с волнением об исходе состязания, спросить с глубоким волнением об исходе сегодняшнего состязания*» (стр. 20).

Мы не приводим всех материалов и высказываний, развивающих взгляд на словосочетание как на строительный материал для построения предложений, как на номинативное средство языка. Но и из сказанного можно установить стремление авторов Грамматики у п о д о б и т ь с л о в о с о ч е т а н и е с л о в у и л и ф р а з е о л о г и ч е с к о м у е д и н с т в у со всеми вытекающими из этого уподобления заключениями.

Аналогичные воззрения на природу и характер словесных конструкций высказывались и ранее: в трудах М. В. Ломоносова, А.Х. Востокова, А. В. Добиаша, И. Риса, Л. В. Щербы и др.[1]. Однако наиболее полное развитие учения о словосочетании как номинативной единице языка и строительном материале для предложения получило в новейших трудах по синтаксису акад. В. В. Виноградова[2] и в соответствующих разделах академической грамматики русского языка.

Авторы Грамматики не отрицают явлений взаимодействия словосочетания и предложения. Словосочетания не только используются для построения предложения, но в их число вступают новые типы и виды словосочетаний, выкристаллизовавшиеся в составе предложения. Однако, вычленяясь из предложений, эти новые виды и типы словосочетаний «приобретают самостоятельное номинативное значение» (I, стр. 44). Таким образом, словосочетания образуются на основе синтак-

---

[1] Ср. В. П. С у х о т и н, Проблема словосочетания в современном русском языке, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950.

[2] «Синтаксические взгляды профессора А. В. Добиаша» («Ученые записки [МГУ]», вып. 137, Труды кафедры русского языка, кн. 2, 1948); статьи: «Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского, ее эклектизм и внутренние противоречия», «„Синтаксис русского языка“ акад. А. А. Шахматова» и «Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка» (в упомянутом выше сборнике «Вопросы синтаксиса современного русского языка»); «Вопросы синтаксиса русского языка в трудах М. В. Ломоносова по грамматике и риторике» («Р. яз. в шк.», 1950, № 2); «Синтаксические воззрения А. Х. Востокова и их значение в истории русского языкознания» (ИАН ОЛЯ, 1951, вып. 2); «Синтаксические взгляды и наблюдения академика Л. В. Щербы» («Ученые записки [МГУ]», вып. 150, 1952); «Вопросы изучения словосочетаний» (ВЯ, 1954, № 3); «Основные принципы русского синтаксиса в „Грамматике русского языка“ Академии наук СССР» (ИАН ОЛЯ, 1954, вып. 6).

сических качеств слов, принадлежащих к определенным частям речи, на основе присущих им форм сочетаемости с другими словами (стр. 13). Второй круг законов и правил, которыми определяются отношения слов в словосочетаниях, связан не столько с грамматическими и семантическими особенностями стержневого или господствующего слова, сколько со спецификой отношений между сочетающимися словами, выражаемых различными предлогами. Ср.: *отправиться на курорт*, *путевка на курорт*; *толпиться у театра*, *толпа у театра*, *колонны у театра* и т. п. Третий круг правил определяет связи слов, не только грамматически обусловленные, но и семантически не свободные, имеющие отношение к словам определенных семантических разрядов. Например, при помощи предлога *о* и формы предложного падежа зависимые существительные соединяются только с глаголами мысли, речи, отношения (*думать об отце*, *говорить о доме*, *беспокоиться о товарище*), а также с отвлеченными существительными соответствующего значения (*мысль об отце*, *разговор о доме*, *беспокойство о товарище*). Ср. также сочетания с инфинитивом: *готовый помочь*, *готовность помочь* и пр. Выделяются, наконец, правила, определяющие структуру непродуктивных лексически связанных словосочетаний, которые включают стержневые слова, семантически разнородные, но объединяемые одним и тем же способом раскрытия их лексического значения. Ср.: *участвовать в работе*, *в подготовке доклада*, *в борьбе*. Тот же способ характеризует «распространение» таких слов, как *состоять*, *нуждаться*, *разобраться* и пр. Отдельно рассматриваются фразеологически замкнутые связи слов (*с минуты на минуту*, *лицом к лицу*, *изо всех сил* и мн. др.).

Вполне обоснованно указание на то, что изучение взаимодействия, возникновения и развития разных типов и разрядов словосочетаний является одной из основных задач синтаксиса. Указание на связь и соотнесенность словосочетаний разных типов по их стержневому элементу со словами определенных частей речи (глагол, имена, наречие) не вызывает возражений. Невозможно отрицать и явлений внутреннего взаимодействия разных типов словосочетаний, возникающего в предложении в соответствии с развивающимися потребностями общения. Тем не менее трудно представить себе словосочетания как «строительный материал» для предложений, как номинативное средство языка, подобное или равное отдельному слову, условия «распространения» которого будто бы и являются единственным фактором образования словесных конструкций.

«Распространение» или «распространяемость» отдельного слова не является единственной причиной образования разнообразных синтаксических единств, определяемой внутренней, имманентной «способностью» данного слова присоединять к себе другие слова иных лексико-грамматических категорий. Оно само есть результат и проявление типических для данного языка в данную эпоху его развития способов выражения отношений и связей реальной действительности. При этом все эти формы и способы соединения слов возникают не сами по себе, а в составе предложения, в процессе развивающихся потребностей общения.

Невозможно доказать, например, внутренней необходимости распространения подавляющего большинства глаголов и имен существительных в формах косвенных падежей с предлогами (*работать при электрическом освещении*, *беседовать до вечера*, *ехать вдоль реки*; *меры к устранению недостатков*, *вода по пояс*, *скамья под яблоней*, ***мобилизация*** *масс* ***на выполнение*** *плана* и мн. др.). Все эти распространенные и продуктивные в русском языке сочетания с так называемыми «слабоуправляемыми» существительными (ср. также конструкции имен существительных с наречиями: *он* ***немного художник, отчасти поэт***) возникают в предложении и отражают потребности выражения познаваемых связей и отношений между явлениями реальной действительности. Это тем более относится к так называемым однородным словосочетаниям (*день и ночь*, *война и мир*, *читать и писать*), в составе которых считать отдельные компоненты «распространением» других нет никаких оснований.

Если рассматривать словосочетания как «строительный материал» для предложения, как совокупность отложившихся в арсенале выразительных ресурсов языка номинативных единиц, то, естественно, возникает вопрос о возможности их перечисления или «инвентаризации», о создании «словаря словосочетаний». Но такого рода инвентаризация осуществима только в отношении окаменевших, устойчивых словосочетаний или фразеологических единств (*спустя рукава*, *сломя голову*, *собаку съел* и т. п.), уподобившихся отдельным словам, а также находящихся в процессе фразеологических превращений и преобразований. Что же касается свободных словосочетаний, то их словарно-инвентаризационное описание, разумеется, неосуществимо, а установление и описание типов словосочетаний для данного языка в данную эпоху его развития не может рассматриваться как инвентаризация материала, поскольку виды и типы явлений — это не «материал», а лишь различные способы его классификации и обобщения.

Поскольку «словосочетание само по себе не имеет интонации сообщения и ему чужды соотносительные категории подлежащего, сказуемого и других членов предложения» (стр. 11), то, естественно, проблема так называемых предикативных сочетаний слов (сочетания подлежащего и сказуемого), по мнению автора «Введения»,

относится не к теории словосочетания, а к теории предложения. Это утверждение подкрепляется и своеобразным пониманием не только смысловой, но и формально-грамматической сторон словосочетания. «Конструктивные свойства словосочетания,— говорится во „Введении",—чаще всего определяются морфологическим строем его господствующего, стержневого слова». Ср.: *сторонник мира, сторонника мира, сторонику мира* и т. д. (стр. 11). «Предикативное же сочетание слов спаяно в единство категориями лица, времени и наклонения и, будучи единицей сообщения, не является именованием, хотя и сложным» (стр. 13).

Не подлежит сомнению, что предикативные словосочетания резко отличаются по своей структуре и функциям в предложении от непредикативных словосочетаний, не выражающих сообщения или высказывания о действительности. Тем не менее, несмотря на тесную связь предикативных словосочетаний с предложением, невозможно, вслед за акад. А. А. Шахматовым, отождествлять эти далеко не всегда совпадающие явления. Сопоставив вырванную из контекста конструкцию *Они говорили*... и предложение *Они говорили о поездке к морю*, нетрудно заметить, что данная конструкция, рассматриваемая к а к э л е м е н т п р е д л о ж е н и я, лишена интонационной законченности, а также полноты выражения предикативности — этих необходимых признаков предложения. Лишь в том случае, если данное предикативное словосочетание получит законченную интонацию сообщения, оно само станет предложением. Но этой способностью обладают, как известно, и некоторые непредикативные словосочетания. Ср.: *Замечательная погода!*, *Воды холодной!*, *Позвать сюда радиста!* Таким образом, предикативное словосочетание не может быть отождествляемо с предложением. Являясь лишь структурной основой, или «фундаментом», предложения, оно остается словосочетанием, пока не получит ведущих признаков предложения (интонации и полноты выражения предикативности) и не включится в речевой контекст как самостоятельное синтаксическое целое[1].

Нельзя считать достаточным и определение формально-грамматической стороны словосочетаний, как оно изложено в Грамматике. Собственная (или внутренняя) форма словосочетания — это те аффиксы и предлоги, которые выражают грамматическую связь (или зависимость одного из слов) между словами внутри данного словосочетания. Ср.: *читать книгу*, *председатель колхоза*, *сидеть у окна* и т. д. Что же касается падежных аффиксов стержневого слова, то они обычно выражают связь данного словосочетания с д р у г и м и с л о в а м и и с л о в о с о ч е т а н и я м и предложения и должны рассматриваться как в н е ш н и е или н е с о б с т в е н н ы е его формы. Ср.: *Со мной говорил* ***сторонник мира,*** *получено письмо* ***от сторонника мира***, *сказал* ***сторонику мира*** и т. д.[2]

Учитывая необходимость изучать словосочетания не как изолированные, замкнутые в своих границах единства, а как тесно связанные между собой в предложении, находящиеся в «цепной зависимости» соединения или содружества словосочетаний, нельзя игнорировать роли внешней или несобственной формы, но невозможно и ограничивать ею понятие формы словосочетания вообще, поскольку отношения между словами в словосочетании выражаются не внешней, а как раз собственной или внутренней их формой.

*

В соответствии с общей характеристикой словосочетаний как «строительного материала» для предложений раздел «Словосочетание» в основной части издания хотя и отнесен к синтаксису, но не включен в раздел «Предложение», поскольку словосочетания, по мысли авторов, попадая в предложение, подвергаются, как отмечалось выше, изменениям и преобразованиям.

Значение данного раздела для развития современной русской, да и не только русской синтаксической науки трудно переоценить. Несмотря на отдельные частные недостатки, некоторую неполноту и неточность определений, представленные здесь богатейшие материалы и характеристики живых синтаксических конструкций современного русского языка впервые объединены в одно целое и описаны в стройной последовательности.

Спорный характер определения сущности или природы словосочетания в его отношении к слову и предложению не умаляет основных достоинств рецензируемого издания.

Порядок описания глагольных, именных и наречных словосочетаний, принятый в книге, представляет собой: а) общую структурно-функциональную характеристику данного типа словосочетаний (беспредложных и предложных) с приведением образ

---

[1] О соотношении и взаимодействии предикативных и непредикативных словосочетаний см. в упоминавшейся статье В. П. С у х о т и н а «Проблема словосочетания в современном русском языке», стр. 163.

[2] В однородных словосочетаниях внешняя форма присуща каждому из компонентов: *Мы купили книгу и бумагу, написали брату и сестре, рисовали карандашом и тушью.*

цов или «моделей» и б) детальное описание всех словосочетаний данного типа по их составу и выражаемым ими общим и частным отношениям. При этом почти все устанавливаемые категории, группы и подгруппы иллюстрируются большим количеством примеров. Так, глагольные словосочетания с именами существительными (I, стр. 115—213) подразделяются на беспредложные и предложные; беспредложные, в свою очередь, группируются по падежу зависимого существительного, предложные— по падежу и предлогам. Такой порядок описания словосочетаний представляется четким, последовательным и вполне обоснованным.

Углубленная и детальная характеристика структуры и функций словосочетаний в их богатстве и живом разнообразии оказалась возможной именно потому, что они изучаются и описываются не как вычлененный и отъединенный от предложения «строительный материал», а именно в составе предложения, как материал в действии, что не соответствует приведенному выше определению сущности словосочетания, а также выключению словосочетания из раздела, посвященного предложению. Данное несоответствие хотя и не нанесло особого ущерба в целом обстоятельному и всестороннему описанию словосочетаний, но, естественно, затруднило характеристику второстепенных членов предложения, поскольку авторам, писавшим о дополнении, определении и обстоятельствах с точки зрения традиционных представлений и схем, пришлось описывать те же явления и факты, которые рассматривались в разделе «Словосочетание».

Так, в главе «Дополнения при членах предложения, выраженных глаголами и предикативными наречиями», мы читаем: «При членах предложения — глаголах и предикативных наречиях, обозначающих чувства и восприятия, дополнение обозначает объект чувства, восприятия» (I, стр. 561). Приводятся примеры: *Люблю* ***тебя,*** *Петра* ***творенье,*** *Люблю твой строгий, стройный* ***вид,*** *Невы державное* ***теченье,*** *Береговой ее* ***гранит,*** *Твоих оград* ***узор*** *чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный* ***сумрак, Блеск*** *безлунный*... (Пушк., Медн. всадник); *Жалко* ***девочку*** *сиротку Феклушу: Все-то жуют, а ты слюнки глотай* ... (Некр., Дядюшка Яков); *Несколько раз хотел встать и уйти, но сидел, удивленно слушая* ***Лидию*** (Горький, Жизнь Клима Самгина).

Более подробно об этих же конструкциях (без сочетаний с предикативными наречиями) говорилось в разделе «Словосочетание»: «Словосочетания второй группы обозначают такое воздействие на объект (предмет, явление, действие и т. п.), которое не имеет конкретно-материального („физического") характера. Зависимое имя существительное обозначает в них объект восприятия, высказывания, размышления, чувствования, морального воздействия и других действий, связанных с деятельностью интеллекта» (I, стр. 118).

Как видим, в разделе «Словосочетание» данный тип словесных конструкций представлен гораздо шире и богаче. Среди примеров мы находим такие предложения: *Мария Ивановна* ***предчувствовала решение*** *нашей судьбы*... (Пушк., Кап. дочка); *Читатель теперь легко* ***поймет причину*** *смущения, овладевшего дворецким Гаврилой*... (Тург., Муму) и мн. др.

Возникает вопрос: почему же в разделе «Дополнение» приводится лишь незначительная часть из того, что представлено и подробно описано в разделе «Словосочетание»? Можно было бы предположить, что авторы покажут разные виды преобразования словосочетаний в составе предложения, как об этом сказано во «Введении» (стр. 88). Но такого показа мы не обнаруживаем, да в этом и не было необходимости, поскольку в разделе «Словосочетание» данные конструкции приводятся в предложении, следовательно, уже в «преобразованном» виде.

Указав на недостатки и схематизм традиционного учения о второстепенных членах предложения, автор «Введения» дает, на наш взгляд, верное и продуманное определение сущности второстепенных членов: «Во второстепенных членах предложения как бы синтезируются, обобщаются по функции те же разнообразные грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе словосочетаний» (стр. 94). Это существенное указание, к сожалению, не получило должного развития в основной части издания. Здесь, как правило, только сводятся разнообразные словосочетания, выражающие сходные отношения, да и то, как мы видели, в далеко не полном, обедненном их составе. Никаких попыток обобщения и анализа сходных и различающихся явлений авторы не делают, что и создает впечатление крайне недостаточного описания структуры и функций тех же словосочетаний

*

Нет возможности более или менее обстоятельно описать достоинства и недостатки других разделов второго тома Грамматики, относящихся как к простому, так и к сложному предложениям. Это задача дальнейшего изучения и широкого обсуждения рецензируемого труда. Сделаем лишь в самой сжатой форме несколько замечаний по данным разделам.

1. Нельзя, разумеется, требовать, чтобы в таком монументальном обобщающем труде, посвященном наименее разработанному участку грамматики, каким является синтаксис русского языка, были бы представлены буквально все категории и явления в их многообразии и взаимодействии. Тем не менее вызывает недоумение отсутствие главы с описанием определенно-личных предложений (*Люблю тебя, Петра творенье...*, *Смотрю как безумный на черную шаль...*). В главе, относящейся к номинативным предложениям, содержится целый отдел, в котором представлены конструкции, по форме совпадающие с номинативными предложениями, но не являющиеся ими (II, стр. 70 и сл.). Многие параграфы и абзацы данного отдела начинаются словами: «К номинативным предложениям не относятся...» и т. д. Однако эти негативные характеристики, как правило, не сопровождаются указаниями на то, к какому же разделу надлежит относить те или иные конструкции, что, естественно, порождает недоразумения.

Нет указаний на соотношение так называемых инфинитивных предложений и предложений безличных; сложных предложений с союзами и без союзов и пр. К сожалению, отсутствует глава, в которой обобщались бы многие ценные наблюдения над синтаксическими синонимами.

2. Не все определения и толкования являются достаточными и бесспорными. Это относится, например, к характеристике предложений двусоставных и односоставных, сложносочиненных и сложноподчиненных, к описанию функций придаточных предложений и пр. Разграничение двух типов предложения — двусоставных и односоставных, как известно, получило широкое распространение в руководствах, исследованиях и учебниках по синтаксису русского языка. Между тем ни в основных разделах второго тома Грамматики, ни во «Введении» мы не находим четких определений данных типов предложения, если иметь в виду их сущность и основы построения. Здесь наглядно проявляется недостаток углубленных исследований, что признают и сами авторы (см. стр. 73 «Введения»).

Определяя сущность и особенности сложносочиненных предложений, авторы указывают на то, что элементы этих предложений образуют «в своем сочетании структурно-синтаксическое и смысловое единство» (II, стр. 177). Аналогичное указание почему-то отсутствует в определении сложноподчиненных предложений.

3. Как отмечалось выше, далеко не все из того, что определено и развито во «Введении», подтверждается и реализуется в основной части издания. Так, во «Введении» справедливо подчеркивается слишком общий характер и недифференцированность трех типов функций падежей существительного (объектные, определительные и обстоятельственные). В языке наблюдаются «самые разнообразные виды переплетения,взаимодействия и взаимоперехода этих функций, т. е. возможны переходные типы» (стр. 8).

Опираясь на структурно-семантические особенности живых и распространенных в языке словосочетаний, авторы говорят об определительно-временных (*прогулка вечером*),определительно-пространственных (*езда полем*) и некоторых других отношениях переходного типа (I, стр. 244 и др.), об оттенках значения (I, стр. 243 и др.), об особых функциях: происхождения (*апельсины из Грузии*), отношения к материалу (*ограда из камня*), выделения предмета (*отрывки из сочинений*) и пр.

Тем не менее обобщение этих живых, определяемых фактическим материалом отношений и функций чаще всего не выходит за пределы упомянутых выше отвлеченных категорий. В результате остаются недостаточно расчлененными и дифференцированными многие функции, обусловленные составом и формой тех или иных беспредложных и предложных словосочетаний. Так, словосочетания *рубить топором, дать ребенку, начать с рисования, говорить с братом, приняться за работу* и многие другие оказываются объединенными в группе словосочетаний, выражающих объектные отношения. Правда, почти каждый из перечисленных типов словосочетания сопровождается уточняющими пояснениями и примечаниями. Тем не менее, поскольку эти пояснения не обобщены, не соотнесены друг с другом и не сведены в более или менее дифференцированные и выразительные правила, остается впечатление пестроты и множества разнообразных значений в составе весьма общих категорий объекта, определения и обстоятельства.

На стр. 104 «Введения» убедительно критикуется распространенная в наших грамматиках характеристика структуры и значения так называемых придаточных подлежащних и придаточных сказуемных: «... тут механически объединены структурно разнородные виды сложных предложений» (стр. 105).

К сожалению, эти верные критические замечания не учтены должным образом в основной части Грамматики. Материалы, относящиеся к разделам придаточных подлежащных и придаточных сказуемных (II, стр. 294 и 298), по своему толкованию и иллюстрациям мало чем отличаются от общеизвестных определений.

В результате среди сложных предложений с придаточными подлежащными оказываются и такие предложения, как *неизвестно, есть ли, нет ли; Было слышно, как прошумела машина* и др. (II, стр. 296), которые относятся к безличным и в которых нет и не может быть подлежащего (ср. II, стр. 28 и сл.).

Во «Введении» далее приводятся веские доказательства того, что «традиционная аналогия между так называемыми придаточными предложениями и членами простого

предложения, проводившаяся прежде, а иногда проводимая и теперь с неуклонной и односторонней прямолинейностью, на самом деле может иметь лишь очень ограниченное и условное применение» (стр. 103). Сравнительные, условные, следственные, уступительные и некоторые другие придаточные предложения вообще не могут быть соотнесены со второстепенными членами предложения. Так называемые придаточные дополнительные в большинстве случаев раскрывают содержание тех или иных элементов главного предложения, а при именах существительных и местоимениях оказываются ближе по своим функциям к определениям, нежели к дополнениям. В связи с этим основной задачей изучения сложных предложений является не отыскивание их параллелизма с членами простого предложения, а по возможности, «точная грамматическая характеристика их структуры и определение их типов и групп, отличающихся друг от друга как по выражаемым ими отношениям, так и по особенностям их структуры» (стр. 105).

Между тем, описывая разные типы сложноподчиненных предложений, авторы соответствующих разделов и глав как бы забывают об этих весьма существенных положениях «Введения» и частенько опираются на сформулированное ими же утверждение, что придаточное предложение будто бы «может выполнять по отношению к главному предложению ту же функцию, какую в простом предложении выполняет тот или иной его член, главный или второстепенный» (II, стр. 270). Несмотря на то, что данное утверждение не имеет категорического характера («м о ж е т выполнять»), тенденция к уподоблению придаточных предложений элементам простого предложения проявилась как в группировке синтаксических конструкций, так и в характеристике их структурных особенностей и значения. В результате сходные по структуре и функциям сложноподчиненные предложения оказались искусственно разъединенными, и, наоборот, разнородные образования в ряде случаев не расчленяются.

Так, в предложениях *Говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности...* (Тург., Два помещика) и *В телеграмме не было сказано, по какому делу его вызывают в Москву* (Баб., Кавалер Зол. зв.) подчиненные или придаточные части функционально близки: ими раскрывается содержание сообщения, выраженного сказуемыми главных предложений. Однако именно по функциям эти предложения отнесены в разные категории: первое — в категорию сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными (II, стр. 282), второе — с придаточными подлежащными (II, стр. 296). Значительную роль, видимо, в данном случае сыграла возможность подстановки вопросов (говорят *о чем?* сказано *что?*). Но и этот, как известно, не оправдавший себя прием дифференциации второстепенных членов предложения и, соответственно, придаточных предложений не выдерживается в книге. В том же разделе сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными встречаются такие конструкции, как *Юлия Дмитриевна, начальник велел, чтобы вы никуда не уходили* (Панова, Спутники) (II, стр. 286), в которых придаточное не отвечает ни на один из вопросов косвенных падежей — вопросов, служащих для отнесения слов и синтаксических конструкций к дополнительным. (Ср. соответствующее простое предложение: *...начальник велел вам никуда не уходить*, где соотносящийся с придаточным инфинитив является частью сложного сказуемого.)

4. Наряду с обоснованными и не вызывающими возражений толкованиями различных синтаксических явлений и категорий, в книге встречаются такие нововведения и правила, которые вряд ли следовало допускать без предварительного изучения фактического материала. Во второй части тома впервые появляется глава «Вставные предложения, слова и сочетания слов» (стр. 167). Не говоря уже о недостаточно четком отграничении приведенного в этой главе материала от вводных слов, сочетаний и предложений, следует указать на то, что весьма сходные по структуре и функциям со «вставными» предложениями встречаются в разделе «сложноподчиненные предложения» (ср., например, стр. 352 и сл.). Так, в предложении *Мало того, всем показывала... письмо... и давала снимать с него копии* (***что, мне кажется, уже и лишнее***) (Дост., Прест. и наказание) подчеркнутая часть рассматривается как «вставное» предложение (II, стр. 173). Между тем точно такие же синтаксические построения приводятся в группе сложноподчиненных предложений «с придаточными подчинительно-присоединительными». Ср.: *Ямщику вздумалось ехать рекою,* ***что должно было сократить нам путь тремя верстами*** (Пушк., Метель) (II, стр. 352) и т. п. Вряд ли можно считать обоснованным включение сложноподчиненных предложений с придаточными меры и степени в группу предложений с придаточными следствия (II, стр. 341).

Эти и подобные им изменения и дополнения, не вызванные необходимостью, не могут способствовать обогащению нашей синтаксической теории, развитию необходимых исследований и установлению новых, соответствующих языковой действительности правил.

5. Немало замечаний можно было бы сделать в связи с классификацией синтаксических явлений по членам предложения, по типам простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, в связи с определением выражаемых ими отношений и пр. Нельзя согласиться, например, с отнесением к одной группе сложных сказуе-

мых, состоящих из личной формы модального глагола и примыкающего к нему инфинитива, самых разнообразных конструкций, которые поименованы единым, но явно недостаточным и не охватывающим их функций термином «волеизъявление». Ср. словосочетания с глаголами *хотеть*, *желать*, *намереваться*, *решаться*, *стараться*, *мечтать* и др. (I, стр. 413). В то же время инфинитив с глаголом *уговориться*, *договориться*, *посоветовать* почему-то рассматривается как дополнение (I, стр. 567). Крайне недостаточно определяются внутренние различия в значениях обстоятельств (места, времени и др.), выражаемых наречиями, существительными в косвенных падежах с предлогами, без предлогов и т. д. Между тем даже в пределах одного и того же структурно-семантического типа обстоятельственных конструкций эти различия весьма существенны. В предложении *На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна* предложно-именная конструкция *на севере* представляет собой общее обозначение пространства и относится ко всему предложению в целом, тогда как словосочетание *стоит на вершине* имеет более конкретное значение (нахождение на поверхности предмета). Все эти разновидности и оттенки не отмечаются при описании второстепенных членов предложения, а соответствующие образования, без оговорок и примечаний, приводятся в общей группе обстоятельств места (I, стр. 581 и сл.).

Отдельные неточности, недосмотры и ошибки встречаются и в других разделах этого обширного и содержательного издания. Можно не сомневаться в том, что в результате тщательного анализа и широкого обсуждения второго тома «Грамматики русского языка» все эти недостатки будут обнаружены и устранены при последующих переизданиях.

В целом книга принесет несомненную пользу делу изучения синтаксического строя русского языка и может быть оценена как новое значительное достижение советской лингвистической науки.

М. М. Никитина и В. П. Сухотин

ДВЕ НОВЫЕ БИБЛИОГРАФИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

[Н. С. Авилова, Е. Т. Черкасова и Н. Ю. Шведова (руков.).] **Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 год. Вып. 1. Русский литературный язык. Грамматика и словообразование, фонетика, орфоэпия; графика, орфография, пунктуация.** [Гл. ред. В. В. Виноградов.] М., Изд-во АН СССР, 1954. 203 стр. (Ин-т языкознания АН СССР.)

[О. И. Лысяк и Е. С. Венецианова.] **Русский язык. Указатель литературы за 1950—1953 годы.** [Под ред. Ф. П. Сороколетова.] Л., 1953. [Вышла в свет в 1954 г.] 63 стр. (Гос. ордена Трудового Красного Знамени Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Советское языкознание обогатилось в прошлом году двумя ценными библиографическими пособиями, появление которых, несомненно, положительно скажется на лингвистической работе в СССР.

Достижения советской филологии в деле изучения русского языка велики и общеизвестны, между тем как вспомогательно-библиографические материалы для научной работы языковедов-русистов крайне скудны. До настоящего времени у нас нет ни одной удовлетворительной обобщающей или даже частной библиографии по русскому языку. Все, что мы имели до сих пор, методически крайне несовершенно и устарело.

Первые, заслуживающие внимания, хотя и не преследовавшие научных целей попытки учесть отдельно изданные работы по русской филологии находятся в библиотечных или книгопродавческих каталогах, в «Росписи российским книгам для чтения из библиотеки В. [А.] Плавильщикова...» (ч. III—Словесность. Языкоучение, СПб., 1820, стр. 309—324) и в «Росписи российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина...» (ч. IV, Языкознание, СПб., 1828, стр. 439—472) и др., а для более позднего времени — в «Систематическом каталоге русским книгам, продающимся в книжном магазине А. Ф. Базунова», составленном В. И. Межовым (СПб., 1869, стр. 633—670; здесь указаны также и рецензии, помещенные в периодических изданиях с 1825 по 1869 г.)[1]. Тому же В. И. Межову принадлежал почин учета текущей русской литературы по языкознанию: в 1860 г. в «Филологических записках» А. А. Хованского он напечатал «Библиографический указатель вышедших в 1859 г. в России книг и статей по части языкознания», изданный и отдельным оттиском (Воронеж, 1860, 19 стр.), а в 1862—1863 гг. там же был помещен аналогичный указатель языковедческой

---

[1] Каждый из указанных каталогов имел дополнения («прибавления»), в которых перечислялись вновь вышедшие книги в том числе и по языкознанию.

литературы за 1860, 1861 и 1862 годы (отдельно: Воронеж, 1863, 24 стр.). К сожалению, продолжения этой работы не последовало. В т. IV «Русской исторической библиографии за 1865—1876 включительно» В. И. Межова, посвященном истории русской словесности и языка, находится раздел — «История русского, церковно-славянского, белорусского и малороссийского языков» (СПб., 1884, стр. 369—408). По существу, этой работой Межова и исчерпывается сколько-нибудь систематическая библиография по русскому языкознанию.

Для полноты обзора укажу еще на следующие библиографические пособия по русскому языкознанию, которые могут оказаться полезными нашим лингвистам.

1. «Список славянских и русских грамматик, изданных на славяно-русском и русском языках», в кн.: «Грамматика русского языка академика М. В. Ломоносова 1755 года». Издана Вторым отд-нием Акад. наук в воспоминание столетия Русской грамматики. СПб., 1855 [начата печатанием в 1855 г., окончена в 1856 г.], стр. LIX—LXXXIII.

2. А. Н. Чудинов. О преподавании отечественного языка. Очерк истории языкознания в связи с историей обучения родному языку. С приложением библиографического указателя. Воронеж, 1872.

3. А. [И.] Николич. Учебники и учебные пособия по русскому языку.— «Педагогический сборник».— СПб., 1873, кн. III, стр. 345—352.

4. А. [А.] Котляревский. Древняя русская письменность. [Опыт библиологического изложения истории ее изучения.] I— Общее историческое обозрение. История изучения древнеславянского и древнерусского языков и письма. II—Систематическое обозрение. ФЗ, 1879—1880; отдельно: Воронеж, 1881, 216 стр. (Перепечатано в «Сочинениях» А. А. Котляревского, т. IV, СПб., 1895, стр. 207—393.)

5. Л. [И.] Поливанов. Библиотека по русскому и церковнославянскому языку и словесности русской и иностранной. М., 1888, стр. 1—10, 115, 118—121 (см. рец.: Е. П.— «Исторический вестник», 1888, июль, стр. 181—182).

6. Fr. Pastrnek. Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie. 1876—1891. Berlin, 1892 (старославянский: стр. 63—67; русский: стр. 67—78).

7. А. С. Архангельский. Из лекций по истории русской литературы. Первые труды по изучению языка. Библиографические материалы. Казань, 1894, 133 стр.

8. П. К. Симони. Русский язык в его наречиях и говорах. Опыт библиографического указателя... Вып. I. Ч. 1— Великорусское наречие. СПб., 1899. 96 стр.

9. «Каталог библиотеки С.-Петерб. Ист.-филол. ин-та». [Отделы:] Г, Ж, О. СПб., 1901, Г, стр. 29—34 (отдел VI — Русский и славянский языки)[1].

10. «Обозрение трудов по славяноведению». Сост. В. И. Бенешевич, В. И. Срезневский, М. Р. Фасмер и А. А. Шахматов. Под ред. В. И. Бенешевича. СПб., 1909—1918 (охватывает библиографические материалы, в том числе и по русскому языку, с 1908 по 1913 г.; в более раннем издании — «Славяноведение в повременных изданиях. Систематический указатель статей, рецензий и заметок за 1900 год». СПб., 1901, и «Славяноведение в 1901 году. Систематический указатель трудов по языкознанию, литературе, этнографии и истории». СПб., 1903 — содержатся материалы только по древнеславянскому языку; русского — нет).

11. В. Ф. Кронович. Систематический алфавитный каталог фундаментальной библиотеки Тифлисской 2-ой ... гимназии. Отдел VII — Русская лингвистика. Тифлис, [1914]. 48 стр.

12. А. [П.] Емельянов. Обзор библиографических указателей по русскому языку. (Книги и журнальные статьи.)— ФЗ, 1916, вып. VI, стр. 714—732 (окончание напечатано не было; ранее в сокращенном виде было опубликовано в журн. «Родной язык в школе», 1915—1916, №№ 7 и 8).

Следует также иметь в виду, что материал по русскому языку есть в систематических указателях к различным филологическим журналам, в особенности изданиям Академии наук, университетов и историко-филологических институтов («Русский филологический вестник», «Филологические записки», «Журнал Министерства народного просвещения», «Известия Отделения русского языка и словесности», «Киевские Университетские Известия» и т. д.; см. также: «Систематический и алфавитный указатель статей, помещенных в периодических изданиях и сборниках Акад. наук», ч. II, СПб., 1875; «Указатель к периодическим изданиям Российской Академии и Отд-ния русск. языка и словесности Акад. наук», СПб., 1890; «Каталог изданий Акад. наук: ч. I— СПб., 1912; ч. II —Пг., 1915; ч. III—Пг., 1916 и др.)[2].

---

[1] В библиографии работ П. Д. Драганова (см. «Новый сборник статей по славяноведению», СПб., 1905, Приложение, стр. XLVI) указана книга: «Литература о русском правописании и русской стилистике. I — Орфография. II — Орфоэпия. СПб., 1904»; видеть ее мне не удалось: она отсутствует во всех крупнейших ленинградских книгохранилищах.

[2] Библиография по указателям к периодическим изданиям собрана в работах: Н. А. Вукотич, Материалы для списка указателей русской периодической пе-

Из приведенных выше материалов видно, что существовавшие до сих пор специальные библиографии по русскому языкознанию незначительны по объему и случайны по составу и охвату. Можно даже удивляться, как при таких скудных библиографических пособиях русская лингвистика добилась столь значительных результатов

Рецензируемые нами новые библиографические работы по русскому языкознанию оставляют далеко позади все предшествующие аналогичные попытки. И по количеству материала, и по принципам построения они выгодно отличаются от упомянутых выше библиографических указателей, подготовлявшихся большей частью не языковедами, а библиографами-практиками, не знакомыми с наукой языкознания и поэтому ремесленнически подходившими к методике составления своих языковедческо-библиографических справочников. Оба новых указателя, составленные языковедами, построены, в основном, с соблюдением современных библиографических требований, показания их точны и они бесспорно окажут большую помощь исследователю в научной работе, преподавателю — в педагогической, аспиранту — при подготовке диссертации.

Вместе с тем эти указатели явятся хорошим образцом для последующих библиографических работ по русскому языкознанию, которые, надо надеяться, не замедлят появиться: составители указателя Института языкознания сообщают, что вся их работа рассчитана на семь выпусков[1]; Справочник публичной библиотеки, повидимому, тоже задуман как издание продолжающееся.

И именно потому, что выход в свет обоих указателей имеет большое значение для развития советского языкознания, нам представляется уместным и своевременным обратить внимание составителей на замеченные нами недочеты, чтобы помочь им в их дальнейшей работе.

1

Составители указателя Института языкознания справедливо отмечают, что марксистской науке о языке «чуждо нигилистическое отношение к научному наследию прошлого». «Это наследие,— пишут они,— изучено нами еще совершенно недостаточно. Между тем, обращаясь к трудам своих предшественников, далеких и близких, современные филологи часто находят в этих работах новые факты, свежие мысли и всегда (? — *П. Б.*) интересные материалы для истории отечественного языкознания. Обобщение и изучение опыта богатой достижениями русской языковедческой науки необходимо как для пополнения наших сведений по истории языка, так и для правильного понимания исторических путей развития русской языковедческой мысли» (стр. 3). Несколько ниже мы читаем: «Дореволюционная языковедческая наука накопила богатые материалы. Эти материалы, как и их интерпретация и освещение, были неравноценны. Отсутствие правильной методологии часто приводило исследователей к неверным выводам, к предвзятому освещению фактов. Советские языковеды, вооруженные марксистским учением о языке, должны изучить старое лингвистическое наследство, правильно оценить его и использовать все ценное из его далеко еще не исчерпанного богатства» (стр. 14).

Этими правильными положениями определяется исходный тезис авторского коллектива: «Составление аннотированного библиографического указателя по русскому языкознанию является важной задачей современной лингвистики» (стр. 3).

Работа задумана коллективом авторов широко, интересно и в общем, как нам представляется, правильно. Считая, что «Очерк истории языкознания в России» С. К. Булича (т. I, СПб., 1904) восполняет пробел в специальной библиографии по русскому языкознанию до 1825 г., составители определили хронологические рамки своего труда 1825 и 1880 годами. Последняя дата аргументирована, впрочем, недостаточно убедительно: «В 70-е и 80-е годы XIX в.,— пишут составители,—наметился переход к новому направлению сравнительно-исторических изучений; в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ, Н. В. Крушевского, Ф. Ф. Фортунатова, А. И. Соболевского и др. были по-новому поставлены и разрешены вопросы русской исторической фонетики, грамматики и диалектологии. Это направление открыло новый этап в развитии русской языковедческой науки» (стр. 4).

Все это верно, но почему из сказанного следует, что отправной датой должен быть взят именно 1880 г., а не 1875 или 1870? И как быть с трудами представителей предшествующих направлений, появившимися после 1880 г.? Почему работы сторонников нового направления, появившиеся до 1881 г., должны быть учтены в «Указателе»? На все эти и некоторые другие вопросы, возникающие в связи с избранными авторами хронологическими границами, ответа мы в предисловии и во вводной статье не находим. Да и границы эти соблюдаются не точно (например, № 320 на стр. 132 — статья А. Чаплина 1822 г., № 704 на стр. 185— статья Е. Филомафитского 1822 г., № 161

чати, Л., 1928; Н. М. Лисовский, Список указателей к русским периодическим изданиям XVIII — XIX ст. Из журнала «Литературный вестник». СПб., 1903. В 1954 г. вышел «Систематический указатель к „Запискам Харьк. ун-та“ за 1874—1919 гг.» (Харьков, 1953, 60 стр.).

[1] Второй выпуск «Указателя» Ин-та языкознания вышел из печати в 1954 г.

на стр. 102 — статья И. Ф. Калайдовича 1823 г., № 157 и 160, стр. 101 — статьи Калайдовича 1824 г., №№ 169 и 170 на стр. 103 и 104 — статьи В. В. Капниста 1824 г., № 76, стр. 87 — статья А. Глаголева 1823 г. и др.).

Включение материалов, выходящих за хронологические рамки, не оговоренное составителями в соответствующих местах предисловия, оказывается, таким образом, обременением справочника, так как читатель, ориентируемый заглавием книги на период 1825—1880, не станет искать данных из предшествующих лет и наткнется на них случайно, а в библиографии никаких случайностей быть не должно, все должно быть строго продумано и взвешено.

Существеннее вопрос о том, как отбирался и группировался авторским коллективом материал для указателя. Ведь от полноты собранных данных и правильной их группировки зависит во многом последующая работа советских языковедов. С сожалением приходится и здесь отметить ряд промахов, допущенных составителями.

Чтобы были ясны дальнейшие наши замечания, нам придется сказать в максимально краткой форме о методике составления библиографических указателей.

Было время, когда наши библиографы, составляя свои указатели, брали материал из вторых рук, в основном отправляясь от уже существующих печатных библиографий вроде упомянутых выше «Росписей» В. А. Плавильщикова, А. Ф. Смирдина и др. Позднее, уже в советское время, было принято правило производить отбор по первоисточникам, обследуя журналы, сборники и газеты, а также используя органы так называемой первичной регистрирующей библиографии («Книжная летопись», ее предшественники и аналогичные издания). При этом обнаружилось, что наибольшие результаты дает комбинированный метод: просмотр существующих уже библиографий и отбор непосредственно по периодическим изданиям, с проверкой всего материала de visu [1].

Составители «Указателя» Института языкознания заявляют, что ими «...были использованы общая и специальная библиография, книгопродавческие каталоги, а также систематический каталог Государственной ордена Ленина Библиотеки СССР им. В. И. Ленина по разделу языкознания» (стр. 5). К сожалению, авторы не указывают, какая именно общая и специальная библиография, какие книгопродавческие каталоги были ими обследованы. Более подробно они сообщают об источниках для составления раздела «Статьи, рецензии, заметки» (см. стр. 17—36). Всего ими использовано 258 журналов, газет и сборников; некоторые из этих источников были обследованы за целые 45 лет («Санкт-Петербургские ведомости», частично «Московские ведомости»).

Все это составляет несомненное достоинство «Указателя». Однако то обстоятельство, что авторы не обращались к персональным библиографиям языковедов — академиков, профессоров высших учебных заведений и крупных педагогов — привело к ряду пропусков и неточностей. В персональных библиографиях Ф. И. Буслаева, Я. К. Грота, И. И. Срезневского, Н. А. Лавровского, М. А. Колосова, В. Я. Стоюнина, В. В. Водовозова и др. встречаются указания на их работы, не попавшие в поле зрения составителей, и уточняются данные о попавших.

Так, брошюра Ф. И. Буслаева «Об „Опыте руководства к преподаванию и изучению русской грамматики для русских“ Виктора Половцева» (М., 1841) (см. «Мат-лы для биографич. словаря действит. членов Имп. Акад. наук», ч. 1 — А—Л, Пг., 1915, стр. 80) в «Указателе» отсутствует; сослаться на то, что книга В. Половцева имела методический характер и поэтому, вместе с относящимися к ней рецензиями, должна войти в выпуск шестой «Учебники и методическая литература», составители не могут, так как в ней речь идет и об изучении русского языка, а рецензии на «Грамматику» Половцева встречаются и в первом выпуске (ч. II, №№ 19,280 и 287).

Из списка печатных работ Н. А. Лавровского («Мат-лы для биографич. словаря действит. членов Акад. наук», ч. 1, стр. 382—383) видно, что несколько его статей, в частности «Значение настоящего времени (praesentis) в классификации славянских глаголов и образование его сравнительно с родственными языками» (ЖМНП, 1873, ч. 166, апрель, стр. 311—341) в «Указатель» не попали.

В особенности не повезло М. А. Колосову. В «Указателе» отсутствуют такие его труды, как докторская диссертация «Обзор звуковых и формальных особенностей народного русского языка» (Варшава, 1878), как книги и статьи: «Заметки по русской грамматике. II — Могут ли звуки ы и ѣ йотироваться?» (ЖМНП, 1870, ч. 151, октябрь, стр. 203—207), «Загадочные звуки в истории русского языка» (Варшава, 1877); «Заметки о звуках русского и старославянского языков» (ФЗ, 1872, вып. 4) и др.

Пропущены некоторые из работ В. И. Ламанского, которые, по моему мнению, должны были бы найти место в «Указателе». Таковы: «Голос из Угорской Руси о рус-

[1] См.: А. Г. Фомин, Методы составления библиографических указателей, «Книга о книге». II, Л., 1929, стр. 173—192; Н. Ю. Ульянинский, Библиографическое разыскание (эвристика). Отд. оттиск из журн. «Библиография», 1929, № 1 — М., 1929, 6 стр.; Е. И. Шамурин, Методика библиографической работы, М., 1933, стр. 59—102.

ском языке (сообщение)» («День», 1861, № 5) и «Распространение русского языка у западных славян» (ЖМНП, 1867, ч. 134, июнь, стр. 441—447).

Повидимому, если бы составители «Указателя» использовали упомянутые выше «Мат-лы для биографич. словаря действит. членов Акад. наук», различные биографические словари профессоров университетов и историко-филологических институтов[1], «Обзоры» жизни и трудов русских писателей и писательниц Д. Д. Языкова (1881—1893) и др., им удалось бы внести ряд дополнений и уточнений в свою работу. Так, например, в «Указателе» под № 407 (стр. 145) описана известная статья Ломоносова «Суд российских письмен...». В «Мат-лах для биографич. словаря действит. членов Акад. наук», ч. II (Пг., 1917, стр. 190), в библиографии Н. С. Тихонравова указывается, что эта публикация принадлежит ему.

Обращение к персональным библиографиям позволило бы определить авторов ряда анонимных рецензий [например, рецензия № 3 на книгу К. С. Аксакова «О русских глаголах» (ч. 1, № 1) принадлежит И. И. Срезневскому] и т. д.

Перехожу к вопросу о построении рецензируемого справочника. В старых библиографиях обычно применялся хронологический, либо алфавитный (по фамилиям авторов и заглавиям анонимных произведений) порядок расположения материала. При этом книги и статьи в периодических изданиях шли вперемежку. Позднее стали в пределах года или фамилии автора помещать сперва книги, а затем статьи. В советское время вместо этих формальных приемов расположения материала начали применять систематическое или тематическое его размещение.

Составители «Указателя» пошли,— на мой взгляд, неправильно,— по пути компромисса, отделив все книги, независимо от их содержания, от статей, рецензий и заметок, которые разделены на несколько разделов (грамматика и словообразование; фонетика и орфоэпия; графика, орфография и пунктуация; транслитерация). Такое расположение создает несомненные неудобства: например, при подборе литературы по орфографии приходится обращаться и к первой части книги, просматривая ее сплошь, и ко второй, где данные об орфографии перемешаны с материалами по графике и пунктуации. Избежать этого можно было бы, приложив в конце книги, как это принято в большинстве современных библиографий, предметный указатель, в который вошли бы данные из обеих частей и из разных подотделов. К сожалению, такого указателя, равно как и именного, абсолютно необходимого, в рецензируемой книге нет.

Неясен также принцип отнесения отдельных работ в ту или иную часть, т. е. в отдел «Книги» или отдел «Статьи». С книгами, изданными без предварительной публикации в периодической печати, дело обстоит благополучно: они на законном основании находятся в первой части. Когда же перед нами труд, печатавшийся первоначально в журнале или сборнике, а затем вышедший отдельным изданием, чаще всего в форме оттиска из соответствующего периодического органа, в «Указателе» сплошь и рядом возникают недоразумения. Так, например, брошюра Н. Богородицкого «По вопросу о русской грамматике как учебнике» (СПб., 1868, 60 стр.) указана составителями в ч. 1 (№ 10, стр. 42), причем в аннотации отмечено: «первоначально напечатано: ЖМНП, 1868, ч. 137, янв., отд. III, стр. 202—259», хотя совершенно ясно, что это не специально напечатанная книга, а оттиск. (См. также ч. 1, №№ 8, 11, 23, 26, 44, 74 и 89.)

В других случаях (ч. II, №№ 6, 7, 8, 21, 24, 28, 30 и т. д.) указывается работа как статья, а затем отмечается, что она издана и отдельно; естественно, что эти отдельные издания в первой части книги не упоминаются. Между тем в некоторых случаях (например, № 24) совершенно ясно, что отдельное издание не представляет простого оттиска, а является особой книгой с иным количеством страниц, чем было бы в обычном оттиске. Очевидно, коллектив авторов не принял определенного решения по данному вопросу методики составления библиографических указателей.

Уже давно признано большое значение учета рецензий в научных библиографиях. Рецензии являются одной из важнейших форм рекомендательной библиографии, которая в одинаковой степени необходима и ученому, и массовому читателю. Больше того, рецензии являются обязательной предпосылкой создания популярных рекомендательных библиографий. Составители рекомендательных библиографий в большинстве случаев не являются научно-исследовательскими работниками в данной области и лишь более или менее основательно осведомлены о состоянии и проблематике соответствующей науки. Помогают им разобраться в этом рецензии, общие обзоры научной литературы, монографии и статьи на отдельные темы, написанные специалистами. Наиболее важное место во всем этом материале занимают все же рецензии.

Однако рецензии имеют не только такое «прикладное» значение для рекомендательной библиографии. Настоящая серьезная научная рецензия нередко представляет существенный вклад в науку. Например, отзыв Н. С. Тихонравова об «Истории русской словесности древней и новой» А. Д. Галахова, написанный им по поручению

[1] Перечень таких биографических словарей см. в кн.: И. М. Кауфман, Русские биографические и биобиблиографические словари, М., 1950, стр. 33—104; см. дополнения в моей рецензии на эту книгу («Вестник Ленингр. ун-та», 1951, № 10)

Академии наук ([1878], 124 стр.), составил крупное событие в досоветской литературоведческой науке, а сам автор называл эту рецензию своей «докторской диссертацией».

Поэтому понятно, как важно учесть в библиографических работах рецензии, по крайней мере существенные. Впрочем понятие «существенные» очень субъективно: то, что одному библиографу в одну эпоху представляется малозначительным, другому в другое время может показаться важным и заслуживающим внимания. Поэтому правильнее всего было бы учитывать в полных научных библиографиях все рецензии, предоставляя будущему исследователю самому разобраться во всем этом материале.

Составители «Указателя» обещали дать «возможно более полное описание материалов, относящихся к изучению русского языка» (стр. 4), в том числе и рецензии[1]. Однако, насколько можно судить по сравнению данного выпуска в части рецензий с библиографическими трудами В. И. Межова, С. А. Венгерова и др., это обещание составителями выполнено не целиком. В особенности относится это к рецензиям на учебные грамматики.

С рецензиями на них в «Указателе» получается странно: таких рецензий в данном выпуске довольно много, а сами книги, рецензии на которые приведены, отсутствуют, так как, по плану составителей, они должны войти в выпуск шестой. Но и рецензии попадают в «Указатель» не все. Так, например, на «Грамматику языка русского (в объеме гимназического курса)» Н. Богородицкого (ч. I, № 9) приведено две рецензии, тогда как в «Источниках словаря русских писателей» С. А. Венгерова (СПб., 1900, т. I, стр. 294) на эту книгу указано четыре рецензии, не совпадающие с учтенными составителями. На «Опыт русской грамматики» К. С. Аксакова в «Указателе» зарегистрировано пять рецензий, а у Венгерова («Источники...», т. I, стр. 27)— семь. Впрочем, последняя книга не является учебной грамматикой.

Выше было сказано, что учебные грамматики в первом выпуске «Указателя» отсутствуют. Однако, как мы видели, некоторые из них составители все же включили, например, упомянутую «Грамматику языка русского (в объеме гимназического курса)» Н. Богородицкого (№ 9), А. Х. Востокова (№ 20), Н. И. Греча (№ 31) и др. Чем объясняется такое отступление от намеченного плана, в статье «От составителей» и в «Предисловии к 1-му выпуску» не указано.

Группировка материала «Указателя» по выпускам, как она намечена на стр. 4 рецензируемой книги, представляется мне продуманной и удобной. Может быть, только наличие в конце третьего выпуска раздела «Старославянский язык и его памятники» способно вызвать сомнение в целесообразности его помещения именно в данном месте. Правильнее было бы отнести его в выпуск пятый («Памятники русского языка»). Впрочем, не зная аргументации составителей, лучше воздержаться от окончательного суждения по этому вопросу.

В конце первого выпуска приведен «Словарь псевдонимов» (стр. 194—201), помогающий раскрыть авторов ряда книг, статей и рецензий. Такой словарь является новшеством в библиографической практике, и его помещение едва ли можно одобрить. Обычно псевдонимы раскрываются в тексте справочника[2] или в крайнем случае в именном указателе, которого, как уже пришлось отметить выше, к сожалению, нет. Однако и имеющийся «Словарь псевдонимов» неполон. Так, например, на стр. 116 (№ 244) указан псевдоним П. Г-ндт, отсутствующий в «Словаре». Это псевдоним П. А. Гильтебрандта, фамилия которого встречается не раз на страницах «Указателя» (см. ч. II, №№ 371, 492—495). Отсутствует в «Словаре» псевдоним «Э» (ч. I, № 95), принадлежащий Ф. И. Эрдману (см. «Грамматика русского языка академика М. В. Ломоносова 1755 года», СПб., 1855, стр. LXXXIII и «Русский биографический словарь», Щапов-Юшневский, СПб., 1912, стр. 274. Здесь указано, что с 1850 г. Ф. И. Эрдман служил директором училищ Новгородской губ.). Псевдоним «В. В.» (ч. II, № 45) принадлежит В. И. Водовозову (см. Д. Д. Языков, Обзор жизни и трудов покойных русских писателей, вып. VI, СПб., 1890, стр. 45). Зарегистрированная на стр. 82 рецензия «В. П.» написана преподавателем русского языка в Инженерном училище (с 1827 по 1834 г.) В. А. Половцевым (о нем см. «Русский биографический словарь», Плавильщиков-Примо, СПб., 1905, стр. 377—378).

В ряде случаев составители после первого авторского инициала ставят в скобках второй, установленный ими, но это относится только к лицам известным, как К. С. Аксаков, В. Г. Белинский, П. С. Билярский, Ф. И. Буслаев и т. д. Но как только встречаются авторы малоизвестные, как, например, С. Баран, А. Глаголев, П. Глаголевский и многие другие, составители второго инициала не приводят, хотя сделать это не так уже трудно, стоит только обратиться к «Критико-биографическому словарю русских писателей и ученых» С. А. Венгерова (2-е изд., Пг., 1915—1918) или «Азбуч-

---

[1] Не совсем понятна формулировка составителей на стр. 16: «После аннотации могут следовать указания на рецензии...» Повидимому, точнее было бы сказать: «После аннотации следуют указания на рецензии, если таковые имеются».

[2] Так поступили и составители в ряде случаев (ч. I, № 14; ч. II, №№ 15, 16, 166, 250 и др.).

ному указателю имен русских деятелей, для русского биографического словаря» («Сборник Русск. историч. о-ва», тт. 60 и 62). Иногда составители не добавляют даже первого инициала, притом у довольно-таки известных лиц как, например, В. Я. Стоюнин (ч. II, № 675).

Все указанные факты являются досадными недочетами в этой в целом хорошей и полезной работе и свидетельствуют о том, что при более точном соблюдении авторами правил составления библиографических указателей рецензируемая книга еще больше отвечала бы своему научному назначению.

2

«Указатель» Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ставит себе более узкие цели: учесть литературу о русском языке, появившуюся в советской печати после дискуссии по вопросам языкознания в газете «Правда» (июнь 1950 г.).

Не приходится говорить о том, насколько важно современному советскому языковеду быть в курсе новейшей научной литературы по своей специальности. Ведь давно уже замечено, что научная литература самого недавнего времени чаще всего ускользает от внимания исследователей и педагогов, в особенности молодых. Правда, в наши дни следить за новейшей литературой по специальности значительно легче, чем в досоветский период: к услугам научных работников имеются издаваемые Всесоюзной книжной палатой превосходные учетно-библиографические журналы: «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей» и «Летопись рецензий», в которых материал систематически расположен и легко и удобно находим. В библиотеках научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений также ведется библиографирование текущей научной литературы. Однако появление обобщающих библиографических работ по специальности, подобных рецензируемому указателю «Русский язык», чрезвычайно облегчает работу исследователей, педагогов, аспирантов и студентов.

Естественно, что при этом новые справочники должны удовлетворять основным требованиям, предъявляемым к библиографическим трудам: они должны быть полны, точны и удобно построены.

Языковедческий «Указатель» Гос. Публ. б-ки им. С. Е. Салтыкова-Щедрина в целом удовлетворяет перечисленным требованиям. В тех хронологических и тематических пределах, которые поставили себе авторы, он довольно полон; показания его, за очень немногими исключениями (см. ниже), точны; расположение материала в нем целесообразно и удобно и, в основном, совпадает — в пунктах, где это возможно,— с построением «Указателя» Института языкознания.

Однако в ряде вопросов позиция составителей рецензируемого «Указателя» неясна и даже спорна. Так, на титульном листе книги помечено: «Русский язык. Указатель литературы за 1950—1953 годы». В «Предисловии» данные хронологические границы сужены: учитывалась литература, появившаяся после июня 1950 и до 1 июля 1953 г. При этом непонятно, что значит «появившаяся в советской печати после дискуссии...» Имеются ли в виду работы, которые написаны с учетом материалов дискуссии, зарегистрированные ли в изданиях Всесоюзной Книжной палаты после июня 1950 г., или напечатанные в номерах журналов, которые, по расчету составителей, появились во второй половине 1950 г. и после? Так, например, в отделе «Диалектология» помещены три работы С. И. Коткова об орловских говорах, опубликованные во втором выпуске «Ученых записок Орловского гос. пед. института. Кафедра русского языка», а три его же статьи («Диалектологические заметки: Несколько поправок к карте южновеликорусских говоров.— Об одном диалектном союзе», «О работе над безударными гласными корня в условиях орловских говоров», «Фонетика севернорусского говора в южнорусском окружении»), напечатанные в первом выпуске тех же «Ученых записок», вышедших в том же 1950 г. и зарегистрированных в «Летописи журнальных статей» в июне 1950 г., в «Указатель» не попали. Странным образом работы: А. А. Никольского — «Говоры Калужской области» («Ученые записки Калужского гос. пед. и учит. ин-та», 1, 1950), Н. А. Фигуровского — «О происхождении древнерусских названий металлов» (сб. «Мат-лы по истории отечественной химии», М.—Л., 1950), Н. И. Крепких — «Влияние русского языка на развитие общественно-политической терминологии демократической Германии» («Ин. яз. в шк.», 1950, № 6), Л. Ришес — «О происхождении названия реки Амур» («Известия Всесоюз. Геогр. о-ва», 1951, вып. 2), А. П. Быстрова — «Происхождение слова „мамонт“» («Природа», 1953, № 3), И. А. Василенко — «Из истории разработки сложносочиненного предложения в русской грамматике» («Ученые записки [Моск. гор. пед. ин-та]», т. 22, Кафедра русск. языка, вып. 2, 1952) и др. в «Указателе» отсутствуют.

В отделе «Языковедческое наследие» не зарегистрирована такая важная публикация Н. М. Чернышевской, как «„Грамматика“ Н. Г. Чернышевского» («Звенья», т. VIII, 1950). Очень скудно отражен в «Указателе» материал, связанный с дискуссией 1950 г. Впрочем, возможно, поставив своей задачей учет литературы по

русскому языку, составители не включали статей общего характера, хотя в них также затрагивались вопросы русского языкознания (см., например, статью акад. В. В. Виноградова «О лингвистической дискуссии и работах И. В. Сталина по вопросам языкознания», «Большевик», М., 1950, № 15).

Составители «Указателя» ограничили свою работу и в отношении объема материала. Ими «не включена литература методического характера, программы по русскому языку (вузовские и средней школы), учебники средней школы, издания на правах рукописи (авторефераты, стеклографические издания)» (стр. 3). Почему вся эта литература осталась за пределами справочника, составители не объясняют. Между тем выше они сообщают, что «Указатель» «рассчитан на специалистов русского языка (по русскому языку? — *П. Б.*): научных работников, аспирантов, преподавателей русского языка (разрядка моя.— *П. Б.*), студентов филологических факультетов» (там же). Значит, если начинающий, да и не только начинающий, преподаватель средней школы или студент-филолог, готовясь к пробным урокам и пожелав подробнее познакомиться с методической литературой, учебниками, хрестоматиями и т. д., по которым им придется работать, и с отзывами критики на эти издания, обратятся к «Указателю» Гос. Публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, они не найдут нужных данных.

Совсем неправильно невключение в указатель авторефератов под странным предлогом, что это издания на правах рукописи, т. е. такие, которыми якобы нельзя пользоваться. Если даже стать на такую юридическую точку зрения, то это будет неправильно, так как, во-первых, авторефераты регистрируются «Книжной летописью», во-вторых, перечни защищенных диссертаций публикуются во многих научных изданиях («Вестник АН СССР», «Вестник Моск. ун-та», «Вестник Ленингр. ун-та», «Вопросы истории», «Известия Акад. пед. наук» и пр.). Невключение авторефератов не только неправильно, но и непростительно. Тематика диссертаций вырабатывается аспирантами и докторантами совместно с руководителями и консультантами, она является ярким и существенным показателем интересов научной молодежи и тенденций нашей науки. Быстрее, чем на многих других участках научно-исследовательской работы, отражается на тематике диссертаций рост, движение и состояние научной мысли. Поэтому следует самым настойчивым образом рекомендовать составителям «Указателя» Гос. Публ. б-ки в дальнейших выпусках учитывать авторефераты кандидатских и докторских диссертаций и дать в приложении к ближайшему выпуску перечень защищенных диссертаций по русскому языку за 1950—1953 гг.

Некоторые сомнения вызывает отнесение ряда библиографических записей в отдел «Историческая лексикология»,— например, статей: Ю. А. Бельчикова — «Из истории словарного состава русского языка. История слова „мещанин“» (стр. 9) и Е. М. Иссерлин — «История слова „красный“» (там же),— при помещении других, совершенно одинакового направления и характера, в отдел «Лексикология» — например, статей: В. В. Виноградова — «Из истории современной русской литературной лексики (о словах „веяние“, „поветрие“, „злопыхательство“, „кисейная барышня“, „новшество“, „пароход“, „халатный“, „халатность“)» (стр. 15); Ю. С. Сорокина — «К истории термина *реализм* (40—60-е годы XIX в.)» (стр. 17); Б. П. Козьмина — «Два слова о слове „нигилизм“» (стр. 16) и др.

Встречаются в «Указателе» и «исправления» фамилий авторов. Например, на стр. 13 указана рецензия Э. И. Коротаевой в «Вопросах языкознания» (1953, № 1). И в журнале, и в «Летописи журнальных статей» за 1953 год (№ 28104) напечатано правильно «Коротаева», а в «Указателе»— «Э. И. Каратаева». На стр. 44 и 51 напечатано «А. Баборенко», вместо «А. Бабореко», как в оригинале; см. также автореферат: А. К. Бабореко, Повесть М. Горького «Детство», М., 1950 (Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

Можно пожалеть о том, что составители библиографии «Русский язык» отказались от нумерации литературы, включенной в справочник. Это отступление от обычного библиографического порядка никак не мотивировано и едва ли облегчает пользование книгой. Отказ от нумерации приводит к повторению ряда библиографических записей вместо общепринятых ссылок на номера, ранее (или позже) описанные в других отделах справочника.

Полезен напечатанный в конце сводный «Перечень авторов и названий книг и статей, включенных в указатель». Он дает возможность быстро находить нужные данные, отправляясь от фамилии того или иного автора. Однако наличие этого приложения не должно было, по моему мнению, освобождать составителей от включения в книгу именного указателя, так как в «Перечень» рецензии не вошли.

Подведу итоги: несмотря на допущенные досадные отступления от методики библиографического труда, появление новых библиографических указателей по русскому языку следует признать фактом положительным. Пожелаем обоим авторским коллективам успешно продолжить свою полезную и трудную работу, строгая оценка которой с нашей стороны была вызвана искренним желанием помочь нужному и мало благодарному делу.

П. Н. Берков

«ОЧЕРКИ ПО ГРАММАТИКЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА»*

Совсем еще недавно слабо изученные иранские языки привлекались марровцами в качестве дополнительного материала для подтверждения положений «нового учения» о языке, причем грамматический строй иранских языков и их словарный состав оставались, как правило, вне поля зрения последователей Н. Я. Марра, в результате чего чувствовалось значительное и досадное отставание иранского языкознания от прочих частных языкознаний.

В настоящее время наука об иранских языках освободилась не только от всего псевдонаучного, но и от некоторого кризиса роста, неизбежного при всяких коренных перестройках, и прочно укрепилась на фундаменте марксистского языкознания. Базируясь на этом прочном фундаменте, иранское языкознание добилось уже некоторых успехов. Об этом свидетельствует деятельность наших таджикологов и, в частности, рецензируемые выпуски по грамматике таджикского языка — одного из важных языков иранской группы. Отрадно, вслед за В. С. Расторгуевой, признать, что «исследование грамматического строя по праву занимает сейчас центральное место в работе таджикских языковедов, поскольку именно в этой области с наибольшей силой ощущался вред, нанесенный марровским „новым учением о языке"» (выпуск 3, стр. 3).

Можно с полной уверенностью сказать, что «Очерки по грамматике таджикского языка», несмотря на имеющиеся в них недостатки, являются большим достижением ранее отстававшей иранистики. «Очерки» будут иметь большое значение не только для теории таджикского языка, но и для персидского, осетинского, афганского, курдского и прочих иранских языков. «Очерки» как бы призывают всех специалистов по иранским языкам последовать примеру их авторов, начать тщательное исследование малоизученных языков, их грамматики и словарного состава, внимательнее относиться к языковым фактам, которые раньше игнорировались, и т. д.

Не случайно подавляющее число выпусков посвящено глагольной системе: пять выпусков из шести обсуждают вопросы, связанные с глаголом и его категориями, и только один выпуск посвящается предлогам. Глагольная система таджикского языка очень сложна (значительно сложнее, например, системы глагола в персидском языке, в котором меньше видо-временных форм и в котором почти совсем не развита категория причастий и деепричастий), поэтому естественно стремление авторов «Очерков» направить свои силы на изучение таджикского глагола.

Разберем коротко основные достоинства и недостатки «Очерков».

Первый выпуск (автор А. З. Розенфельд) посвящен сложносоставным глаголам, представляющим в значительной мере именно специфику таджикского языка. Во многих иранских языках глаголы типа *давида рафтан* «убежать», состоящие из причастия основного глагола и вспомогательного модифицирующего глагола, не отмечены. Автор первого выпуска ставит своей целью прежде всего описание состава и семантики сложносоставных глаголов, а также и теоретическое освещение проблемы аналитического выражения глагольных категорий, в частности вида. Следует сказать, что описательная часть и характеристика семантической и грамматической емкости сложносоставных глаголов, а также описание глаголов-модификаторов представляет собой сильную сторону выпуска. Однако трактовка грамматической природы сложносоставных глаголов и определение их места в грамматической системе оставляет чувство неудовлетворенности. В теоретическом освещении сложносоставных глаголов в изложении автора выпуска можно отметить ряд противоречивых и неверных утверждений.

Прежде всего о самом термине «сложносоставной глагол» (в пятом выпуске Д. Т. Таджиев предлагает уже другой термин — «сложновербальный глагол» — в соответствии, повидимому, с не совсем удачным термином, предложенным для индийских языков покойным акад. А. П. Баранниковым). Кстати сказать, у В. С. Расторгуевой в «Очерках по таджикской диалектологии» глаголы рассматриваемого типа называются «сложнодеепричастными». Разнобой в терминологии самих авторов «Очерков по грамматике таджикского языка», конечно, не похвален. Но дело, может быть,

* «Очерки по грамматике таджикского языка». Выпуски 1—6.—Сталинабад, Изд-во АН Тадж. ССР, 1953—1954. (Ин-т языка и лит-ры АН Тадж. ССР). (Тит. л. паралл.— на русск. и тадж. языках.)

Вып. 1—А. З. Розенфельд. Материалы к исследованию сложносоставных глаголов в современном таджикском литературном языке (1953. 49 стр.); Вып. 2 — В. С. Расторгуева. О формах конъюнктива (сослагательного наклонения) в современном таджикском литературном языке (1953. 48 стр.); Вып. 3 — В. С. Расторгуева. К вопросу о неочевидных или повествовательных формах таджикского глагола (1953. 28 стр.); Вып. 4—А. З. Розенфельд. Глагол (1954. 80 стр. Назв. серии на обл. и тит. л.: «Очерки по грамматике современного таджикского языка»); Вып. 5—Д. Т. Таджиев. Причастия в современном таджикском литературном языке (1954. 56 стр.); Вып. 6—Р. Л. Неменова, Предлоги в таджикском языке (1954. 39 стр.).

не столько в этом разнобое, сколько в существе самих терминов. Нам кажется, что термин «сложный глагол» для различных типов таджикских (и персидских) глагольных словосочетаний хотя и традиционен, но едва ли удачен.

Термином «сложный глагол» в иранистике называют особые словосочетания, состоящие из имени или формы основного глагола и вспомогательного, причем вопросы различия между словом, аналитической формой и словосочетанием как бы не принимаются в расчет. Известно, например, что термин «сложный глагол» не соотносителен с термином «сложное существительное», которое всегда трактуется как о д н о цельнооформленное слово. Недостаточно принимается в расчет также и то обстоятельство, что вспомогательный глагол, независимо от степени утраты им лексического значения, все же остается словом, а не суффиксом, не морфемой. Между тем об условности и недостаточности терминов, называющих все же словосочетание, а не слово, в выпуске нигде не говорится. Более того, от нерешенности основных вопросов, связанных с теорией слова, аналитической формы, словосочетания, сложного слова и т. д. в иранских языках, и происходят те теоретические противоречия, которые встречаются в выпусках, в частности в первом.

Автор выпуска пишет, что «сложносоставные глаголы представляют особое с и н т а к с и ч е с к о е (разрядка наша.— *Л. П.*) сочетание двух значимых глаголов, не слившихся в единый фонетический комплекс и объединенных общим лексическим содержанием» (стр. 8). В этой формулировке правильно подмечен словосочетательный характер глагольного образования, характер нечленимого синтаксического комплекса, служащего в языке для выражения лексико-грамматических значений (обозначение в словосочетании глагольного понятия плюс категории предикативности, выраженные аналитически). Однако дальнейшие рассуждения автора противоречат этой правильной формулировке. В них вопросы словообразования, теории слова и словосочетания, вопросы состава слова и словосочетания просто-напросто смешаны. В результате природа «сложносоставных» глаголов осталась необъясненной.

Так, на стр. 10 А. З. Розенфельд, говоря о двух группах глаголов-модификаторов, пишет: «К глаголам первой группы относятся такие, которые могут составлять композит как с близкими, так и с совершенно отличными по значению основными глаголами, т. е. обладающие расширенной сочетаемостью. В первом случае они обозначают исполненное действие или неисполненное действие плюс дополнительный семантический оттенок, связанный с их собственным вещественным значением, и образуют лексему (?). Во втором случае эти глаголы служат для обозначения вида и образуют морфему (?), тем самым становясь принадлежностью грамматики».

Таким образом, получается, что вспомогательный глагол *рафтан* «уходить» в сложном комплексе *гурехта рафтан* «убежать» (см. пример на стр. 10) образовал новую «лексему», а в другом случае (*ҷабул карда рафт* «принял») тот же вспомогательный (или модифицирующий) глагол *рафтан* «образовал морфему», т. е. часть слова, как это принято считать в общем языкознании. Следовательно, словосочетание *гурехта рафтан* отождествляется с лексемой, т. е. со словом, а сочетание *ҷабул карда рафт* приравнивается к сложному слову, в котором служебное слово играет роль части слова — морфемы. Неясно, в каком значении употреблены автором термины «лексема», «морфема». Ясно одно, что процессы образования в таджикском языке разного рода синтаксических, лексико-синтаксических и фразеологических сочетаний явно смешиваются с процессами словообразования, слово—с частью слова и т. д. В некоторой степени этот недостаток характерен и для «Очерков» в целом.

Неясной остается и трактовка аналитических способов выражения грамматических значений. После прочтения всех выпусков невольно возникают вопросы: в чем разница между аналитической формой и «сложным глаголом», между свободным и связанным словосочетанием и аналитической формой? Где изучать «сложные глаголы»— в морфологии, в синтаксисе или, может быть, в разделе словообразования?

Все эти теоретические вопросы так или иначе придется решать авторам выпусков. Чувствуется, что авторы еще недостаточно координируют свои теоретические воззрения. А жаль! При большей слаженности в работе можно было бы избежать противоречия в теории, избежать разнобоя в терминологии, в понимании основных вопросов грамматики.

Несмотря на то, что в первом выпуске мы имеем довольно подробное описание форм и значений «сложносоставных глаголов», тем не менее можно проследить некоторую односторонность семантико-грамматических характеристик, даваемых автором. Так, на наш взгляд, слишком сильно подчеркивается видовое значение модифицирующих глаголов и почти не говорится об их залоговых, временных и модальных значениях. Эту сторону необходимо было бы развить, показав «сложносоставные глаголы» во всей широте значений, ими выражаемых. Вопрос этот сложен, поэтому не о вине автора первого выпуска идет речь. Речь идет о том, что таджикологи должны, основываясь на первом выпуске, а также на работах других таджикологов (например, на ценных исследованиях В. С. Расторгуевой в области таджикской диалектологии), продолжать изучение «сложносоставных глаголов», представляющих, по нашему глубокому убеждению, интерес, далеко выходящий за рамки иранского языкознания.

Второй выпуск (автор В. С. Расторгуева) посвящен одной из мало изученных грамматических категорий в системе таджикского глагола, а именно — формам сослагательного наклонения. В работе подробно рассматриваются три сослагательные формы (*хонад, хонда бошад* и *мехонда бошад*). Четвертая форма (*хонда истода бошад*) характеризуется менее подробно, причем включение ее в систему модальных (аористных) форм является новым моментом в теории таджикского языка.

Совершенно верно В. С. Расторгуева отмечает, что «в данном случае мы имеем дело не со сложным глаголом, а с глагольной формой» (стр. 39). Мы добавили бы: аналитической формой — и попытались бы объяснить разницу между сложным глаголом и аналитической формой, о чем говорилось выше. Это помогло бы авторам, которые в настоящее время продолжают работать над изучением грамматики таджикского языка, точнее — трактовать природу «сложных глаголов», аналитических форм, природу словосочетаний и т. д. Это поможет, кроме того, авторам ныне готовящейся грамматики на таджикском языке (авторы — языковеды Таджикистана Ш. Ниязи, Д. Таджиев, Б. Ниязмухаммедов и др.).

Во втором выпуске подробно и тщательно характеризуются формы сослагательного наклонения. Заслугой В. С. Расторгуевой является то, что ею доказана необходимость объединения разных глагольных сослагательных форм в единую систему выражения соответствующего наклонения. Ранее это было сделано ею в «Очерках по таджикской диалектологии», однако во втором выпуске эта мысль доказана с большей силой в отношении литературного языка. Нам кажется, что цель, которую поставил автор, оказалась достигнутой. Автором установлено значение и употребление каждой из рассматриваемых форм, выявлено то общее, что позволяет объединить их в единую систему выражения сослагательного наклонения, определено место этих форм в общей системе таджикского глагола. Особенно ценен тщательный и вдумчивый анализ значений, выражаемых аористом, прошедшим временем сослагательного наклонения и длительной формой *мехонда бошад*. Этот подробный анализ форм и их значений — несомненный вклад не только в теорию таджикского языка, но и в теорию других иранских языков, особенно персидского. Персоведы вообще должны быть благодарны авторам «Очерков по грамматике таджикского языка», так как многие положения «Очерков» имеют самое непосредственное отношение к персидскому языку. Собственно говоря, за них (за персоведов) наши таджикологи выполняют значительную долю работы.

Можно поставить в упрек автору второго выпуска то, что вопросы употребления аориста в простом предложении и в сложном предложении не разграничены с достаточной полнотой. В выпуске мы нашли только констатацию того, что аорист употребляется в самостоятельном, независимом предложении, с одной стороны, и в зависимых, т. е. придаточных предложениях — с другой (стр. 12). К сожалению, проблема различения простого предложения и придаточного дополнительного или придаточного цели, на наш взгляд, вообще еще не решенная, в выпуске не ставится. Не совсем ясно, почему формы с *бояд* и *мебоист* рассматриваются в кругу простых предложений, а формы, например, с модальным глаголом *хостан* «хотеть»— в кругу сложных предложений. Мы не можем согласиться, что в предложении *Мехоҳам чизҳои намедонистагиамро ёд гирам* «Я хочу изучить вещи, мне не известные» мы имеем дело со сложным предложением: главным (*мехоҳам*) и придаточным дополнительным (все остальные слова). Здесь лучше было бы рассматривать сочетание *мехоҳам ёд гирам* «хочу изучить» как сложное глагольное сказуемое, передающее желание, намерение субъекта совершить действие. В таких предложениях отсутствуют признаки сложного предложения, и один лишь факт подчиненности аористной формы модальному глаголу ничего не говорит в пользу того, что здесь мы имеем дело со сложным предложением (ср. *бояд бошам* «я должен быть», где, по мнению самого же автора выпуска, нет сложного предложения).

Вопрос этот остается спорным и нерешенным, так как, кроме модальных глаголов, с аористом употребляются также многочисленные их эквиваленты. Союз *ки* «что», «чтобы», который иногда стоит между модальным глаголом или его эквивалентом и аористной формой, также, на наш взгляд, не помогает решению проблемы разграничения простого предложения и сложного.

Третий выпуск принадлежит тому же автору. Он посвящен неочевидным или повествовательным формам таджикского глагола. С той же тщательностью и подробностью, как и во втором выпуске, В. С. Расторгуева выясняет значение и употребление таджикских перфектных форм *хондаст, мехондаст, хонда будаст, хонда истода будаст*. Фактический языковой материал, касающийся также и персидского языка, разобран точно и правильно. Постановка вопроса о том, что все эти формы семантически объединяются как выразители неочевидности, «заглазности» действия, является новой для иранского языкознания и, повидимому, правильной. Но следует все же отметить, что неочевидностью не следует увлекаться, так как ею характеризуются, как на это справедливо указывает сам автор, «ведущие модальные оттенки перфектных форм». Как известно, модальные значения перфектных форм вторичны и не являются основными, оправдывающими существование их в языке.

Некоторое преувеличение теории неочевидности привело автора выпуска к поспешным выводам о том, что термины «перфект» или «результативные формы» следовало бы заменить термином «неочевидные формы». Еще ранее В. С. Расторгуева в своих «Очерках по таджикской диалектологии» (вып. 2) отнесла перфектные формы на основании имеющихся в них модальных значений к формам наклонения. Поскольку в заключительных строках рецензируемого выпуска автор ставит этот вопрос на «суд таджикской научной общественности» и, надо полагать, на суд иранистической общественности вообще, мы позволим себе предостеречь автора от такой поспешности. Нам кажется, что главное в таджикских перфектных формах — это выражение преемственной связи между двумя плоскостями прошедшего момента и настоящего момента или более позднего момента, т. е. выражение определенных и каждый раз меняющихся видо-временных значений. Модальные оттенки перфектных форм, как уже было сказано, вторичны.

Четвертый выпуск посвящен общей характеристике таджикского глагола (автор А. З. Розенфельд). Автор, повидимому, ставил целью обобщить все накопленные данные относительно глагола и изложить их в кратком виде как определенную систему. Здесь рассматриваются многочисленные вопросы, касающиеся всей системы глагола. В результате получилось схематическое изложение системы, не претендующей на новизну.

Мы вовсе не отрицаем полезности подобного рода работ, тем более, что хорошей практической грамматики таджикского языка еще нет. Однако надо отметить, что сейчас гораздо важнее писать работы по конкретным вопросам грамматики (монографическое изложение какого-нибудь одного или двух-трех явлений), чем систематизировать в сжатом виде известные факты. С другой стороны, крайне необходимо углубленное теоретическое истолкование наиболее общих вопросов грамматики, так сказать, вопросов категориальных, — без этого не получится системы. Поэтому многие положения, кратко высказанные автором четвертого выпуска и зачастую ничем не мотивированные, вызывают возражения. Мы не будем останавливаться на каждом положении — их в работе много. Для примера приведем лишь следующее.

В конце выпуска, начиная со стр. 64, автор говорит о виде (раздел 12) и далее в отдельном разделе — о выражении начинательности. Можно подумать, что автор не относит значение начинательности к видовым значениям. Так, по крайней мере, построена работа. Но дело не только в этом. Дело в том, что из работы все же остается неясным, имеется ли грамматическая категория вида в таджикском языке. Являются ли формы с приставкой *ме* видовыми или временными? Можно ли включить аналитический способ выражения видовых значений в систему грамматической категории вида?

На стр. 64 автор утверждает, что «в таджикском языке вид выражается двумя способами: глагольными частицами и различными вспомогательными видовыми глаголами». В этом утверждении неясна сама постановка вопроса. Идет ли речь о видовых значениях, выражаемых языком вообще, или речь идет только о виде как определенной грамматической категории глагола. Если речь идет вообще о видовых значениях, тогда совершенно недостаточно сказать, что «в таджикском языке вид выражается двумя способами» (ср. часто встречающееся лексическое выражение видовых значений, например, обстоятельственными словами). Если речь идет о виде как глагольной категории, тогда неясно, какие имеются виды, как они соотносятся с временами и наклонениями, как они выражаются (синтетически или аналитически) и т. д.

Подобного рода вопросы возникают также в отношении других глагольных категорий — залога, времени, наклонения. В изложении способов выражения этих категорий нет стройности и четкости. Так, например, в § 98 сказано, что «в качестве модальных слов выступает ряд наречий, междометий, частиц...». Наречия, междометия и частицы привлечены автором для того, чтобы полнее показать способы выражения модальности. Это правильное стремление. Но бросается в глаза небрежность в обращении с терминами «модальное слово», «междометие», «частица» (ср.: «в качестве модального слова выступает... частица»), как и в первом выпуске, где нечетко и неясно употреблялись термины «лексема», «морфема».

В связи с четвертым выпуском вернемся еще раз к вопросу о различении простого и сложного предложения. Предложение *Гулру дар торикӣ онро натавонист шиносад* «Гульру в темноте не могла его узнать» квалифицируется, вслед за В. С. Расторгуевой, как сложное, причем игнорируется, к сожалению, и то, что слова *Гулру дар торикӣ онро натавонист* не имеют законченного смысла, и то, что между *натавонист* (модальным глаголом) и *шиносад* (аористом основного глагола) в данном предложении невозможно поставить союз *ки*, а также и то, что *натавонист шиносад* представляет собой нечленимый семантико-синтаксический комплекс, выступающий всем своим составом в сказуемом. Даже предложение *Колхоз мехоҳад ки Шодиро бо тантана истиқбол кунад* «Колхоз хочет торжественно встретить Шоди» следует, на наш взгляд, считать простым, несмотря на наличие союза *ки*, который в данном случае факультативен.

В пятом выпуске (автор Д. Т. Таджиев) мы впервые в истории таджикологии находим подробное описание таджикских причастий. В отличие от других иранских языков категория причастий в таджикском языке представляет собой сложную и развитую систему. Наличие развитой системы причастий резко отличает таджикский язык, например, от персидского, в котором, повидимому, можно говорить лишь об одном причастии прошедшего времени. Что касается таджикского языка, то в нем довольно четко выделяются, как это убедительно показывает Д. Т. Таджиев, не только причастия прошедшего времени, но и причастия настоящего времени, настояще-будущего времени, настоящего определенного времени (так называемые «причастия долженствования» в традиционной грамматике).

Как известно, причастие является двойственной категорией: но совмещает в себе признаки двух частей речи — глагола и прилагательного. Совмещение признаков не мешает причастию оставаться в системе глагола, которая служит для причастия морфологической и синтаксической опорой. Глагол как бы рождает причастие, и лишь в процессе развития языка отдельные причастия откалываются от глагольной системы и постепенно переходят в разряд имен. Сложная картина взаимодействия глагольных и адъективных признаков у таджикских причастий хорошо показана автором пятого выпуска. На многочисленных примерах синтаксического употребления отглагольных форм типа *раванда*, *рафта*, *рафтаги*, *мерафтаги*, *рафта истода*, *рафта истодаги*, *рафтани* Д. Т. Таджиев выявляет их глагольность (видо-временная и залоговая характеристика, наличие управления, сходного с глаголом, и др.) и тем самым доказывает, что все эти формы должны быть оставлены в орбите глагола.

Из всех отглагольных форм форма на *-о*, рассматриваемая под рубрикой «причастия настоящего времени», отнесена автором к разряду прилагательных, а форма на *-он*, также называемая причастием, включается как в группу прилагательных, так и в группу деепричастий; ср. *бурро* «острый», *бурротар* «острее», *намоён* «видный», *хандон* «смеющийся», «смеясь» и т. д.

Здесь явно заметно влияние на автора старой грамматической традиции, а отсюда и непоследовательность в классификации отглагольных форм. Если формы на *-о*, *-он* имеют лишь генетическую связь с глаголом и в современном языке не проявляют причастных свойств, то нет оснований называть их причастиями и рассматривать под рубрикой «причастия настоящего времени». Это чувствует сам автор, но он все же не решается порвать со старой традицией. Такая нерешительность приводит к противоречию: отглагольные формы на *-о*, *-он*, с одной стороны, считаются причастиями (дань традиции!), а с другой стороны, включаются в разряд прилагательных и деепричастий (результат верных наблюдений!). Для устранения этого противоречия нужна решимость, которой нехватает многим нашим иранистам.

Неясным остается вопрос о деепричастиях в таджикском языке. Имеются ли они? Можно ли на основании синтаксических функций относить некоторые разряды отглагольных форм к деепричастиям? Нет ли разницы в понимании терминов «отглагольное имя», «причастие», «деепричастие» применительно к таджикскому языку? Все эти вопросы так или иначе придется решать авторам выпусков, коль скоро они готовят материалы для будущей полной грамматики таджикского языка.

Отметим ряд неточностей, допущенных в пятом выпуске. Например, модальное слово *гуё* в предложении *гуё надида аст* «как будто он не видел» трактуется как союз (стр. 6). Глагол *гаштан* «бродить», повидимому, по недоразумению, попал в число глаголов состояния (стр. 17) и др.

Последний, шестой, выпуск (автор Р. Л. Неменова) посвящен предлогам. Работа, по словам автора, «является попыткой охарактеризовать морфологические разряды, основные значения и функции предлогов в таджикском языке» (стр. 6). Автора больше всего интересуют значения предлогов как релятивных слов, поэтому каждый предлог с этой точки зрения получил довольно полную характеристику. В этом ценность работы Р. Л. Неменовой. Структурная классификация предлогов, предлагаемая автором, традиционна и не вызывает возражений. Все предлоги подразделяются на простые и сложные, причем в группу простых входят первичные предлоги и вторичные (изафетные), в группу составных — комбинированные сочетания предлогов первой группы. С этим нельзя не согласиться, хотя, к сожалению, такая классификация дается автором без всяких теоретических обоснований. Следовало бы все же ее объяснить. Другой классификации, например функциональной, автор не предлагает и тем самым не вносит ничего нового в классификационную схему. Следовало бы предложить такую классификацию, которая базировалась бы на отношениях и связях, выражаемых предлогами внутри словосочетаний. Путь трудный, но заслуживающий внимания.

Общая характеристика предлогов (стр. 7—8), на наш взгляд, недостаточна. Некоторые теоретические замечания этого раздела требуют уточнения и доработки. Так, например, желая показать место предлогов среди других служебных слов, автор выпуска пишет: «Предлоги в таджикском языке довольно отчетливо выделяются среди других служебных слов и показателей: союзов, частиц, послелогов. Предлоги отли-

чаются от послелогов не только по месту в предложении..., но и по своей лексической значимости, что отчетливо обнаруживается в словообразовании» (стр. 7—8).

В этом утверждении заключено, по крайней мере, два неверных положения. Во-первых, неверно, что предлоги отличаются от послелогов по своей лексической значимости. О каких предлогах идет речь — о первичных или вторичных? Нельзя противопоставлять предлоги и послелоги ни по их лексическому значению, ни по синтаксической функции. Предлоги и послелоги в таджикском языке — сходная единая категория слов (ср. слово *ҳотӣ*, которое может быть то предлогом, то послелогом). Во-вторых, неверно говорить о том, что отличие предлогов от послелогов отчетливо обнаруживается в словообразовании. Ведь если предлог, сливаясь с именем, становится префиксом (частью слова), то послелог вовсе не лишен возможности стать частью слова (ср. *шабро* «ночью», где послелог *ро*, так же как и предлог *дар* в *даромад* «выступление», «прибыль», утратил свое синтаксическое значение и слился с именем). Вообще невозможно, повидимому, противопоставлять предлоги послелогам ни с лексической, ни с грамматической, ни со стилистической точки зрения. При этом понятно, что все предлоги и послелоги, объединяясь в общую лексико-синтаксическую категорию, имеют каждый в отдельности свою специфику. Эта специфика, кстати сказать, хорошо показана Р. Л. Неменовой при описании основных групп предлогов.

Желательно было бы добавить к общей характеристике предлогов более четкое определение различий между первичными и вторичными предлогами, показать более рельефно отличие изафетных предлогов от омонимичных им существительных, наречий. Хорошо было бы на одном-двух примерах объяснить процесс превращения имени в предлог. Ценная и нужная для иранистики работа Р. Л. Неменовой от этого только выиграла бы.

Несмотря на отмеченные недостатки и упущения, рецензируемые шесть выпусков по грамматике таджикского языка представляют собой несомненный вклад в науку об иранских языках. Советские иранисты с нетерпением ждут от авторов выпусков новых работ по таджикскому языку. Хотелось бы, чтобы дальнейшая работа авторов проходила с учетом следующих пожеланий: больше исследований по частным вопросам, больше теоретической точности в выводах и формулировках, больше единства в теоретических воззрениях и терминологии.

Л. С. Пейсиков

№ 3 1955

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОТВЕТ НА РЕЦЕНЗИЮ Т. П. ЛОМТЕВА

В № 5 «Вопросов языкознания» за 1954 г. была напечатана рецензия Т. П. Ломтева на мою книгу «Историческая грамматика русского языка. Морфология». В этой рецензии отмечены некоторые неточности, встречающиеся в книге, за что я не могу не быть признательным рецензенту. Но при этом нельзя не отметить, что рецензия в целом не дает достаточно развернутой общей оценки книги и серьезного разбора моих взглядов.

Не имея возможности остановиться на всех тех случаях, когда я мог бы возразить на отдельные замечания рецензента или не согласиться с ним в трактовке моих взглядов, считаю необходимым специально рассмотреть по крайней мере два вопроса, так как мне кажется, что мой рецензент, предлагая свои замечания по этим вопросам, сам не обнаруживает достаточной ориентированности в некоторых проблемах сравнительной грамматики индоевропейских языков, а порой даже истории и диалектологии русского языка, в связи с чем и у читателя его рецензии может создаться неправильное, суженное представление о том, как обстоит дело с разработкой соответствующих разделов истории языка.

На стр. 137 рецензии Т. П. Ломтев оценивает как неточное или во всяком случае спорное представленное в моей работе изложение фонетического процесса образования звательных форм на *-о* у основ на *-а*. Оставляя в стороне вопрос о том, правильно ли называть определенную точку зрения «неточной» только потому, что это не та точка зрения, которой следует рецензент, подчеркнем, что сам Т. П. Ломтев, как видно из дальнейшего изложения, является сторонником взгляда, согласно которому в общеиндоевропейском языке звательная форма рассматриваемого склонения оканчивалась на *ə*, а не на *a* краткое. Аналогичные взгляды находим у многих лингвистов. Указанную форму восстанавливает, хотя и с оговоркой, например, К. Бругман в своей «Краткой сравнительной грамматике», вышедшей в 1904 г.[1] Однако позднее, в 1911 г., во втором издании своей полной «Сравнительной грамматики» (т. II, ч. 2-я) он вообще отказывается для соответствующего случая восстановить общеиндоевропейскую форму[2]. Наряду с этим и излагаемую мною трактовку происхождения звательной формы (окончание *о* из *а* краткого у основ на *ā*) находим у ряда крупнейших русских специалистов по сравнительной грамматике индоевропейских языков, таких, как Ф. Ф. Фортунатов, его ученик В. К. Поржезинский, В. А. Богородицкий (в общем принадлежавший к иному направлению)[3]. При этом важно подчеркнуть, что такая точка зрения представлена и в литературе более поздней, чем та, в которой отражена точка зрения, отстаиваемая Т. П. Ломтевым, и против нее не было найдено каких-нибудь существенных дополнительных доводов, поэтому не считаться с ней, просто определяя ее как «неточную», нет оснований.

Однако, поскольку вопрос о времени появления той или иной точки зрения представляет собой аргумент в значительной степени внешнего порядка, разберем вопрос по существу.

В моей книге сокращение конечного *-ă*<*-ā* (откуда затем славянское *-о*) рассмат-

---

[1] См. K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Strassburg, 1904, стр. 377.

[2] См. K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. II, Teil II, Lief. 1,2-e Bearb., Strassburg, 1909, стр. 134—135 и сл.

[3] См. Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языкознание. Склонение в индоевропейских языках. Лекции, чит. в Моск. ун-те в 1892—93 акад. году, М., 1892, [литограф. изд.], стр. 180—181; В. К. Поржезинский, Сравнительная морфология древнеиндийского, греческого, латинского и старославянского языков, ч. I, М., 1916, стр. 30; его же, Сравнительная грамматика славянских языков, вып. I, 2-е изд., М., 1916, стр. 103; В. А. Богородицкий, Краткий очерк сравнительной грамматики ариоевропейских языков, 2-е изд., Казань, 1917, стр. 87—88.

ривается как результат особых интонационных условий, в которых находится звательная форма. Возражая мне, Т. П. Ломтев пишет: «Между тем в действительности редукционную степень долгих гласных представлял звук *э* (речь идет об общеиндоевропейском языке-основе. — *П. К.*), который на славянской почве изменялся в *о*» (стр. 138). Это утверждение рецензента прежде всего неточно, так как вопрос об общеиндоевропейском вокализме следует рассматривать дифференцированно для разных периодов существования индоевропейского языка-основы. Несоблюдение этого принципа приводит к антиисторизму, которым как раз грешило сравнительно-историческое языкознание на раннем этапе своего развития, когда на индоевропейский праязык смотрели как на нечто застывшее, неизменяемое. Между тем исследования последних лет (да и не только последних) показали последовательность смены закономерностей в истории развития индоевропейского языка-основы. Редукция *ē*, *ō*, *ā*>*э* в безударном положении была характерна лишь для определенной эпохи в этом развитии, причем наиболее ясные случаи *э* такого происхождения падают именно на первый предударный слог. Эта редукция предполагает сильное динамическое ударение, т. е. большое различие по интенсивности между ударным и безударным слогами. Уже давно была выдвинута гипотеза, согласно которой наличие именно такого положения вещей было характерно для более ранней эпохи развития языка-основы. Для эпохи же более поздней, т. е. для эпохи непосредственно перед разделением на отдельные ветви, предполагается наличие более высокого в музыкальном отношении тона на ударном слоге (сравнительно с безударными) при небольшом в то же время различии между ударным слогом и безударными по их интенсивности. При таких условиях редукция в виде *э* вряд ли могла осуществиться, сокращение же долгого гласного в соответствующий по качеству краткий, принимая во внимание те особые интонационные условия, в которых находилась звательная форма, вполне возможно. Были также сделаны попытки внести известные коррективы в только что приведенную гипотезу. Так как рассмотрение истории разработки вопроса могло бы увести нас далеко в сторону, подчеркнем лишь то, что и в самые последние годы лингвисты, занимающиеся сравнительной грамматикой индоевропейских языков, высказываются именно в пользу изложенных выше предположений относительно того, что сильное динамическое ударение и качественная редукция гласных были свойственны лишь более ранней эпохе развития языка-основы[1]. В этой связи возникает вопрос, в какую же эпоху складывается звательная форма в том ее облике, в котором она выступает затем в отдельных древних индоевропейских языках (в том числе в старославянском и древнерусском), т. е. вопрос об относительной хронологии данного явления, который мой рецензент даже и не поднимает.

Славянское *-о*, как и соответствующее ему греческое *-а* краткое, могут быть возведены как к общеиндоевропейскому *-а* краткому, так и к общеиндоевропейскому *э*. Но в санскрите общеиндоевропейское *а* должно дать краткое *а*, а общеиндоевропейское *э—i*. Индо-иранские языки в целом представляют в склонении на *-ā* такую звательную форму, которая не может быть сведена к первоисточнику, общему со славянскими языками и греческим. Отметим, однако, что в санскрите пережиточно сохраняется форма *amba* «матушка», указывающая на конечное общеиндоевропейское *а* краткое. Отношение к этой форме у лингвистов двоякое. Одни считают необходимым отвести ее. Так поступает Бругман в обоих своих упомянутых выше трудах. При этом в «Краткой грамматике» он утверждает, что данное слово принадлежит к «Ammensprache», т. е. к языку кормилиц (имея в виду тот язык, которым общаются кормилицы и маленькие дети), и поэтому должно быть оставлено в стороне. Другие лингвисты говорят о том, что при сравнительно-историческом изучении должны быть привлечены и такие слова, что и они подчиняются общим закономерностям, причем в них пережиточно могут сохраняться очень древние явления. Лингвисты, восстанавливающие общеиндоевропейскую звательную форму с *а* кратким, используют в своих построениях и эту форму *amba*, что и имеет место в указанных выше курсах Фортунатова, Поржезинского и Богородицкого. Полагаю, что правы последние. В различных языках есть немало форм, относящихся к тому, что Бругман называет «Ammensprache», подчиняющихся тем не менее общим закономерностям. Ведь к таким словам принадлежит и приводимое Т. П. Ломтевым украинское *мамо*!

Подчеркнем, кроме того, и другие соображения, согласно которым звательная форма отдельных индоевропейских языков сложилась сравнительно поздно и не восходит к эпохе сильного динамического ударения и качественной редукции безударных гласных. Обращает на себя внимание тот факт, что в основах на *-о* звательная форма так же, как и в основах на *-а*, является в виде чистой основы, причем конечный гласный основы представлен на ступени *е*. Однако известно, что чередование *е/о* возникает в сравнительно позднюю эпоху, когда ударяемый слог характеризовался уже более высоким тоном. Если бы эта звательная форма сложилась в эпоху сильного

---

[1] См., например, W. P. Lehmann, Proto-indo-european Phonology, Austin, 1952, стр. 110 и сл.

динамического ударения, конечный гласный *o* основы должен был бы явиться в виде schwa secundum с различными рефлексами в зависимости от того, какой согласный являлся рядом с ним. Если мы возьмем такое слово, как **ptə́ér* «отец», мы найдем от него общеиндоевропейскую звательную форму **pə́ter*; ср. греч. πάτερ, др.-инд. *pítar*. Здесь также имел место перенос ударения на начальный слог, но интересно, что в этом начальном слоге под ударением является *ə*, а не *ā*, из которого, вероятно, развилось данное *ə*, а это указывает на то, что *ə* уже не было обусловлено положением, что фонетические отношения между *ē*, *ō*, *ā* — *ə* были уже нарушены.

Если даже не считаться с предположениями тех лингвистов, которые образование основ на *-ā* и на *-o* относят к более позднему периоду развития общеиндоевропейского языка-основы, чем образование основ на согласные[1], у нас во всяком случае нет никаких оснований для обратного, т. е. для предположения о более раннем происхождении основ на *-ā* и на *-o* сравнительно с основами на согласные.

Таково реальное положение вещей с разработкой вопроса о происхождении окончания звательной формы.

Общая оценка этой точки зрения рецензентом просто как «спорной и неточной» не имеет, как видим, под собой основания.

Еще более серьезных возражений требуют высказывания рецензента по поводу глагольной формы 3-го лица, поскольку этот вопрос относится уже непосредственно к истории русского языка. На стр. 141 рецензии Т. П. Ломтев пишет: «Отсутствие строгости и точности в применении сравнительного метода наблюдается у автора не только при реконструкции форм языка-основы, но и при объяснении форм современного языка из форм языка-основы». В подтверждение этого общего положения рецензент приводит лишь один факт: содержащееся в моей книге объяснение форм 3-го лица настоящего и простого будущего времени глаголов без *-t*. Как увидим сейчас, «отсутствием строгости и точности» характеризуются рассуждения самого рецензента по этому поводу.

Т. П. Ломтев возражает против объяснения отсутствия *-t* в рассматриваемых формах в большинстве славянских диалектов воздействием вторичных окончаний на первичные, имевшим место еще на почве общеславянского языка-основы. Мотивы против такого объяснения он приводит следующие: 1) постоянное наличие *-t* (или его рефлексов) в 3-м лице возвратных форм в белорусском языке и в русских говорах; 2) наличие долготы конечного гласного в форме 3-го лица мн. числа в чешском языке; 3) приводимые А. М. Селищевым формы вятских говоров, свидетельствующие о том, что процесс утраты *-t* в некоторых северновеликорусских говорах еще не закончен. На этих основаниях Т. П. Ломтев считает, что утрата *-t* в большинстве славянских диалектов имела место поздно и не связана с процессами, происходившими в общеславянском языке-основе. На основании первого из приведенных мотивов Т. П. Ломтев, повидимому, относит утрату *-t* в русском и белорусском языках ко времени после агглютинации возвратного местоимения к глагольной форме.

Для того чтобы рассмотреть по существу высказывания Т. П. Ломтева, необходимо напомнить, что в северновеликорусских говорах *-t* обычно отсутствует лишь в 3-м лице ед. числа глаголов I спряжения и в 3-м лице мн. числа глаголов II спряжения, в южновеликорусских же говорах также и в ед. числе II спряжения, хотя в основном лишь при безударном окончании, а глаголы I и II спряжения с безударными окончаниями в акающих говорах вообще имеют тенденцию объединяться в одно спряжение, именно первое. Не останавливаюсь специально на говорах, где наблюдается в более широком объеме отсутствие *t*.

В то же время неопровержимым (и приведенным, кстати сказать, в моей книге на стр. 208) фактом является отсутствие *-t*(ь) именно в 3-м лице ед. числа глагола I спряжения в древнейшем датированном оригинальном русском памятнике — в записи Остромирова евангелия (*напише* вместо *напишеть*). Эта форма свидетельствует о том, что отсутствие *-t* в определенных категориях имело место и до агглютинации возвратного местоимения, так как предполагать эту агглютинацию осуществившейся уже в XI в. мы не вправе. Формы без *-t*, и именно в той же категории, нередки и в новгородских надписях и берестяных грамотах, найденных А. В. Арциховским. Ср. *еде*, *веве* в очень маленькой по объему надписи на ободке сосуда (№ 10), *не буде* (№ 18), *буде*, *хоче* (№ 19), *приде* (№ 43), *поведе* (№ 53). О том, как объяснить приведенную выше форму из записи Остромирова евангелия, рецензент не говорит ни слова.

На стр. 142 Т.П. Ломтев, как уже было сказано, ссылается на А. М. Селищева в доказательство того, что процесс утраты *-t* в 3-м лице глаголов в северновеликорусских говорах еще не закончен и в настоящее время. А. М. Селищев в рецензии на книгу Н. Дурново «Очерк истории русского языка» (М., 1924) действительно указывает, что по говорам Вятской губ. употребляются формы 3-го лица единственного числа с *-t* и без *-t*, причем в представлении говорящего образование *-т* на конце фор-

[1] См., например, Fr. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Göttingen, 1947, стр. 9, 105 и др.

мы всегда имеется, поскольку на него отводится соответствующий момент времени, но осуществление этого образования весьма слабо или совсем отсутствует — *спи*, *говори*[1]. Выписывая цитату из работы А. М. Селищева, Т. П. Ломтев как бы не обращает внимания на то, что в этой цитате речь идет о формах 3-го лица единственного числа глаголов II спряжения, в котором утрата *-t*, как уже говорилось выше, произошла (и то лишь в очень немногих говорах) лишь позднее. Между тем всего за несколько строк до приведенной Т. П. Ломтевым цитаты А. М. Селищев совершенно ясно указывает, что утрата *-t* в 3-м лице единственного числа I спряжения имела место еще в праславянском языке: «Несомненно, в ряде случаев формы без *-t* были унаследованы от праславянского времени. К таким формам относятся формы 3 л. ед. ч. основ на *-e*: *nese*, *vede*»[2]. Таким образом, цитата использована в рецензии в противоречии со взглядами цитируемого автора, что совершенно недопустимо в научной литературе.

Пытаясь опереться в изложении своей точки зрения на факты чешского языка (о долготе конечного слога в форме 3-го лица множественного числа), приводимые в работах того же А. М. Селищева, Т. П. Ломтев неточно излагает высказывания последнего. На стр. 141 рецензии он пишет: «Однако формы 3-го лица множественного числа в чешском языке представляют новообразование. Первоначально и они имели элемент *-m*, который позднее был утрачен. Об этом свидетельствует наличие новой долготы конечного слога в 3-м лице глаголов множественного числа. Как известно, старые долготы в конечном слоге в чешском утрачены». В действительности, как пишет А. М. Селищев на той странице, на которую Т. П. Ломтев ссылается, здесь не новая долгота, а сохранившаяся старая: «Окончанием формы 3 л. множ. служит заменитель прежнего окончания *Q* или *ę* с утраченным конечным *-t* (вместо *-tı*). Эта утрата произошла позднее процесса сокращения долгих гласных в конечном открытом слоге. Поэтому долгота слога с *Q*, *ę* в окончании формы 3 л. множ. удержалась»[3]. Еще яснее о том, что здесь старая долгота, говорит А. М. Селищев в другом месте своей книги: «В некоторых случаях долгий гласный в открытом слоге был давнего происхождения, именно там, где открытость конечного слога с долгим гласным появилась позднее, вследствие утраты согласного. Например: чешская форма 3 л. множ. ч. наст. вр. *nesū*→*nesou*, *chvalī* и др.»[4]. Повидимому, Т. П. Ломтев не делает различия между старой и новой долготой.

Приведенные выше факты говорят о том, что в известных случаях отсутствие *-t* могло иметь место еще на почве общеславянского языка-основы, а следовательно, могло являться и результатом воздействия вторичных окончаний на первичные. Результаты сравнения славянских личных окончаний глагола с соответствующими окончаниями других индоевропейских языков свидетельствуют о том, что взаимодействие первичных и вторичных окончаний на почве общеславянского языка-основы действительно имело место. Это подтверждается и тем, что для 1-го и 2-го лица множественного числа и для всех лиц двойственного числа мы вообще уже не находим на славянской почве различных окончаний для настоящего времени, с одной стороны, и для прошедших времен, с другой. Окончание 1-го лица единственного числа настоящего времени глаголов, возможно, является результатом контаминации первичного и вторичного окончания (к этой точке зрения я присоединяюсь и в моей книге). Основой этого объединения послужило то, что первичные и вторичные окончания, как бы ни объяснять их возникновение, первоначально использовались для различения настоящего и прошедшего времени, однако позднее отличия прошедшего времени от настоящего выражаются также показателями аориста и имперфекта *-s-* / *-x-* / *-š-* (становящимися показателями вообще прошедшего времени). Простой аорист в дальнейшем выходит из употребления, в связи с чем противопоставление первичных и вторичных окончаний для различения времени становится ненужным.

Конечно, не все случаи отсутствия *-t* в 3-м лице глагола восходят к общеславянской эпохе. Многие категории получили по говорам такую форму позднее, в результате обобщения окончания без *-t*; частью же и в результате фонетического ослабления конечного *-t*, при исследовании истории форм 3-го лица в русском языке (как и любом другом в славянском) как раз и необходимо учитывать наличие разных с исторической точки зрения случаев употребления форм с *t* и без *t*.

Отмеченный Т. П. Ломтевым факт постоянного наличия *-t* или его рефлексов в 3-м лице возвратных форм в русских говорах и в белорусском языке представляет интерес, но он безусловно требует иного объяснения, чем то, которое дает ему сам Т. П. Ломтев. Подобно тому, как формы без *-t* в результате обобщения могли появиться в тех случаях, где ранее были формы с *-t*, мог иметь место также и обратный процесс: уже после того, как произошла агглютинация возвратного местоимения с той или иной глагольной формой, возникавшие при этом новые окончания возвратных

---

[1] См. ИОРЯС, т. XXXII (1927), стр. 329.
[2] Там же, стр. 328—329.
[3] А. М. Селищев, Славянское языкознание, т. I, М., 1941, стр. 163.
[4] Там же, стр. 116.

форм *-тца, -цца, -тця* и под., осознававшиеся как единое целое, могли распространяться и на такие формы, которые не имели *-t*. В результате этого наряду с *садитца* появилось и *несетца*, причем в тех говорах, где в невозвратной форме было — *несе*.

Несколько слов о возражениях методологического характера. Имеющееся в моей работе объяснение некоторых фактов в развитии родительного-винительного падежа для выражения одушевленности и некоторых явлений в области грамматического рода вызывает со стороны Т. П. Ломтева упрек в «необоснованной социологизации». Это замечание могло бы иметь цену при наличии развернутой аргументации, но Т. П. Ломтев ограничивается лишь голословным отрицанием имеющегося у меня объяснения. Ср., например, такое его бездоказательное утверждение: «Процесс распространения родительного-винительного падежа в древнерусском языке не испытывал того или другого воздействия со стороны правового или общественного положения людей в древнерусском обществе» (стр. 143). С другой стороны, рецензент как бы не захотел обратить внимание на то, что развитие родительного-винительного я связываю не только с развитием общественных отношений, а указываю также на определенные структурные условия, одни из которых способствуют развитию новой формы, а другие сохранению старой. Но оценки и критики этих моих объяснений, равно как и моих взглядов по этому вопросу, взятых в целом, нет, что и вызывает чувство неудовлетворенности рецензией.

В другом месте Т. П. Ломтев утверждает, будто, по моему мнению, «все элементы нового качества в грамматическом строе языка представляют собою выражение дальнейшего абстрагирования» (стр. 143). Соглашаясь с тем, что «в отдельных случаях элементы нового качества действительно представляют более высокую ступень абстракции по отношению к отмирающим элементам старого качества», он указывает, что «в других случаях элементы нового качества представляют собою более дифференцированные средства по отношению к отмирающим элементам старого качества» и что «элементы нового качества по отношению к элементам старого качества могут представлять и ту же ступень абстрагирования» (см. там же). Все эти упреки моего рецензента построены на толковании отдельных формулировок без оценки их, взятых во всей совокупности. Я не утверждал, что все развитие грамматического строя сводится только ко все дальше идущему абстрагированию, хотя считал и продолжаю считать, что последнее играет большую роль и наблюдается во многих случаях. А о том, что изменение грамматического строя состоит и в развитии более дифференцированных средств выражения сравнительно с ранее существовавшими в языке, я в моей книге также говорю (см., например, стр. 9, 77, 116, 296); с другой стороны, я никогда не утверждал, что элементы нового качества не могут выражать ту же ступень абстрагирования, что выражали элементы старого качества.

Не останавливаясь на всех замечаниях, часть из которых к тому же носит характер мелких придирок или относится к опечаткам, укажу еще лишь на два момента, существенные для оценки общего характера рецензии.

Во-первых, общие выводы рецензии строятся на недостаточном материале. Отметив в каждом разделе несколько «неточностей» (порой всего две-три), часть из которых, как мы видели выше, даже не является в действительности неточностями, Т. П. Ломтев делает далеко идущие обобщения, указывая, что «недостоверность фактов, неточность сообщаемых сведений — серьезный недостаток рецензируемой работы» (см. стр. 141), что в книге «в ряде случаев отсутствует научная обоснованность в реконструкции древних фактов языка и историчность в освещении фактов современного из данных языка-основы» (см. стр. 142), что «у автора нет продуманных взглядов по вопросу о характере закономерности морфологических процессов в истории русского языка» (см. стр. 144) и т. д. Но в книге ведь имеется большой материал, а не только отмеченные рецензентом «неточности».

Во-вторых, возражая мне, Т. П. Ломтев сообщает порой именно те положения, которые содержатся в моей книге. Так, возражая против того, что совпадение форм родительного, дательного и предложного падежей единственного числа склонения на *а* может являться результатом воздействия мягкой разновидности на твердую, он указывает, что воздействие это имело место лишь в дательном и предложном падеже, тогда как в родительном падеже, напротив, твердая разновидность воздействовала на мягкую (см. стр. 139 рецензии), но именно это и сказано в моей книге, где совершенно ясно говорится, что мягкая разновидность на твердую воздействовала в дательном и местном падеже, а в родительном падеже процесс шел в обратном направлении.

Таковы мои замечания по существу некоторых вопросов, затронутых в рецензии Т. П. Ломтева. Как я указывал выше, она, с моей точки зрения, не принадлежит к числу рецензий, которые помогают читателю объективно и всесторонне разобраться в достоинствах и недостатках рассматриваемой книги.

П. С. Кузнецов

№ 3 1955

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО КООРДИНАЦИИ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

С 25 по 27 ноября 1954 г. в Москве проходило Всесоюзное совещание по координации диалектологической работы, созванное Координационной комиссией при Президиуме АН СССР. В совещании приняли участие, помимо диалектологов Института языкознания и Института славяноведения АН СССР, представители академий наук Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Грузинской, Казахской, Латвийской, Литовской, Таджикской, Туркменской, Узбекской, Украинской и Эстонской союзных республик, Башкирского, Дагестанского, Казанского, Карело-финского Киргизского, Коми, Молдавского и Якутского филиалов АН СССР.

На совещании были заслушаны и обсуждены доклады Р. И. Аванесова «О некоторых теоретических проблемах советской диалектологии», В. Г. Орловой «Вопросы планирования и организации диалектологической работы», С. В. Бромлей и В. С. Расторгуевой «Вопросы методики диалектологических наблюдений», Ф. Т. Жилко «О состоянии работы над диалектологическим атласом украинского языка», Э. Я. Шмидт «Из опыта составления диалектологического атласа латышского языка», А. Я. Универе «Об опыте составления словаря эстонских говоров», а также сообщение представителей институтов академий наук Белорусской, Армянской, Азербайджанской, Грузинской и Литовской союзных республик, Карело-финского, Коми и Молдавского филиалов АН СССР.

Р. И. Аванесов в своем докладе остановился на следующем круге вопросов: понятие о диалектном различии, типы диалектных различий и их отношение к системе диалекта, место диалектных различий в структуре разных языков на различных этапах развития; задачи монографического описания говора и типы монографических описаний; задачи лингвистического картографирования, принципы построения лингвистических карт и система картографических приемов; интерпретация данных лингвистического картографирования.

В докладе была подчеркнута мысль о неправомерности принципиального противопоставления лингвистической географии и монографического изучения говоров. И лингвистическая география, и монографическое изучение говоров предполагают исследование системы говоров и отдельных фактов языка на фоне общей системы, так как то, что является единичным языковым фактом в данном говоре в данный период, в другом говоре является элементом системы или в том же говоре в другую эпоху было связано с общей системой. Различие между монографическим описанием говора и изучением говоров методом лингвистической географии не является принципиальным, а лежит в плоскости методической и технической: в то время как монографическое описание раскрывает взаимодействие между разными элементами одного говора, лингвистические карты показывают различия в реализации одного и того же элемента системы языка в разных говорах.

Данные лингвистической географии являются ценным материалом для истории языка, но характер изоглоссы сам по себе еще не объясняет истории явления, так как один и тот же лингвистический «ландшафт» может появиться в результате разных процессов и при разных исторических условиях. Поэтому данные о распространении тех или иных явлений нужно изучать в тесной связи с внутренней историей явления. При таком изучении лингвистическая география может дать истории языка ценные указания о путях развития данного явления, времени его возникновения и первоначальной территории распространения.

Докладчик предостерег против противопоставления «внешней» и «внутренней» истории языка и отнесения лингвистической географии целиком к области первой. «Внешняя» история, т. е. территориальное распространение языкового явления, представляет собой цепь диалектных различий, обычно являющихся разными звеньями развития языка по его внутренним законам. В то же время «внутренняя» история, развитие языкового явления, не мыслится вне реальной истории, ограниченной местом

и временем, вне отражения на определенной территории различных этапов развития явления, относящихся нередко к разному времени.

В. Г. Орлова в своем докладе наметила основные этапы изучения диалектов. Для языков, диалекты которых не изучены или мало изучены, первоочередной задачей является установление диалектных различий на основании детального монографического описания наиболее резко отличающихся друг от друга диалектов. Только после проведения такой предварительной работы создается возможность развернуть подготовку к лингвистическому картографированию. При этом следует учесть, что лингвистическое картографирование не является обязательным этапом развития диалектологии любого языка: оно не обязательно для языков, носители которых не занимают компактной территории, а также при малочисленности населенных пунктов, занимаемых данным языком.

В. Г. Орлова подробно остановилась на вопросе о составлении программ собирания материала для лингвистического картографирования, подчеркивая, что качество программы является одним из важнейших условий успеха этой работы. Поскольку советская лингвистическая география делает упор на изучение диалектных различий в связи с системой диалектов, программы должны быть составлены так, чтобы были отражены все существенные стороны системы, варьирующиеся по диалектам. Поэтому к составлению программы собирания материала для лингвистического картографирования можно приступить только тогда, когда путем монографического описания накоплен достаточный материал для выявления диалектных различий данного языка и их места в системе языка. Для того чтобы материал, собранный разными авторами в различных населенных пунктах, был сопоставимым, программы должны содержать конкретные формулировки вопросов, раскрывающие суть тех явлений, которым они посвящены: в разделе фонетики — детальную разработку позиций, влияющих на данное явление, в разделе морфологии — указание на те морфологические категории, к которым относится явление. В программе необходимо указать, какие явления представляют собой определенные звенья фонетической или грамматической системы, охватывающие разнообразную лексику, какие из них охватывают определенные лексические группы и какие представляют собой единичный факт. В. Г. Орлова отметила вредное влияние «Вопросника» бывшего Института языка и мышления, сказавшееся на некоторых программах (в частности, украинской, казахской, саамской и некоторых других) и выразившееся в недооценке разделов фонетики и морфологии, в непонимании фонетической позиции, в неумении разграничить единичный языковой факт и систему.

В докладе были освещены вопросы организации лингвистических коллективов, которые могут взять на себя задачу составления атласов. В. Г. Орлова рассказала о широком вовлечении вузов в работу по собиранию материалов для диалектологического атласа русского языка под руководством Института языкознания АН СССР, об организационных формах работы Института языкознания с вузами. Опыт показал, что вовлечение вузов (преподавателей, аспирантов и студентов) в диалектологическую работу можно считать благотворным как для создания диалектологического атласа, так и для научной работы кафедр русского языка вузов и для лингвистической подготовки студентов.

В докладе С. В. Бромлей и В. С. Расторгуевой были поставлены вопросы о правильном отборе лиц, наблюдения над речью которых должны явиться материалом при изучении данного говора, о методике диалектологических наблюдений и записей. Было подчеркнуто, что методика собирания материала для лингвистического картографирования принципиально не отличается от методики собирания материала для монографического описания. Резкому осуждению был подвергнут метод прямого опроса носителей говора о бытовании у них тех или иных диалектных явлений в области фонетики и грамматики, так как этот метод может привести к искажению реальной картины говора.

Ф. Т. Жилкова в своем докладе рассказал о ходе работы над диалектологическим атласом украинского языка, дал краткий критический анализ украинской программы, подвел итоги проделанной работы, вскрыл ее недостатки и рассказал о дальнейших перспективах составления атласа украинского языка. Атлас украинского языка будет состоять из четырех отдельных выпусков: 1) атлас среднеднепровских и северных говоров, 2) атлас западных говоров, 3) атлас восточных говоров и 4) атлас южных говоров, куда войдет и территория Крыма. Собирание материала по всей территории предполагается закончить к концу текущей пятилетки. Уже начато составление карт по атласу среднеднепровских и северных говоров.

Э. Я. Шмидт осветила работу над латышским атласом, рассказала о построении программы, о методике собирания материала, принципах и технике картографирования. Э. Я. Шмидт сообщила о трудностях, связанных с тем, что вся работа над атласом ведется только двумя сотрудниками, из которых один имеет наряду с этим и другие обязанности.

А. Я. Универе рассказала о состоянии работы по составлению словаря эстонских говоров в настоящий момент и изложила принципы построения этого словаря.

Сбор материала закончен. Картотека словаря насчитывает 975 тыс. карточек и охватывает 37 местных говоров. Сейчас ведется работа по упорядочению картотеки.

Представители академий наук Белорусской, Армянской, Азербайджанской, Грузинской и Литовской союзных республик, Карело-финского, Коми и Молдавского филиалов АН СССР в своих сообщениях познакомили участников совещания с состоянием диалектологической работы в языковедческих институтах этих академий и филиалов. Многое сделано Карело-финским филиалом АН СССР, закончившим атлас карельского языка. Значительная работа проводится АН БССР по созданию диалектологического атласа белорусского языка. В Коми филиале АН СССР составляется диалектологический словарь коми языка.

Прения по докладам развернулись главным образом вокруг вопросов методики диалектологических наблюдений, вопросов построения диалектологических программ и критики отдельных диалектологических программ конкретных языков.

В резолюции, принятой совещанием, подчеркнута необходимость координации диалектологической работы по различным языкам СССР как в области собирания материала и разработки конкретных исследований (монографические описания, диалектологические атласы, областные словари), так и в области постановки общих проблем: взаимоотношения общенародного языка и диалектов, исторической грамматики языка и сравнительно-исторической грамматики групп родственных языков, периодизации истории языка и др. Особенно тесная координация работы необходима при изучении групп близкородственных языков. В качестве организационных форм координации диалектологической работы совещание рекомендует выработать ряд документов теоретического и инструктивного характера с целью обеспечения методологического и методического единства в работе, ежегодно проводить всесоюзные координационные совещания в Институте языкознания в Москве и — по мере надобности — региональные координационные совещания по диалектологии близкородственных языков, установить систематическую рабочую связь координационной комиссии Института языкознания АН СССР с академиями наук союзных республик и филиалами АН СССР.

В резолюции специальное внимание уделяется вопросу о вовлечении в диалектологическую работу вузов и о руководстве этой работой со стороны академий наук. Совещание приняло решение об издании теоретических сборников «Вопросы диалектологии», первый из которых должен быть сдан в печать в начале 1955 г. Следующее всесоюзное координационное совещание намечено провести в октябре 1955 г.

Л. Н. Булатова

НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С 1 по 4 декабря 1954 г. в г. Фрунзе происходила совместная научная сессия Института языкознания АН СССР и Института языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР (ныне Академия наук Киргизской ССР), посвященная вопросам киргизского языкознания, на которой были заслушаны и обсуждены доклады по вопросам грамматики, диалектологии, лексики и терминологии киргизского языка. В работе сессии принимали участие, кроме киргизоведов, преподавателей вузов, учителей школ и переводчиков республики, языковеды Москвы, Ташкента, Алма-Аты и других городов.

И. А. Батманов (Академия наук Киргизской ССР) в своем докладе «Принципы построения описательной грамматики киргизского языка» отметил, что проблема построения описательной грамматики должна решаться в тесной связи с разработкой принципов классификации частей речи, которая должна, в основном, строиться на основе смыслового и морфологического критериев, из коих главным и решающим должен быть последний. Докладчик особо отметил трудности установления граней между существительными и относительными прилагательными, неразработанность вопроса о наречиях. Еще большая путаница существует в классификации служебных имен и их подклассов — послелогов, союзов и частиц. По мнению докладчика, понятие послелога включает в себя ряд других частей речи, и, наоборот, в составе различных частей речи могут быть выделены слова, употребляющиеся в качестве послелогов. Поэтому докладчик не считает послелоги особой частью речи. И. А. Батманов указал также на целесообразность выделения модальных слов в самостоятельную часть речи. В докладе предложена следующая схема расположения материала в описательной грамматике тюркских языков: вводная глава должна содержать краткие сведения о процес-

се формирования киргизского литературного языка, о роли грамматики и об ее отношении к основному словарному фонду и словарному составу; основные разделы должны охватить сначала материалы по фонетике, потом — характеристику частей речи, обзор системы словообразования, системы словоизменения и синтаксис. Вместе с тем во всех разделах по мере возможности должны быть даны отдельные исторические экскурсы.

Доклад Н. А. Баскакова (Институт языкознания АН СССР) был посвящен вопросу о структуре простого предложения в тюркских языках. Докладчик отметил, что одной из актуальных проблем описательной грамматики тюркских языков является проблема предложения и словосочетания, которая тесно связана с вопросом о соотношении языка и мышления. Важное значение приобретает в связи с этим и анализ структуры простого предложения в тюркских языках. Структура предложения в тюркских языках состоит из двух сопоставляемых субстантивных элементов — подлежащего и сказуемого, из которых подлежащее выражается конкретным словом-понятием, а сказуемое — абстрактным. Все существующие в современных тюркских языках конструкции простых предложений имеют в своей основе ту же структуру, но в процессе развития некоторые из них сохранили соотношения всех компонентов этой структуры полностью, некоторые же утратили ее элементы. Однако грамматические формы, выражающие основные члены предложения, а также средства грамматической связи, посредством которых все компоненты предложения связаны между собой, позволяют восстановить эти утраченные компоненты и установить единую и общую для всех типов простых предложений грамматическую структуру. Установление закономерностей связи отдельных компонентов простого предложения более полно раскрывает также и сущность основных морфологических категорий и грамматических форм данного языка, а тем самым способствует и более точному их раскрытию в научных и описательных грамматиках.

Доклад К. К. Сартбаева (Киргизский государственный университет) был посвящен некоторым спорным вопросам сложноподчиненного предложения киргизского языка. Одной из сложных проблем в изучении грамматического строя тюркских языков, по мнению докладчика, является вопрос об определении критериев разграничения развернутых членов предложения, деепричастных оборотов и придаточных предложений. Основными критериями придаточных предложений в киргизском языке он считает относительную смысловую самостоятельность, грамматическую организованность и интонацию.

Доклад А. А. Юлдашева (Институт языкознания АН СССР) «Категория глагольного вида в тюркских языках» был посвящен одному из частных вопросов описательной грамматики тюркских языков. А. А. Юлдашев подробно охарактеризовал существующие взгляды на категорию вида и, опираясь в основном на факты татарского и башкирского языков, указал на правомерность выделения видов как особых грамматических категорий в тюркских языках.

На втором заседании, состоявшемся 2 декабря 1954 г., был заслушан доклад Б. А. Серебренникова (Институт языкознания АН СССР) «Сравнительно-исторический метод в языкознании и история изучения тюркских языков». Указав на известные достижения в применении сравнительно-исторического метода в области исследования индоевропейских и финно-угорских языков, докладчик отметил, что сравнительно-исторический метод не нашел должного применения в области тюркологии.

Имеющиеся же в распоряжении тюркологической науки материалы, по мнению докладчика, вполне достаточны для восстановления общих контуров общетюркского языка-основы. Ближайшей задачей тюркологов является организация широких этимологических исследований и составление этимологических словарей. Необходимо создать вполне четкую генеалогическую классификацию тюркских языков, без которой невозможно успешно заниматься восстановлением их исторического прошлого.

На сессии был заслушан доклад Б. М. Юнусалиева (Киргизский государственный университет) «К вопросу о формировании общенародных черт киргизского языка», в котором было высказано предположение о том, что общенародные и общедиалектные черты современного киргизского языка, в основном, сформировались при непосредственной близости к южносибирским тюркским народностям и уйгурам в эпоху тесного общения предков современных киргизов и алтайцев.

Доклад К. К. Юдахина (Академия наук Киргизской ССР) был сделан на тему «Итоги и задачи изучения киргизских диалектов». Докладчик особо остановился на анализе некоторых спорных положений киргизской диалектологии, а также на недостатках изучения киргизских диалектов, соседних говоров и диалектов родственных и территориально смежных языков. Основным спорным вопросом киргизской диалектологии, по мнению докладчика, является вопрос об имеющихся в современном киргизском языке остатках племенных диалектов, наличие которых он и доказывает на основе ряда интересных фактов. Второй спорный вопрос — вопрос о происхождении фонемы [э] в южнокиргизских говорах. Часть диалектологов высказывала мысль о том, что эта фонема появилась в киргизских говорах под влиянием

узбекского языка, докладчик же полагает, что она существовала в говоре ичкиликов еще до встречи киргизов с узбеками.

В. В. Решетов (Академия наук Узбекской ССР) выступил с докладом «К вопросу о взаимоотношении узбекских и южнокиргизских говоров». Говоря о взаимодействиях узбекского языка с южнокиргизскими говорами, докладчик перечислил ряд существенных фонетических и лексических особенностей, заимствованных южнокиргизскими говорами из узбекского языка. Он полагает, что на южнокиргизские говоры непосредственное влияние имели ферганско-кыпчакские говоры узбекского языка в результате длительного исторического общения киргизов и узбеков. Докладчик на основе большого фактического материала высказал мнение о том, что в южнокиргизских говорах фонема [ə] во всех позициях возникла в результате заимствования из узбекского языка.

Г. Бакинова (Академия наук Киргизской ССР) в докладе «О сборе материалов по киргизской диалектологии», наряду с подробным обзором современного состояния диалектологии в республике, познакомила сессию с содержанием вновь разработанной программы-справочника по сбору диалектологического материала.

Доклад С. К. Кенесбаева (Академия наук Казахской ССР) был посвящен весьма важному для тюркологии вопросу о некоторых особенностях фразеологических единиц в казахском языке. Докладчик дал подробный анализ особенностей фразеологических единиц в казахском языке, в том числе идиоматических выражений, пословиц и поговорок и т. д. В докладе были затронуты также вопросы некоторых морфологических и синтаксических особенностей фразеологизмов (синтаксические отношения их компонентов, учет категорий словоизменения, особенности происхождения отдельных типов фразеологических единиц и многое другое).

На сессии был заслушан доклад Д. Ш. Шукурова (Академия наук Киргизской ССР) «Вопросы киргизской терминологии». Современное состояние разработки киргизской терминологии, говорит докладчик, оставляет желать лучшего. Имеющиеся терминологические словари по некоторым отраслям знаний не отвечают предъявляемым к ним требованиям и нуждаются в существенной переработке и дополнениях. По некоторым отраслям наук еще не разработана соответствующая терминология на киргизском языке и не составлены словари. При разработке киргизской научной терминологии необходимо использовать ресурсы киргизского языка и богатства русского языка. Необходимо, чтобы разработка вопросов терминологии носила плановый характер. Желательно организовать специальный Терминологический комитет, который будет заниматься научно-теоретическими и практическими вопросами терминологии.

В ходе развернувшихся после докладов оживленных прений выступавшие высказали свои мнения по отдельным вопросам заслушанных на сессии докладов.

М. Мураталиев в своем выступлении остановился на необходимости упорядочения синтаксических терминов и высказал свои суждения о месте придаточных предложений в киргизском сложном предложении и о критериях для определения отличий придаточных предложений от главных.

А. Мамытов посвятил свое выступление вопросу об упорядочении сельскохозяйственной терминологии, что необходимо для улучшения дела сельскохозяйственной пропаганды среди населения.

А. И. Искаков посвятил свое выступление, в основном, вопросу о принципе построения описательной грамматики и указал на необходимость более подробного описания системы словообразования, которая играет немаловажную роль в отнесении тех или иных слов к различным частям речи.

Б. А. Серебренников подверг критике тезис доклада И. А. Батманова о решающей роли морфологического признака в классификации частей речи. Б. А. Серебренников в этом тезисе усматривает противоречие, заключающееся в том, что часть слов, как союзы, междометия, частицы и послелоги, вовсе не обладает морфологическими признаками. Следовательно, там, где есть возможность учесть эти морфологические признаки, они должны быть приняты во внимание, в других же случаях нужно учитывать семантические признаки. Б. А. Серебренников, полемизируя с И. А. Батмановым, полагает, что послелоги должны быть выделены в особую часть речи, а подражательные слова могут рассматриваться с междометиями. По поводу утверждения А. А. Юлдашева о том, что в татарском языке любая глагольная основа может образовать совершенный вид, а следовательно, и несовершенный, он указал, что времена могут быть специализированы в видовом значении, но это не значит, что в языке существует вид. Поэтому сложные глаголы в татарском языке представляют лексические образования, имеющие видовое значение. Касаясь доклада Н. А. Баскакова, Б. А. Серебренников возражал против тезиса о наличии в древнейшую эпоху развития тюркских языков в предикате указательного местоимения, считая этот тезис мало аргументированным. Касаясь положений, затронутых в докладе К. К. Сартбаева, он отметил, что интересным является высказывание докладчика об интонационном признаке придаточных предложений. Б. А. Серебренников высказал также свои соображения по

докладам Б. М. Юнусалиева и С. К. Кенесбаева и внес предложение о создании специальных комиссий по вопросам разработки научных терминов.

И. Н. Бажина остановилась на вопросе об упорядочении терминологии и о роли русского языка в обогащении лексического состава языков других народов.

К. О. Бакеев посвятил свое выступление, в основном, вопросам киргизской диалектологии.

Н. Т. Сауранбаев выразил удовлетворение по поводу содержания повестки дня сессии и отметил, что заслушанные доклады имеют большое научное значение не только для киргизского языкознания, но и для тюркологии вообще. Особо отметив значение изучения диалектов для исследования истории народов Средней Азии и Казахстана, он указал на необходимость учета племенных и территориальных различий при описании того или иного диалекта. Касаясь доклада Н. А. Баскакова, он возражал против тезиса последнего по поводу субстантивизации сказуемого, ибо категории сказуемого, по его мнению, не свойственна субстантивизация. Соглашаясь с основными положениями доклада И. А. Батманова, Н. Т. Сауранбаев указал на необходимость учета синтаксических особенностей частей речи.

Дж. Мураталиева посвятила свое выступление вопросам послелогов и высказалась в пользу их выделения в самостоятельную служебную часть речи.

Затем выступил Г. Г. Мусабаев, который остановился на вопросе о некоторых заимствованиях из монгольских языков и высказал предположение относительно проникновения этих заимствований в тюркские языки приблизительно в XI—XIII вв. Он подчеркнул необходимость тщательного изучения алтайско-киргизских и киргизско-казахских языковых взаимосвязей для более точного установления причин возникновения их общих черт и различий.

Г. Д. Санжеев в своем выступлении говорил о неправомерности игнорирования синтаксического критерия при классификации частей речи. Говоря о значении применения сравнительно-исторического метода в исследовании тюркских языков, он указал, что для эффективности применения этого метода при изучении тюркских языков необходимо привлекать также данные по монгольским и тунгусским языкам.

В своих заключительных словах докладчики, отвечая на выступления, высказали и суждения по различным докладам, прочитанным на сессии. Так. И. А. Батманов коснулся вопроса о наличии остатков племенных диалектов в современном киргизском языке и подтвердил свою прежнюю точку зрения об ичкиликах, как одном из сравнительно поздних компонентов киргизского народа. В связи с этим он считает, что фонема [ə] заимствована и не была присуща говорам других племен, образовавших киргизскую народность.

А. А. Юлдашев выдвинул вопрос о необходимости переиздания ценных работ дореволюционных тюркологов и перевода на русский язык некоторых тюркологических работ зарубежных авторов.

Н. А. Баскаков высказал свои соображения по докладу проф. И. А. Батманова, в частности, о возможности сохранения в грамматике послелогов как самостоятельной служебной части речи. В связи с докладом Б. М. Юнусалиева он считает целесообразным более подробно раскрыть тезисы о «древнекиргизской языковой общности». Касаясь доклада Б. А. Серебренникова, он указал, что при применении сравнительно-исторического метода в изучении тюркских языков необходимо сравнение их с монгольскими и маньчжуро-тунгусскими языками и установление ближайших родственных связей внутри классификационных групп самих тюркских языков.

Б. М. Юнусалиев также отметил необходимость привлечения фактов монгольских языков при изучении тюркских языков. Касаясь доклада В. В. Решетова, он возражал против тезиса по поводу объяснения происхождения из узбекского языка губного нисходящего дифтонга в южных говорах киргизского языка.

С. К. Кенесбаев высказался в пользу мнений о том, что фонема [ə] заимствована киргизским языком. Он подчеркнул необходимость разработки вопросов лексики и более глубокого сравнительного изучения тюрко-монгольских языков.

Б. А. Серебренников, подводя итоги работы сессии, отметил, что она отражает начало нового периода в развитии советской тюркологии, когда на первый план выдвигаются научные проблемы, и характеризует собою значительную работу, проделанную языковедами Средней Азии и центральных научных учреждений.

Основная задача языковедов, которая ставится в настоящее время перед нами партией и советским правительством, состоит в создании капитальных трудов, являющихся обобщением частных исследований, таких работ, которые могли бы войти в фонд языковедческой науки и появление которых двигало бы вперед языкознание.

В принятом сессией решении основные положения заслушанных докладов получили одобрение. Отмечено, что в процессе их обсуждения были выявлены некоторые спорные вопросы, требующие дальнейшего изучения, в том числе вопросы о критериях классификации частей речи, о сохранении послелогов в составе частей речи, о категории вида в тюркских языках, об отнесении к числу придаточных предложений

причастных оборотов на *-ган*, *-ар* и других в местном, исходном и дательном-направительном падежах, о порогах интеграций родственных диалектов и о классификации и природе диалектов киргизского языка. В число первоочередных задач выдвинуто более широкое и творческое применение сравнительно-исторического метода и создание научных трудов по истории тюркских языков.

Участники сессии обратились к Институту языкознания и Институту востоковедения АН СССР и академиям наук тюркоязычных республик с просьбой переиздать труды русских и зарубежных тюркологов, а также памятники древних тюркских языков и в первую очередь словарь Махмуда Кашгарского.

Сессия сочла необходимым чаще практиковать созыв межреспубликанских совещаний для обсуждения основных проблем фонетики, грамматики, диалектологии, лексики и истории тюркских языков.

Б. Орузбаева

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Каракалпакский научно-исследовательский институт экономики и культуры АН Узб. ССР в сентябре 1954 г. организовал научную конференцию, посвященную вопросам каракалпакского языкознания и литературоведения. В работе конференции приняли участие представители Каракалпакского пединститута, Института усовершенствования учителей Каракалпакской АССР, учителя каракалпакского языка и литературы, писатели ККАССР. Активную помощь в разрешении поднятых вопросов оказали представители Института языкознания АН СССР (Н. А. Баскаков), Института этнографии АН СССР (С. П. Толстов), Академии наук Узб. ССР (Х. К. Камилова, К. К. Юдахин, В. В. Решетов), Киргизского филиала АН СССР (Ж. Ш. Шукуров) и др.

После вступительного слова секретаря Каракалпакского обкома КП Узбекистана тов. А. М. Махмудова с докладом на тему «Состояние и задачи разработки современного каракалпакского языка» выступил ст. науч. сотр. Каракалпакского научно-исследовательского института экономики и культуры АН Узб. ССР канд. филол. наук Д. С. Насыров.

После обстоятельного обзора истории развития и исследования каракалпакского литературного языка докладчик остановился на задачах его дальнейшего изучения.

Д. С. Насыров уделил большое внимание вопросам фонетики, алфавита и орфографии, а также каракалпакской научной терминологии, настоятельно требующей дальнейшей разработки. Особое значение, по мнению докладчика, имеет вопрос об изучении каракалпакских диалектов в связи с историей каракалпакского народа.

На конференции был также заслушан доклад диссертанта Института языкознания АН СССР К. У. Убайдуллаева «Вопросы каракалпакской графики и орфографии». Переход каракалпакской письменности на новую, русскую графику, сказал он, не только способствовал повышению грамотности населения, но и дальнейшему совершенствованию самого литературного языка.

Однако несмотря на свои преимущества, новая каракалпакская графика и орфография имела ряд недочетов.

В 1940 г. при переходе на новый алфавит с русской основой были введены дополнительно три буквы *ҳ*, *ғ*, *ҳ* для обозначения специфических согласных звуков каракалпакского языка, однако для специфических гласных звуков *ə*, *ө*, *ў* соответствующие обозначения введены не были. Поэтому необходимо было передавать эти звуки при помощи сочетаний букв *а*, *о*, *у* с мягким знаком (ь), например: *дəн* пишется как *дань* «зерно», *өт* — *оть* «жёлчь», *төрт* — *торть* «четыре», *түн* — *тунь* «ночь» и т. д. Для устранения такой путаницы в правописании исконно каракалпакских слов, сказал докладчик, следует обязательно включить в состав современного каракалпакского алфавита буквы *ə*, *ө*, *ў*.

Введение знаков *е*, *ө* *ў* в каракалпакский алфавит вместе с тем позволит исключить дополнительные знаки *ҳ* и *ғ*, которые благодаря существующей в каракалпакском языке закономерности сочетания задних *ҳ* и *ғ* только с задними гласными *а*, *о*, *у*, *ы*, а более передних *к* и *г* — только с передними гласными *ə*, *е*, *ө*, *ў*, *и*, могут быть заменены буквами *к* и *г*, например: *кол* «рука», *көл* «озеро», *огы* «его ось», *бугип* «согнув» и пр.

Нет сомнения, указал докладчик, что многие из орфографических правил не требуют коренных изменений. Тем не менее некоторые спорные вопросы каракалпакского правописания нуждаются в существенных уточнениях. Таково, например, правописание двойных *ый*—*ий* в словах типа *жыйна-*, *сыйла-*, *сийле-*, *сийне*. Эти слова до сих пор передавались через *и*: *жина-*, *сила-*, *силе-*, *сине*. К. У. Убайдуллаев ут-

верждает, что в нынешнем своде орфографических правил нет последовательности в разрешении данного вопроса. С одной стороны, буква *и* служит для обозначения переднего гласного: *бир, еки, тил, етик*, с другой — для обозначения сочетаний звуков *ий* и *ый*: *ине* (вместо *ийне*), *жина-* (вместо *жыйна-*), и, наконец, для обозначения русского звука *и* в словах типа *директор, кино, ударник, аудитория*.

Игнорируются особенности каракалпакского языка и в правописании других гласных букв. Например, буква *у* в каракалпакском алфавите обозначает, кроме узкого гласного, губно-губной согласный *в* и сложное сочетание звуков: *ув, ув*. Так как вследствие этого в школах при обучении каракалпакскому языку возникают трудности, докладчик предлагает сочетания *ув, ӯв* передавать на письме аналитически, а губно-губной согласный *в* изображать буквой *в*.

Запутанным вопросом является слитное и раздельное написание сложных слов. Часть этих слов представляет собой органически слившиеся слова, компоненты которых связаны внутренними фонетическими изменениями: *бугин* «сегодня», *быйыл* «ныне, в этом году», а другие являются механическим соединением двух основ: *минеткун* «трудодень», *орынбасар* «заместитель» и др.

Докладчик отмечает необходимость четко разграничить сложнослитные слова от идиоматических и фразеологических сочетаний, а также от обычных свободных словосочетаний, установить основные их типы. Прежде всего следует отказаться от чрезмерного увлечения механическим соединением слов, памятуя, что в каракалпакском языке нет особых соединительных гласных для сложных слов, как в русском языке. Рекомендуется придерживаться раздельного написания сложных слов, за исключением собственных имен и географических названий. Что касается русско-интернациональных слов, вошедших в каракалпакский язык, то последние, по мнению докладчика, надо писать так, как они пишутся по-русски.

В разработанном Институтом экономики и культуры проекте, оглашенном К. У. Убайдуллаевым, предлагается ввести такой алфавитный порядок буквенных знаков: *а, э, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, ө, п, р, с, т, у, ӯ, ф, х, ҳ, ц, ч, ш, щ, ы, ъ, ь, э, ю, я*.

В прениях по докладам приняли участие работники научно-исследовательских институтов Академии наук СССР и республиканских академий наук, Каракалпакского пединститута, представители Союза советских писателей, министерств и других учреждений, учителя каракалпакского языка и литературы.

Очередными и самыми неотложными задачами каракалпакского языкознания, по мнению выступавших, являются: а) разработка нормативной грамматики каракалпакского языка; б) составление двуязычных (русско-каракалпакского и каракалпакско-русского) словарей; в) изучение истории каракалпакского языка и организация работы по собиранию и изучению диалектологического материала; г) налаживание систематической и более продуктивной работы по терминологии каракалпакского языка, д) улучшение техники перевода с русского на каракалпакский и с каракалпакского на русский язык; е) составление учебников по родному и русскому языку для каракалпакской начальной и средней школ.

Однако самым неотложным, как это было единодушно отмечено всеми выступавшими, является вопрос об изменении и уточнении современной каракалпакской орфографии.

Все присутствующие на конференции согласились с тем, что предложенный Институтом экономики и культуры ККАССР новый свод орфографических правил в основном точно отмечает все спорные вопросы и вносит правильные предложения по уточнению и изменению существующих правил правописания.

Большим недостатком современной каракалпакской орфографии, как отмечали многие выступавшие, является то, что она не отражает звукового состава каракалпакского языка. В каракалпакском языке имеется 9 гласных, а в современной орфографии отражено только 6 гласных. Некоторые буквы обозначают одновременно и гласные звуки, и согласные, и даже сочетания гласных и согласных звуков.

Чрезвычайно трудным оказалось установление правил правописания букв *х* и *ҳ*, так как соответствующие звуки в каракалпакском языке являются весьма неустойчивыми: например, слово *тахта* со значением «доска» пишется как *таҳта* и как *тахта*; *ахсаҳ* «хромой» — как *ахсаҳ* и *аҳсаҳ*. В будущем своде правил каракалпакской орфографии в этих случаях необходимо принять единообразное написание: либо везде *ҳ*, либо везде *х*.

Оживленный спор вызвало предложение об изъятии из алфавита букв *ҳ* и *ғ*. Большинство выступавших предлагало оставить эти буквы для обозначения соответствующих звуков.

Многие говорили о том, что надо ввести в алфавит новый знак *ӊ* для обозначения соответствующего задненебного носового *н*, который в старом алфавите обозначался сочетанием букв *нг*.

В отношении букв *я* и *ю* большинство выступавших предлагало использовать принципы написания этих букв в русской орфографии, т. е. сочетания *йа* и *йу* во всех слу-

чаях передавать через *я* и *ю*, сочетания же *йэ*, *йв* и *йӯ* (*й* со специфическими гласными каракалпакского языка) передавать аналитически.

Что касается правописания сложных слов, то выступавшие в прениях высказались за их раздельное написание в подавляющем большинстве случаев. Во время прений многими отмечалась необходимость изучения вопроса о слитном и раздельном написании слов в общем плане для всей группы тюркских языков.

После прений по обоим языковедческим докладам была принята резолюция. Основные пункты этой резолюции следующие:

По общим вопросам:

1. Включить в перспективный план Института экономики и культуры ККАССР: разработку нормативной грамматики каракалпакского литературного языка; составление двуязычных (русско-каракалпакского и каракалпакско-русского), а также отраслевых терминологических и орфографического словарей.

2. Рекомендовать Каракалпакскому научно-исследовательскому институту экономики и культуры АН Узб. ССР наладить систематическую работу по изучению диалектов каракалпакского языка путем организации ежегодных языковедческих экспедиций с участием студентов и преподавателей Каракалпакского пединститута.

3. Просить Академию наук Узб. ССР укрепить отдел языка и литературы Института квалифицированными кадрами путем расширения штатов отдела и подготовки специалистов по каракалпакскому языку через аспирантуру Академии наук Узб. ССР и Академии наук СССР.

По вопросам орфографии:

1. Одобрить представленный для обсуждения проект дополнений и изменений существующего каракалпакского алфавита и орфографии в основных его положениях.

2. Включить в состав каракалпакского алфавита буквы *э*, *в*, *у* для обозначения специфических гласных звуков каракалпакского языка.

3. Изучить вопрос о возможности исключения из состава каракалпакского алфавита букв *ꞑ* и *ҽ*.

4. Рекомендовать губно-губной проточный звук *в* обозначать буквой *в* с восстановлением написания дифтонгов *ув* и *ув*, например: *тав*, *сув*, *кавын*, *барув*, *келӯв*, *ватан кавендер* и т. д.

5. Признать необходимым полностью отражать на письме дифтонги *ый* и *ий*, например: *сый-*, *тый-*, *сыйасий*, *мадений* и т. д.

6. Обозначать на письме узкие гласные *ы* и *и* первого слога, например: *пышаҟ*, *киби* и т. д.

7. Сочетание звуков *йа*, *йу*, *йӯ*, *йе* передавать в середине слова двумя буквами (аналитически), например: *тийӯв*, *койан*, *тыйӯв*, *тийеди*, *тийе*, *айув* и т. д. Сочетания *йа*, *йу* в начале слова, встречающиеся редко, передавать через *я*, *ю*.

8. Буквы *х* и *ф*, кроме заимствованных из русского языка слов, писать только как исключение в словах по особо разработанному списку; во всех случаях колебаний в написании *ҟ* и *х*, а также *п* и *ф* писать везде *ҟ* и *п*: *аҟсаҟ*, *пайда* и пр.

9. Рекомендовать заменить сочетание *нг* для обозначения заднего носового *н* знаком *ӈ*.

10. В отношении правописания сложных слов конференция рекомендует максимально использовать принцип раздельного написания.

11. Признать необходимым окончательно оформить проект свода правил каракалпакской орфографии с учетом перечисленных выше рекомендаций, и после получения отзывов Института языка и литературы Академии наук Узб. ССР и Института языкознания Академии наук СССР представить его на утверждение в Совет министров Каракалпакской АССР.

Г. Д. Петров и К. А. Аимбетов

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1955

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗА РУБЕЖОМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ГЕРМАНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Das Institut für deutsche Sprache und Literatur. Vorträge gehalten auf der Eröffnungstagung. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur, 1.) — Berlin, Akademie-Verlag, 1954.

В рассматриваемый нами сборник входят доклады, прочитанные при открытии Института немецкого языка и литературы Германской Академии наук в Берлине в 1952 г. на организационной конференции, посвященной задачам и плану работы Института. Сборник содержит краткое вступительное слово президента Академии проф. В. Фридриха, общий доклад о плане работы института его директора члена Академии проф. Т. Фрингса и ряд специальных докладов по основным разделам плана как сотрудников института, так и гостей, прибывших на конференцию из различных частей Германии. Таким образом, сборник дает возможность ознакомиться с кругом вопросов, разрабатываемых в настоящее время в области германского языкознания и филологии в крупнейшем научном центре Германской Демократической Республики.

Два обстоятельства обращают на себя внимание при первом ознакомлении с общей перспективой научной работы института. Во-первых, в план его включены почти исключительно большие коллективные работы, прежде всего — составление словарей различного типа и издание сочинений немецких классиков средних веков и нового времени, т. е. научные предприятия большого масштаба, требующие организационной и материальной помощи и поддержки государства. Как видно из плана Германской Академии, такая помощь оказывается в настоящее время Германской Демократической Республикой с большою щедростью целому ряду культурных предприятий общенационального значения. С другой стороны, должно быть отмечено, что в этой работе активное участие принимают и прогрессивные ученые Западной Германии, выполняющие те или иные научные задания под общим руководством берлинской Академии наук как общенационального культурного центра. Некоторые из этих ученых выступали и в качестве докладчиков на конференции. Таким культурным сотрудничеством фактически преодолевается искусственное обособление Западной Германии, которого так настойчиво добиваются правительство Аденауэра и его иностранные покровители.

Широкая государственная помощь коллективным научным работам большого масштаба и национального значения, как видно из доклада проф. Фрингса, не была обычным явлением в практике старого немецкого государства. В свое время еще Я. Гримм в предисловии к «Немецкому словарю» отмечал тяжелое положение немецких филологов, вынужденных кустарным способом, по своему личному почину и на частные средства, осуществлять подготовку и издание трудов, непосильных для частной инициативы. «Начиная от Дасиподия и Пиктория и вплоть до Аделунга и Кампе все наши словари печатались без какой-либо публичной инициативы или помощи; приходится краснеть от стыда, когда видишь, что издание памятников родного языка, кроме отдельных похвальных исключений, в большинстве случаев осуществлялось на нищенские средства, при неохотной поддержке частных издателей, почти без всякого вознаграждения за труд. Было бы гораздо патриотичнее, если бы вся эта работа в целом получила широкую поддержку, которая сделала бы возможным полное опубликование этих памятников для народного пользования»[1].

Условия, на которые жаловался Гримм в 1855 г., не изменились существенным образом и в Германской империи Бисмарка и Гогенцоллернов. Об этом особенно ярко свидетельствует мартиролог немецкого диалектологического атласа («Sprachat-

[1] J. Grimm und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 1, Leipzig, 1854, [Предисловие], стр. VIII.

las des Deutschen Reichs»). Его составитель Г. Венкер (1852—1911), скромный учитель гимназии в Дюссельдорфе, потом библиотекарь в Марбурге, по своей инициативе разослал в 1876 г. по всем народным школам своего округа диалектологическую анкету, в дальнейшем постепенно распространив свой опрос на остальную Германию. С ростом материала Венкеру стало ясно, что один он никогда не справится с грандиозным объемом работы по составлению карт. По его подсчетам, при минимальном времени по 4 секунды для регистрации на карту каждого языкового факта для завершения всей работы ему потребовалось бы более 50 лет. Но работа национального значения, переросшая рамки частной инициативы скромного научного работника, в течение ряда лет не находила признания и поддержки официальных инстанций германского государства. Мы знаем теперь из частного письма Венкера, что вся его затея представлялась авторитетным лицам «слишком далекой по своей перспективе и слишком дорого стоящей для человека, не располагающего собственными денежными средствами (für einen vermögenslosen Mann)»[1]. Наконец, в 1886 г. берлинская Академия наук согласилась взять марбургский атлас на свое иждивение, с представлением Венкеру «щедрой» по тому времени государственной поддержки — двух ассистентов и небольшой денежной суммы на текущие расходы и в то же время с запрещением до окончания всей работы что-либо самостоятельно публиковать из собранного им материала. С помощью этих двух ассистентов Венкер и его помощник, а потом и преемник проф. Ф. Вредэ в течение 40 лет (1886—1926) в результате героических усилий собственноручно перенесли на карты материал 40 тыс. анкет, содержавших около 350 слов, составив, таким образом, более 1600 карт в двух рукописных экземплярах, один из которых оставался в Марбурге, а другой передавался в Берлин, в библиотеку Академии наук. Только в 1926 г., к 50-летию инициативы Венкера и через 15 лет после его смерти, проф. Вредэ удалось получить средства для печатания атласа, однако в уменьшенном масштабе и сильно упрощенной форме («Deutscher Sprachatlas», Marburg, 1926 и сл.),— издание, которое до сих пор остается незаконченным (печатание после второй мировой войны возобновилось в Марбурге в 1950 г. под редакцией преемника тем временем скончавшегося Вредэ — проф. В. Митцка, но продолжается прежними медленными темпами).

Разумеется, если бы в распоряжении Венкера и его преемников было не 2 ассистента, а 10—15, работа над составлением и печатанием атласа не растянулась бы на много десятилетий, а была бы закончена своевременно. Судьба Венкера и его атласа — типичный пример трагедии ученого-новатора в буржуазном обществе, равнодушном к большому научному начинанию, имеющему общенациональное значение.

В сходных организационных условиях создавался и уже упоминавшийся «Немецкий словарь» Я. Гримма («Deutsches Wörterbuch», 1854 и сл.), завершение которого представляет в настоящее время важнейшую задачу словарной работы нового института. Издание словаря Гримма продолжается уже более 100 лет; за это время напечатано 335 выпусков (т. е. в среднем 3—3½ выпуска в год). Начало работы над словарем явилось результатом издательской инициативы. В 1837 г. Я. Гримм, в то время профессор в Геттингене, был уволен из университета вместе с несколькими профессорами буржуазно-демократического лагеря. С целью предоставления ему материальной поддержки и работы по специальности издательство Вейдман предложило ему взять на себя составление научного словаря немецкого языка. Согласно плану Гримма, словарь был задуман в чрезвычайно широких масштабах, на историческом основании, с документацией истории каждого слова, его значений и употребления, в исторических рамках от раннего нововерхненемецкого (примерно с 1450 г.) до классического периода немецкой литературы XVIII — начала XIX в., с привлечением также по мере надобности для истории значений отдельных примеров из средневерхненемецких, реже и древневерхненемецких памятников. Как собирание примеров, так и обработка целиком производились самим составителем словаря; однако материал присылали по собственной инициативе и случайные добровольные корреспонденты, число которых, согласно сообщению Гримма, доходило до 80.

Эта организация работы сохранилась и после смерти Гримма (1863 г.) Каждый из последующих томов имел отдельного составителя (одновременно собирателя и редактора) из числа крупнейших представителей германистики того времени (Гильдебранд, Вейганд, Вундерлих, Лексер, М. Гейне); такой составитель, работая в течение десятилетий на добровольных началах над своей буквой, делал сам всю работу, начиная от первичных выписок до окончательной редактуры, в рамках общего замысла Гримма, но иногда с очень существенными различиями в выполнении, продиктованными индивидуальными знаниями или научными вкусами. Эту самостоятельность своей индивидуальной научной инициативы составители продолжали упорно отстаивать и впоследствии, когда отрицательные стороны такого индивидуализма стали уже достаточ-

[1] См. B. Martin, Georg Wenkers Kampf um seinen Sprachatlas (1875—1889), сб. «Von Wenker zu Wrede» («Deutsche Dialektgeographie», Heft XXI), Marburg, 1933, стр. 26.

но очевидны. Словарь, писал Вундерлих, «нуждается прежде всего в свободных личностях, если хотят, чтобы он осуществлялся успешно»[1].

Только в 1908 г. руководство над словарем взяла на себя так называемая Немецкая комиссия (Deutsche Kommission) берлинской Академии наук, притом взяла «неохотно», по характерному признанию ее председателя. Вместе с организацией единого научного руководства было создано в Геттингене центральное бюро выборщиков (Zentralsammelstelle), которое должно было подготавливать для высококвалифицированных составителей, продолжавших работу на добровольных началах, материал выписок по очередным буквам. Уже к 1912 г. в архиве бюро насчитывалось 1 млн. 813 тыс. выписок.

Наконец, в 1930 г., по докладу берлинского германиста проф. А. Гюбнера, была предпринята новая реформа, преследовавшая цели большей унификации и ускорения темпов затянувшейся работы: составление словаря поручено было небольшой группе штатных сотрудников из начинающих научных работников, объединенных в Берлине под квалифицированным руководством крупного специалиста. Согласно крылатому выражению Гюбнера, словарь необходимо было готовить «фабричным способом» («fabricatorisch»), но качество руководства должно было обеспечить выработку не ходового «фабричного товара», а «полноценную научную работу»[2].

В Институте немецкого языка общим руководителем работы по завершению словаря Гримма является директор института проф. Фрингс, непосредственное руководство осуществляет проф. Б. Бекман, доклад которого напечатан в сборнике (стр. 125—136). Работа ведется в Берлине при участии вспомогательной группы в Геттингене (Западная Германия) коллективом, состоящим из 14 штатных научных и 8 технических сотрудников. Остающиеся 30 выпусков словаря предположено издать до 1960 г. В дальнейшем намечено новое издание всего «Немецкого словаря» по единому научному плану. Таким образом, коллективная организация научной работы, вышедшая из тупика «академического индивидуализма», при опытном научном руководстве и широкой материальной поддержке демократического государства, обеспечила, наконец, возможность полноценного завершения научной работы большого масштаба и общенационального значения.

Институт немецкого языка и литературы взял на себя руководство и другой словарной работой, также возникшей по частной научной инициативе,— «Средневерхненемецкого словаря» («Mittelhochdeutsches Wörterbuch»). Подготовительные работы велись его первыми организаторами уже без малого четверть века; картотеки словаря насчитывают в настоящее время более миллиона выписок. Новый словарь должен заменить прежние — неполные и в настоящее время устаревшие. Он будет состоять из трех томов в хронологических рамках 1050—1500 гг.: первый, в основном уже подготовленный, охватывает ранний, доклассический период (до 1170 г.), второй — период классический, третий — поздний период, переходный к новонемецкому. Работа ведется одновременно в Берлине, в Гейдельберге и в Гамбурге по согласованному плану. Сессия заслушала доклады проф. Киваста (Гейдельберг) и проф. Претцеля (Гамбург), руководителей работы в Западной Германии (стр. 97—123).

«Средневерхненемецкий словарь» хронологически смыкается с «Древневерхненемецким словарем» («Althochdeutsches Wörterbuch», Berlin, Akademie-Verlag, 1952 и сл.), издающимся Саксонской Академией наук в Лейпциге под ред. проф. Фрингса и его многолетней сотрудницы проф. Е. Карг-Гастерштедт. Начало «Древневерхненемецкому словарю» положено было лет шестьдесят тому назад карточным указателем к известному собранию древненемецких глосс Штейнмейера-Сиверса, не использованному старыми, крайне неполными древненемецкими словарями. С течением времени этот указатель превратился в полный словарь древневерхненемецкого языка в хронологических рамках 750—1150 гг., регистрирующий весь лексический материал этого периода по грамматическим формам и по значениям. Отдельные словарные статьи, представлявшие интерес с лингвистической или культурно-исторической точки зрения, уже ранее публиковались проф. Фрингсом и его сотрудниками как образцы обработки собранного ими материала[3]. В настоящее время лейпцигская Академия наук начала публикацию этого многотомного издания.

Под руководством Института немецкого языка работают и над областными диалектологическими словарями. Ряд таких словарей, обычно рассчитанных на несколько томов, подготовлялся в разное время и с различным успехом в большинстве университетских центров германских «земель» с помощью обширного штата добровольных ме-

---

[1] См. «Zeitschrift für deutsche Philologie», Bd. 40, 1908, стр. 103.

[2] A. Hübner, Die Lage des Deutschen Wörterbuchs, «Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur», Bd. 49, 1930, стр. 79—90. См. также A. Götze, Deutsche Wortforschung, «Germanische Philologie. Ergebnisse und Aufgaben. Festschrift für Otto Behaghel», Heidelberg, 1934, стр. 155—156.

[3] См. E. Karg-Gasterstädt und Th. Frings, Aus der Werkstatt des Althochdeutschen Wörterbuchs, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. 60, 1936 и сл.

стных корреспондентов[1]. Широкие масштабы задуманного издания при недостатке материальных средств и отсутствии солидной организационной базы с достаточным числом штатных сотрудников обусловили крайнюю медленность собирания и обработки словарного материала, публикация которого в большинстве случаев осталась незаконченной.

В настоящее время на территории Германской Демократической Республики при поддержке Германской Академии наук подготавливаются три областных словаря нижненемецких диалектов — мекленбургский, бранденбургско-берлинский и померанский. Руководителем первого, наиболее продвинувшегося, является Г. Тойхерт (H. Teuchert), профессор Ростокского университета, крупнейший знаток восточнонижненемецких диалектов. По его инициативе было начато собирание материала и для бранденбургского словаря, во главе которого в настоящее время стоит сотрудник Академии проф. Розенфельд.

Специальный характер имеют словари названий животных и растений, которые подготавливаются к печати под руководством члена Академии В. Виссмана. В немецком языке большинство этих названий имеет местный характер, с значительной дифференциацией по говорам. Основной материал словари растений был собран в течение 30 лет учителем Г. Марцелль. В настоящее время Германская Академия наук обеспечила продолжение издания оставленной им рукописи словаря (H. Marzell, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, Bd. 1, Leipzig, 1943), которое было прервано в период второй мировой войны.

Одновременно с работой над словарями Германская Академия продолжает издание средневековых немецких рукописных текстов как важных языковых и литературных источников (серия «Deutsche Texte des Mittelalters», под ред. В. Симона). С 1948 по 1953 гг. напечатано 3 выпуска серии; согласно сообщению проф. Фрингса, подготовлены к изданию и подготавливаются еще 8 выпусков, содержащих преимущественно неизданные поэтические и прозаические памятники позднего средневерхненемецкого периода (XIV в.).

В центре работы института по новому периоду немецкого языка и литературы стоит творчество Гете. Институт подготавливает новое научно-критическое издание сочинений Гете и словарь его языка. На сессии доклады об этих работах сделали их руководители — проф. Э. Грумах (стр. 39—51) и член Академии В. Виссман (стр. 53—63).

Канонический текст собрания сочинений Гете был установлен так называемым «веймарским изданием» (1887—1920 гг.). В подготовке этого издания, содержащего 148 томов художественных и научных сочинений, дневников и писем, участвовали крупнейшие и наиболее авторитетные специалисты того времени, и его научнопроверенный текст, не вызывавший сомнений в своей достоверности, лег в основу всех последующих изданий научного и популярного характера.

Проф. Грумах, однако, ставит под сомнение текстологические принципы веймарского издания[2]. В его основу редакционная коллегия положила текст последнего прижизненного издания сочинений Гете (Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand, Stuttgart—Tübingen, Cotta, 1827 и сл.) как окончательного выражения «творческой воли» поэта, допуская отступления от этого текста лишь в случаях явных опечаток и искажений. Однако текст этот, как показывает сличение с рукописями и сохранившимися корректурами, в существенных деталях вовсе не безупречен: Гете предоставлял расстановку знаков препинания и грамматическую правку своему помощнику, филологу Гетлингу, который руководствовался «школьными» принципами, а в ряде случаев поэта правили и корректора издательства Котта. Поэтому «творческая воля» Гете по отношению к тексту его произведений, при наличии контрольного материала, должна, по мнению проф. Грумаха, определяться в каждом конкретном случае обычными приемами критической интерпретации.

Более принципиальное значение имеет предпочтение, которое проф. Грумах оказывает ранним версиям произведений Гете по сравнению с поздними. Известно, что Гете подвергал свои произведения, в особенности созданные им в период «бури и натиска», далеко идущей переработке, как по содержанию, так и по стилю, с точки зрения мировоззрения и эстетики периода классицизма. Такая редакционная работа автора через много лет после создания произведения подчиняла раннего Гете чуждым ему нормам позднего периода.

«Превращение последнего печатного текста в норму издания имело поэтому по-

---

[1] См.: W. Mitzka, Deutsche Mundarten, Heidelberg, 1943, стр. 147—152; его же, Die landschaftlichen deutschen Mundartwörterbücher der Gegenwart, «Zeitschrift für Mundartforschung», 1937. Ср. также В. М. Жирмунский, Методика социальной географии, сб. «Язык и литература», т. VIII, Л., 1932, стр. 89—99.

[2] См.: E. Grumach, Prolegomena zu einer Goethe-Ausgabe, «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft», Bd. XII, Weimar, 1950, стр. 60—88; его же, Aufgaben und Probleme der modernen Goetheedition, «Wissenschaftliche Annalen», Jg. I, Heft 1, 1952, стр. 8 и сл.

следствием то, что может быть названо антиисторизмом веймарского издания: в результате в единственном критическом издании его сочинений мы имеем позднего Гете; принципы и правила, определяющие форму текста,—это правила позднего Гете и даже часто всего лишь его советников, на которые он давал согласие только вследствие отчужденности от произведений своей молодости или равнодушия к ним; молодой Гете и даже Гете среднего периода, тот Гете, творческая сила которого, бьющая через край, создала эти произведения, отодвинут в веймарском издании в критический аппарат. Поэтому мы читаем все творения Гете, независимо от их происхождения и возраста, в приглушенной и смягченной форме, которую Гете придал им в годы своей зрелости и, к тому же, как уже было сказано, в нормализованной Гетлингом орфографии и пунктуации, искусственно созданными для того, чтобы сделать единообразными и выравнять все те различия, противоречия и изменения, которые наличествуют в сочинениях Гете как результат его шестидесятилетнего творчества» (стр. 44—45).

Грумах не удовлетворен и критическим аппаратом веймарского издания, в котором различия последовательных редакций произведений Гете обезличены механической разбивкой на изолированные «разночтения» (Lesarten). Такая подача вариантов текста, следующая методике издания старинных рукописей, может быть полезна лишь в тех случаях, когда авторская правка ограничивается отдельными словесными изменениями в рамках одной редакции, но она непригодна там, где мы имеем дело, как у Гете, с последовательностью творческих редакций (или версий) произведения в целом.

Эти новые принципы положены в основу критического издания сочинений Гете, предпринятого Германской Академией в юбилейном 1949 г. под общим руководством Грумаха. Оно не предполагает быть «полным собранием» всех сочинений Гете, а ограничено, согласно плану, его основными художественными произведениями. Образцом может служить подготовленное Грумахом критическое издание «Западно-восточного дивана» (Goethe. West-Östlicher Divan) в 6 томах, из которых 3 уже опубликованы (1952). В основу положен, повидимому, текст 1819 г., с привлечением чистовых рукописей; в критическом аппарате даются многочисленные, частично ранее неопубликованные, рукописные наброски, а также позднейшие рукописные исправления Гете и Гетлинга, положенные в основу последнего прижизненного издания 1827—1828 гг. Тем самым становится возможной и критическая проверка веймарского издания, к которой призывает Грумах [1].

Эта ревизия канонического текста Гете несомненно заслуживает серьезного внимания, хотя выдвигаемые самим Грумахом принципы издания представляются мне во многих отношениях дискуссионными. Разумеется, можно только приветствовать тот тип научно-критического издания классических произведений мировой литературы, который пропагандирует и осуществляет Грумах: речь идет в сущности о серии публикаций монографического характера, воспроизводящих ряд последовательных редакций данного произведения, начиная с первой, как это делалось и раньше по отношению к таким сочинениям Гете, как «Фауст» или «Гец фон Берлихинген». Нельзя не согласиться с тем, что предпринятое в свое время М. Моррисом издание произведений и писем молодого Гете («Der junge Goethe». Neue Ausgabe in sechs Bänden besorgt von Max Morris, Leipzig, 1909—1912), восстановившее не только первоначальный текст этих произведений, но и характерную для них орфографию и пунктуацию, фонетику и грамматику, до сих пор остается незаменимым научным пособием для изучения особенностей языка и поэтического стиля Гете периода «бурных стремлений» — изучения, которое совершенно невозможно на основе канонического текста веймарского издания. Однако полное собрание сочинений великого писателя в массовом издании, предназначенном для читателя, не являющегося историком литературы по профессии, вряд ли может идти иным путем, кроме указанного самим поэтом в его окончательной редакционной обработке своих произведений (если только эта обработка не является прямым искажением): разумеется, с теми конкретными поправками критического характера, которые не могут быть заранее указаны в общей форме.

Работа над словарем Гете ведется Германской Академией с ее основания в 1946 г. по плану, разработанному проф. В. Шадевальдтом (W. Schadewaldt)[2]. В отличие от небольшого словаря, составленного в 1929 г. П. Фишером[3], академический словарь, как сообщает в своем докладе Виссман, должен охватить полностью весь материал художественных и научных произведений Гете, его писем и дневников, зарегистрировать все слова, во всех значениях, со всеми особенностями словоупотребления. Словарь должен

[1] Новое издание печатается как серия самостоятельных выпусков под общим заглавием: «Werke Goethes. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin» (Berlin, Akademie-Verlag).

[2] См. «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft», Bd. XI (1949), Weimar, 1950.

[3] P. Fischer, Goethe-Wortschatz. Ein sprachgeschichtliches Wörterbuch zu Goethes sämtlichen Werken, Leipzig, 1929.

служить источником для истории новонемецкого литературного языка и в этом смысле дополнять словарь Гримма; в то же время он явится филологическим комментарием к сочинениям Гете, средством углубленного изучения его мировоззрения и стиля. Выборки производятся в Берлине, Лейпциге, Гамбурге и Тюбингене под общим руководством специальной комиссии Академии наук. Картотека будет иметь около 2 млн. выписок, из которых к отчетному году имелось в наличности более 400 тыс. Выписки изготовляются в двух экземплярах: первый вставляется в общий алфавит, второй предназначается для словарей к отдельным произведениям. К печати уже подготовлены такие монографические словари к «Гецу фон Берлихингену», «Вертеру» и «Ифигении». Разработано и несколько пробных словарных статей, позволяющих судить о принципах и методике обработки материала.

Кроме издания сочинений Гете, институт продолжает издавать начатые еще старой Академией наук полные собрания сочинений К. М. Виланда и Ж. П. Рихтера и возобновляет прекращенное во время войны печатание нового издания многотомной библиографии по истории немецкой литературы К. Гёдеке (K. Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung) и критико-библиографического ежегодника по германской филологии и новой немецкой литературе (Jahresberichte über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie und der neueren deutschen Literatur). Эти библиографические издания подготавливаются специальной группой научных и технических сотрудников. План работы института намечает в дальнейшем и ряд других публикаций из области новой немецкой литературы: собрания сочинений О. Людвига и Т. Фонтане, полное собрание сочинений «бурного гения» Ф. М. Клингера, научное издание «Од» Ф. Г. Клопштока и др.

Новые задачи германистики выдвигает в своем докладе член Академии проф. В. Штейнитц, руководитель отдела современного немецкого языка (стр. 65—96). Как справедливо отмечает проф. Штейнитц, старая немецкая германистика, носившая со времен ее основателя Я. Гримма, в основном, исторический характер, пренебрегала изучением современного немецкого языка. Исторический характер имели в большинстве своем и научные немецкие грамматики: для них характерно было, как показывает на ряде примеров проф. Штейнитц, перенесение грамматических категорий древних периодов на современные языковые отношения. Проф. Штейнитц намечает план создания научной грамматики современного немецкого языка. Дополнением к ней будет словарь современного немецкого языка, задача которого, в отличие от словаря Гримма, обращенного в прошлое, представить «все живое богатство современного немецкого языка». Материал примеров, иллюстрирующих словоупотребление, заимствуется «из ведущих литературных, научных и общественных произведений авторов XX и XIX вв.». Классическая литература XVIII в., начиная с Лессинга, привлекается, чтобы иллюстрировать слова и значения, в настоящее время уже не употребительные, но понятные, поскольку они встречаются в произведениях читаемых и в настоящее время писателей. Исключаются слова, представляющие продукт индивидуального поэтического словотворчества, специальные термины различных отраслей науки и техники; однако в словарь должны быть включены все иностранные слова, вошедшие в словарный состав «образованного слоя». В качестве научного образца проф. Штейнитц называет «Толковый словарь русского языка» под ред. проф. Д. Н Ушакова, отмечая, как его существенное достоинство по сравнению с немецкими словарями, наличие многочисленных, точно дифференцированных стилистических помет.

Особенно важной в научном отношении задачей того же отдела является издание «Словаря Маркса-Энгельса» («Marx-Engels-Wörterbuch»). Немецкая лингвистическая наука сделала до сих пор чрезвычайно мало для изучения языка великих основоположников научного социализма. В словаре Гримма, указывает проф. Штейнитц, имеются лишь две-три случайные цитаты из Маркса. Отсутствуют такие слова, как *Klassenkampf* («борьба классов»), *Produktionsmittel* («средства производства»), *Produktionsweise* («способ производства»), *Basis* («базис»— как в общем, так и в специальном значении) и многие другие; отсутствуют *Überbau* («надстройка»), *Mehrwert* («прибавочная стоимость») в том значении, которое придал этим словам Маркс; слово *Arbeiterbewegung* («рабочее движение») определяется как «рабочий бунт» («Aufruhr der Arbeiter, Arbeiterkrawall») и т. п. В ряде случаев словарь Гримма не отмечает и самых общих терминов политического и общественного характера, в особенности — интернациональных слов, например *Demokratie* («демократия»), *kosmopolitisch* («космополитический»), также *Pressefreiheit* («свобода печати») и др.

Согласно плану проф. Штейнитца, «Словарь Маркса-Энгельса» должен уделить наибольшее внимание словам, представляющим интерес по своему значению, «важным в терминологическом отношении». Обильные цитаты из произведений разного времени позволят проследить историческое развитие терминологии научного социализма, ее связь с терминами и понятиями английской политической экономии, французского утопического социализма и материализма, немецкой классической философии и покажут ее широкое влияние на другие языки.

Рассмотрение этих актуальных проблем современного немецкого языкознания проф. Штейнитц завершает методологическим обзором и критикой господствующих

направлений буржуазного языкознания XIX и XX вв. и обоснованием основных положений современного марксистского языкознания.

Дополнением к серии докладов по вопросам германистики является информационное сообщение проф. К. Бишоффа (стр. 19—37) о «Словарном атласе немецкого языка», который издается в настоящее время Марбургским диалектологическим институтом под редакцией его директора проф. В. Митцка (W. Mitzka, Deutscher Wortatlas, 1951 и сл.). Новый диалектологический атлас восполняет существенный пробел атласа Венкера, в котором, в отличие от французского атласа Жильерона, почти полностью отсутствовал материал по словарной географии (Wortgeographie). Анкета, содержащая 200 слов, была разослана составителем еще в 1939 г. в тогдашних границах распространения немецкого языка, при посредстве учителей народных школ (около 48 тыс. опорных пунктов). Статья проф. Бишоффа знакомит с историей создания атласа, методикой собирания материала и его картографической обработки и с методами интерпретации на примере нескольких словарных карт, которые воспроизводятся в сборнике.

Помимо докладов по германистике на сессии были заслушаны сообщения о работе комиссии по общему и сравнительному языкознанию (стр. 137—143), институтов славистики (стр. 145—155) и романского языкознания (стр. 157—180). Отчет по славистике Г. Г. Бильфельда отмечает недостаток в квалифицированных научных силах (стр. 150). Тем не менее необходимо отметить широкую постановку работы этого института, в особенности по изучению исторического взаимодействия немецких и славянских элементов на территории нынешней восточной Германии: языка лужицких сербов («лужичан»), местных названий лужицко-сербского происхождения на среднем востоке Германии, остатков языка полабских славян, сохранявшихся в районе Люнебурга еще в XVIII в., и др. Наиболее обширным исследованием в этой области является трехтомный труд недавно скончавшегося члена Академии известного лейпцигского слависта Р. Траутмана, посвященный славянской топонимике между Эльбой и Балтийским морем (R. Trautmann, Die Elb-und Ostseeslawischen Ortsnamen, Berlin, 1948—1950). Труд этот, первый том которого был отпечатан еще в 1939 году, был запрещен фашистской цензурой и в первом издании подвергся уничтожению до выхода в свет. В настоящее время работниками института подготовлен к печати подробный указатель к этой монументальной работе.

Одновременно ведутся исследования по инвентаризации славянских заимствований в немецком языке, сохранившихся в немецких диалектах в области первоначального расселения славян — не только в восточной Германии, но также в Ганновере, в Баварии и в Австрии. Процесс заимствования продолжался в течение почти целого тысячелетия, особенно интенсивно в период с XI—XII по XVI вв. Многие славянские слова, впоследствии вытесненные из немецких диалектов, могут быть обнаружены в средневековых письменных памятниках, в частности — в грамотах.

Большое культурное значение будет иметь подготовляемый Институтом славистики «Русско-немецкий словарь», рассчитанный на 50—60 тыс. слов. В своем словнике он ориентируется на словари русского языка Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова. Издание такого словаря соответствует настоятельным потребностям широких кругов немецкого населения, проявляющих в настоящее время живой интерес к русской культуре и литературе и изучающих русский язык.

В целом сборник свидетельствует о широких перспективах и серьезных достижениях филологической работы в Германской Демократической Республике. Как было ясно уже основателю германской филологии Я. Гримму, научные задачи большого масштаба и общенационального значения не могли быть с успехом доведены до конца учеными-одиночками и неизбежно перерастали рамки узко индивидуальной кабинетной работы. Буржуазное общество и государство проявляло в большинстве случаев поразительное равнодушие к судьбе подобных культурных начинаний. Большие коллективные научные труды, создаваемые в настоящее время Институтом немецкого языка, впервые стали осуществимы в наше время благодаря широкой организационной и материальной поддержке демократического государства.

В. М. Жирмунский

СОДЕРЖАНИЕ

Р. А. Будагов (Москва). Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса романских языков 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. И. Жинкин (Москва). Вопрос и вопросительное предложение 22
Д. А. Алексеев (Ленинград). Именные части речи в монгольских языках 35

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Гао Мин-кай (Пекин). Проблема частей речи в китайском языке 48
Вэнь Лянь и Ху Фу (Пекин). Части речи в китайском языке 58

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Е. Р. Курилович (Краков). Заметки о значении слова 73
О. С. Ахманова (Москва). О понятии «изоморфизма» лингвистических категорий (В связи с вопросом о методе лексикологического исследования) 82

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

М. М. Гухман (Москва). О курсе «История языкознания» 96
Э. И. Коротаева (Ленинград). Курс «Современный русский язык» и его программа 103

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. М. Никитина и В. П. Сухотин (Москва). Грамматика русского языка. Т. II — Синтаксис 110
П. Н. Берков (Ленинград). Две новые библиографии по русскому языку . 121
Л. С. Пейсиков (Москва). «Очерки по грамматике таджикского языка» . 129

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

П. С. Кузнецов (Москва). Ответ на рецензию Т. П. Ломтева 135

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л. Н. Булатова (Москва). Всесоюзное совещание по координации диалектологической работы 140
Б. Орузбаева (Фрунзе). Научная сессия, посвященная вопросам киргизского языкознания 142
Г. Д. Петров и К. А. Аимбетов (Нукус). Научная конференция в Каракалпакской АССР 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗА РУБЕЖОМ

В. М. Жирмунский (Ленинград). Деятельность Института немецкого языка и литературы Германской Академии наук 149

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции), *В. В. Виноградов* (главный редактор), *А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-04458 Подписано к печати 30 V 1955 г. Тираж 13500 экз. Заказ 1137
Формат бумаги 70×108 1/16. Бум. л. 4 7/8 Печ. л. 13,36 Уч.-изд. л. 15,8

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10